



КИР БУЛЫЧЕВ
•
МАРСИАНСКОЕ
ЗЕЛЬЕ

ЦЕНТРОЛИГРАФ



Классическая
**БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ**



КИР
БУЛЫЧЕВ

**МАРСИАНСКОЕ
ЗЕЛЬЕ**

✦
ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ




Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос)445
Б90

16+

Охраняется законодательством РФ
о защите интеллектуальных прав.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

Серия «Классическая библиотека приключений
и научной фантастики»

Бульчев К.
Б90 Марсианское зелье: повесть, рассказы. — М.: ЗАО
Издательство Центрполиграф, 2014. — 349 с. — (Клас-
сическая библиотека приключений и научной фан-
тастики).

ISBN 978-5-227-05475-3

В старинном северном городе Великий Гусляр происходят необыкновенные вещи. И хотя жители давно уже привыкли к инопланетянам, к удивительным научным открытиям и феноменальным явлениям, все же и им приходится удивляться. В образовавшемся в городской мостовой провале обнаружился тайный подземный ход, в нем старинные вещи, а в городе появился незнакомый старик и рассказал о марсианском зелье...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос)445

ISBN 978-5-227-05475-3

© К. Бульчев, наследники,
2014
© ЗАО «Издательство
Центрполиграф», 2014
© Художественное
оформление серии,
ЗАО «Издательство
Центрполиграф», 2014

МАРСИАНСКОЕ ЗЕЛЬЕ



ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ



ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК ФАКИРА

События, впоследствии смутившие мирную жизнь города Великий Гусляр, начались, как и положено, буднично.

Автобус, шедший в Великий Гусляр от станции Лысый Бор, находился в пути уже полтора часа. Он миновал богатое рыбой озеро Копенгаген, проехал дом отдыха лесных работников, пронесся мимо небольшого потухшего вулкана. Вот-вот должен был открыться за поворотом характерный силуэт старинного города, как автобус затормозил, съехал к обочине и замер, чуть накренившись, под сенью могучих сосен и елей. В автобусе люди просыпались, тревожились, будили утреннюю прохладу удивленными головами.

— Что случилось? — спрашивали они друг у друга и у шофера. — Почему встали? Может, поломка? Неужели авария?

Дремавший у окна молодой человек приятной наружности с небольшими черными усиками над полной верхней губой также раскрыл глаза и несколько удивился, увидев, что еловая лапа залезла в открытое окно автобуса и практически уперлась ему в лицо.

— Вылезай! — донесся до молодого человека скучный голос водителя. — Загорать будем. Говорил же я им: куда мне на линию без домкрата? Обязательно прокол будет. А мне механик свое: не будет сегодня прокола, а у домкрата все равно резьба сошла!..

Молодой человек представил себе домкрат с намертво стертой резьбой и поморщился: у него было сильно развито воображение. Он поднялся и вышел из автобуса.

Шофер, окруженный пассажирами, стоял на земле и рассматривал заднее колесо, словно картину Рембрандта.

Мирно шумел лес. Покачивали гордыми вершинами деревья. Дорога была пустынна. Лето уже вступило в свои права. В кювете цвели одуванчики, и кареглазая девушка в костюме джерси и голубом платочке, присев на пенечек, уже плела венок из желтых цветов.

— Или ждать, или в город идти, — сказал шофер.

— Может, мимо кто проедет? — выразил надежду невысокий плотный белобрысый мужчина с редкими блестящими волосами, еле закрывающими лысину. — Если проедет, мы из города помощь пришлем.

Говорил он авторитетно, но с некоторой поспешностью в голосе, что свидетельствовало о мягкости и суетливости характера. Его лицо показалось молодому человеку знакомым, да и сам мужчина, закончив беседу с шофером, обернулся к нему и спросил прямо:

— Вот я к вам присматриваюсь с самой станции, а не могу определить. Вы в Гусяр едете?

— Разумеется, — ответил молодой человек. — А разве эта дорога еще куда-нибудь ведет?

— Нет, далее она не ведет, если не считать проселочных путей к соседним деревням, — ответил плотный блондин.

— Значит, я еду в Гусяр, — сказал молодой человек, большой сторонник формальной логики в речи и поступках.

— И надолго?

— В отпуск, — ответил молодой человек. — Мне ваше лицо также знакомо.

— А на какой улице в Великом Гусяре вы собираетесь остановиться?

— На своей, — сказал молодой человек, показав в улыбке ровные белые зубы, которые особенно ярко выделялись на смуглом, загорелом и несколько изможденном лице.

— А точнее?

— На Пушкинской.

— Вот видите, — обрадовался плотный мужчина и наклонил голову так, что луч солнца отразился от его лысинки, попал в глаз девушке, создававшей венок из одуванчиков, и девушка зажмурилась. — А я что говорил?

Он радовался, как свидетель, получивший при допросе упрямого свидетеля очень важные показания.

— А в каком доме вы остановитесь?

— В нашем, — сказал молодой человек, отходя к группе людей, изучавших сплюснутую шину.

— В шестнадцатом?

— В шестнадцатом.

— Я так и думал. Вы будете Георгий Боровков, Ложкин по матери.

— Он самый, — ответил молодой человек.

— А я — Корнелий Удалов, — представился плотный блондин. — Помните ли вы меня — я вас в детстве качал на колене?

— Помню, — кивнул молодой человек. — Ясно помню. И я у вас с колена упал. Вот шрам на переносице.

— Ох! — безмерно обрадовался Корнелий Удалов. — Какая встреча! И неужели ты, сорванец, все эти годы о том падении помнил?

— Еще бы, — сказал Георгий Боровков. — Меня из-за этого почти незаметного шрама не хотели брать в лесную академию раджа-йога гуру Кумарасвами, ибо это есть физический недостаток, свидетельствующий о некотором неблагожелательстве богов по отношению к моему сосуду скорби.

— К кому? — спросил Удалов в смятении.

— К моему смертному телу, к оболочке, в которой якобы спрятана нетленная идеалистическая сущность.

— Ага, — изумился Удалов и решил больше в этот вопрос не углубляться. — И надолго к нам?

— На месяц или меньше, — сказал молодой человек. — Как дела повернутся. Может, вызовут обратно в Москву. А с колесом-то плохо дело. Запаска есть?

— Без тебя вижу, — ответил шофер, с некоторым презрением глядя на синий костюм, на импортный галстук, повязанный несмотря на утреннее время и будний день, и на весь изысканный облик молодого человека.

— Запаска есть, спрашивают? — вмешался Удалов. — Или тоже на базе оставил?

— Запаска есть, а на что она без домкрата?

— Ни к чему она без домкрата, — подтвердил Удалов и спросил у Боровкова: — А ты за границей был?

— Стажировался, — ответил Боровков. — В порядке научного обмена. Надо будет автобус приподнять, а вы тем временем смените колесо. Становится жарко, а люди спешат в город.

— Ну и подними, — буркнул шофер.

— Подниму, — заверил Боровков. — Только прошу вас не терять времени даром.

— Давай, давай, шофер, — сказала ветхая бабушка из толпы пассажиров. — Человек тебе помощь предлагает.

— И она туда же! — возмутился шофер. — Вот ты, бабка, с ним на пару автобус и подымай.

Но Боровков буднично снял пиджак, передал его Удалову и обернулся к шоферу с видом человека, который уже собрался работать, а рабочее место оказалось ему не подготовлено.

— Ну, — произнес он стальным голосом. Шофер не посмел противоречить такому голосу и поспешил за западной.

— Расступитесь, — строго велел Удалов. — Разве не видите?

Пассажиры немного подались назад.

Шофер с усилием подкатил колесо и брякнул на гравий разводной ключ.

— Отвинчивайте, — сказал Боровков.

Шофер медленно отвинчивал болты, и его губы складывались в ругательное слово, но присутствие пассажирок удерживало.

Удалов стоял в виде вешалки, держа пиджак Боровкова на согнутом мизинце и спиной оттесняя тех, кто норовил приблизиться.

— А теперь, — сказал Боровков, — я приподниму автобус, а вы меняйте колесо.

Он провел руками под корпусом автобуса, разыскивая место, где можно взяться понадежнее, затем вцепился в это место тонкими смуглыми пальцами и без натуги приподнял машину. Автобус наклонился вперед, будто ему надо было что-то разглядеть внизу перед собой, и вид у него стал глупый, потому что автобусам так стоять не положено.

В толпе ахнули, и все отошли подальше. Только Корнелий Удалов, как причастный к событию, остался вблизи.

Шофер был настолько поражен, что мгновенно снял колесо, ни слова не говоря, подкатил другое и начал надевать его на положенное место.

— Тебе не тяжело? — спросил Удалов Боровкова.

— Нет, — ответил тот просто.

И Удалов с уважением оглядел племянника своего соседа по дому, дивясь его внешней subtilности. Но тот держал машину так легко, что Удалову подумалось, что, может, автобус и впрямь не такой уж тяжелый, а это лишь сплошная видимость.

— Все, — сказал шофер, вытирая со лба пот. — Опускай.

И Боровков осторожно поставил задние колеса автобуса наземь.

Он даже не вспотел и ничем не показывал усталости. В толпе пассажиров кто-то захлопал в ладоши, а кареглазая девушка, которая кончила плести венок из одуванчиков, подошла к Боровкову и надела венок ему на голову. Боровков не возражал, а Удалов заметил:

— Размер маловат.

— В самый раз, — возразила девушка. — Я будто заранее знала, что он пригодится.

— Пиджачок извольте, — сказал Удалов, но Боровков засмутился, отверг помощь Корнелия Ивановича, сам натянул пиджак, одарил девушку белозубой улыбкой и, почесав свои черные усики, поднялся в автобус на свое место.

Шофер мрачно молчал, потому что не знал, объяснить ли на базе, как автобус голыми руками поднимал незнакомый молодой человек, или правдивее будет сказать, что выпросил домкрат у проезжавшего МАЗа. А Удалов сидел на два сиденья впереди Боровкова и всю дорогу до города оборачивался, улыбался молодому человеку, подмигивал и уже на въезде в город не выдержал и спросил:

— Ты штангой занимался?

— Нет, — скромно ответил Боровков. — Это неиспользованные резервы тела.

По Пушкинской они до самого дома шли вместе. Удалов лучше поговорил бы с Боровковым о дальних странах и местах, но Боровков сам все задавал вопросы о родственниках и знакомых. Удалову хотелось вставить что-нибудь серьезное, чтобы и себя показать в выгодном свете: он заикнулся было о том, что в Гусяре побывали пришельцы из космоса, но Боровков ответил:

— Я этим не интересуюсь.

— А как же, — спросил тогда Удалов, — загадочные строения древности, в том числе пирамида Хеопса и Баальбекская веранда?

— Все веранды — дело рук человека, — отрезал Боровков.

— Иного пути нет. Человек — это звучит гордо.

— Горький, — подсказал Удалов. — «На дне».

Он все поглядывал на два боровковских заграничных чемодана с личными вещами и подарками для родственников: если бы он не видел физических достижений соседа, наверняка предложил бы свою помощь, но теперь предлагать было все равно что над собой насмеяться.

Вечером Николай Ложкин, боровковский дядя по материной линии, заглянул к Удалову и пригласил его вместе с женой Ксенией провести вечер в приятной компании по поводу приезда в отпуск племянника Георгия. Ксения, которая уже была наслышана от Удалова о способностях молодого человека, собралась так быстро, что они через пять минут уже находились в ложкинской столовой, бывшей заодно и кабинетом: там располагались аквариумы, клетки с певчими птицами и книжные полки.

За столом собрался узкий круг друзей и соседей Ложкиных. Старуха Ложкина расщедрилась по этому случаю настоек, которую берегла к октябрьским, потому что — а это и сказал в своей застольной речи сам Ложкин — молодые люди редко вспоминают о стариках, ибо живут своей, занятой и посторонней жизнью, и в этом свете знаменательно возвращение Гарика, то есть Георгия, к своим дяде и тете, когда он мог выбрать любой санаторий или дом отдыха на кавказском берегу или на Золотых Песках.

Все аплодировали, а потом Удалов тоже произнес тост. Он сказал:

— Наша молодежь разлетается из родного гнезда кто куда, как перелетные птицы. У меня вот тоже подрастают Максимка и дочка. Тоже оперятся и улетят. Туда им и дорога. Широкая дорога открыта нашим перелетным птицам. Но если уж они залетят обратно, то мы просто поражаемся, какими сильными и здоровыми мы их воспитали.

И он показал пальцем на смущенного и скромно сидящего во главе стола Георгия Боровкова.

— Так поднимем же этот тост, — закончил свою речь Корнелий, — за нашего родного богатыря, который сегодня на моих глазах вознес автобус с пассажирами и держал его в руках до тех пор, пока не был завершен текущий ремонт. Ура!

Многие ничего не поняли, кто понял — не поверил, а сам Боровков попросил слова.

— Конечно, мне лестно. Однако я должен внести уточнения. Во-первых, я автобус на руки не брал, а только приподнял его, что при определенной тренировке может сделать каждый. Во-вторых, в автобусе не было пассажиров, поскольку они стояли в стороне, так как я не стал бы рисковать человеческим здоровьем.

Соседям и родственникам приятно было смотреть на недавнего подростка, который бегал по двору и купался в реке, а теперь, по получении образования и заграничной командировки, не потеряв скромности, вернулся в родные пенаты.

— И по какой специальности ты там стажировался? — спросил усатый Грубин, сосед снизу, когда принялись за чай с пирогом.

— Мне, — ответил Боровков, — в дружественной Индии была предоставлена возможность пробыть два года на обучении у одного известного факира, отшельника и йога — гуру Кумарасвами.

— Ну и как ты там? Показал себя?

— Я старался, — скромно ответил Гарик, — не уронить достоинства.

— Не скромничай, — вставил Корнелий Удалов. — Не бось был самым выдающимся среди учеников?

— Нет, были и более выдающиеся, — сказал Боровков. — Хотя гуру иногда называл меня своим любимым учеником. Может, потому, что у меня неплохое общее образование.

— А как там с питанием? — поинтересовалась Ксения Удалова.

— Мы питались молоком и овощами. Я с тех пор не употребляю мяса.

— Это правильно, — сказала Ксения, — я тоже не употребляю мяса. Для диеты.

Боровков вежливо промолчал и потом обернулся к Удалову, который задал ему следующий вопрос:

— Вот у нас в прессе дискуссия была: хорошо это, йоги или мистика?

— Мистики на свете не существует, — ответил Боровков. — Весь вопрос в мобилизации ресурсов человеческого тела. Опасно, когда этим занимаются шарлатаны и не-

вежды. Но глубокие корни народной мудрости, имеющие начало в Ригведе, требуют углубленного изучения.

И после этого Гарик с выражением прочитал на древнем индийском языке несколько строф из поэмы Махабхарата.

— А на голове ты стоять умеешь? — спросил неугомонный Корнелий.

— А как же? — даже удивился Гарик и тут же, легонько опершись ладонями о край стола, подкинул кверху ноги, встал на голову, уперев подошвы в потолок, и дальнейшую беседу со своими ближними вел в таком вот неудобном для простого человека положении.

— Ну это все понятно, это мы читали, — сказал Грубин, глядя на Боровкова наискосок. — А какая польза от твоих знаний для народного хозяйства?

— Этот вопрос мы сейчас исследуем, — ответил Боровков, сложил губы трубочкой и отпил из своей чашки без помощи рук. Потом отпустил одну руку, потянулся к вазончику с черешней и взял ягоду. — Возможности открываются значительные. Маленький пример, который я продемонстрировал сегодня на глазах товарища Корнелия Ивановича, тому доказательство. Каждый может внутренне мобилизоваться и сделать то, что считается не под силу человеку.

— Это он о том, как автобус поднял, — напомнил Удалов, и все согласно закивали.

— Ты бы перевернулся, Гарик, и сел, — посоветовала старуха Ложкина. — Кровь в голову прильет.

— Спасибо, я постою, — отозвался Гарик.

Общая беседа продолжалась, и постепенно все привыкли к тому, что Боровков пребывает в иной, чем остальные, позе. Он рассказывал о социальных контрастах в Индии, о тамошней жизни, о культурных памятниках, о гипнозе, хатха-йоге и раджа-йоге. И разошлись гости поздно, очень довольные.

А на следующее утро Боровков вышел на двор погулять уже в ковбойке и джинсах и оттого казался своим, гусярским. Удалов, собираясь на службу, выглянул из окна, увидел, как Боровков делает движения руками, и вышел.

— Доброе утро, Гарик, — сказал он, присев на лавочку. — Что делаешь?

— Доброе утро, — ответил Боровков, — тренирую мысль и пальцы. Нужно все время тренироваться, как исполни-

тель на музыкальных инструментах, иначе мышцы потеряют форму.

— Это правильно, — согласился Удалов. — Я тебя вот о чем хотел спросить: мне приходилось читать, что некоторые факиры в Индии умеют укрощать диких кобр звуками мелодии на дудке. Как ты на основании своего опыта полагаешь, они это в самом деле или обманывают?

Наверное, он мог бы придумать вопрос получше, поумнее, но спросить чего-нибудь хотелось, вот и сказал первое, что на ум пришло. И не спроси он про змей, может, все бы и обошлось.

— Есть мнение, что кобры в самом деле гипнотизируются звуком музыки, — ответил с готовностью Боровков. — Но у них чаще всего вырывают ядовитые зубы.

— Не приходилось мне кобру видеть, — сказал Удалов, заглаживая белесые волоски на лысину. — Она внушительного размера?

— Да вот такая, — показал Боровков и наморщил лоб.

Он помолчал с полминуты или минуту, а потом Удалов увидел, как на песочке в метре от них появилась свернутая в кольцо большая змея.

Змея развернулась и подняла голову, раздувая шею, а Удалов подобрал ноги на скамью и поинтересовался:

— А не укусит?

— Нет, Корнелий Иванович, — успокоил молодой человек. — Змея воображаемая. Я же вчера рассказывал.

Кобра тем временем подползла ближе. Боровков извлек из кармана джинсов небольшую дудочку, приставил к губам и воспроизвел на ней незнакомую простую мелодию, отчего змея прекратила ползание, повыше подняла голову и начала раскачиваться в такт музыке.

— И это тоже мне кажется? — спросил Удалов.

Боровков, не переставая играть, кивнул. Но тут пошла с авоськой через двор гражданин Гаврилов из соседнего флигеля.

— Змея! — закричала она страшным голосом и бросилась бежать.

Змея испугалась ее крика и поползла к кустам сирени, чтобы в них спрятаться.

— Ты ее исчезни, — попросил Удалов Боровкова, не спуская ног.

Тот согласился, отнял от губ дудочку, провел ею в воздухе, змея растаяла и вся уже скрылась, но Удалов не мог сказать, вообще она исчезла или в кустах.

— Неудобно получилось, — заметил Гарик, почесывая усики. — Женщину испугали.

— Да. Неловко. Но ведь это видимость?

— Видимость, — согласился Боровков. — Хотите, Корнелий Иванович, я вас провожу немного? А сам по городу прогуляюсь.

— Правильно, — одобрил Удалов. — Я только портфель возьму.

Они пошли рядышком по утренним улицам. Удалов задавал вопросы, а Гарик с готовностью отвечал.

— А этот гипноз на многих людей действует?

— Почти на всех.

— А если много людей?

— Тоже действует. Я же рассказывал.

— Послушай, — пришла неожиданная мысль в голову Удалову. — А с автобусом там тоже гипноз был?

— Ну что вы! — удивился Гарик. — Колесо же поменяли.

— Правильно, колесо поменяли.

Удалов задумался.

— Скажи, Гарик, — спросил он, — а эту видимость использовать можно?

— Как?

— Ну, допустим, в военных условиях, с целью маскировки. Ты внушаешь фашистам, что перед ними непроходимая река, они и отступают. А на самом деле перед ними мирный город.

— Теоретически возможно, но только, чтобы фашистов загипнотизировать, надо обязательно к ним приблизиться.

— Другое предложение сделаю: в театре. Видимый эффект. Ты гипнотизируешь зрителей, и им кажется, что буря на сцене самая настоящая, даже дождь идет. Все как будто мокрые сидят.

— Это можно, — согласился Боровков.

— Или еще. — Тут уж Удалов ближе подошел к производственным проблемам. — Мне дом сдавать надо, а у меня недоделки. Подходит приемочная комиссия, а ты их для меня гипнотизируешь, и кажется им, что дом ну просто импортный.

— Дом — это много. Большой формат, — сказал любимый ученик факира. — Мой учитель когда-то смог воссоздать Тадж-Махал, великий памятник прошлого Индии. Но это было дикое напряжение ума и души. Он до сих пор не совсем пришел в себя. А нам, ученикам, можно материализовать вещи не больше метра в диаметре.

— Любопытно, — с сомнением произнес Удалов. — Но я пошутил. Я никого в заблуждение вводить не намерен. Это мы оставим для очковтирателей.

— А я бы, — мягко поддержал его Боровков, — даже при всем к вам уважении помощь в таком деле не хотел бы оказывать.

И тут по дороге имел место еще один инцидент, который укрепил веру Удалова в способности Гарика.

Навстречу им шел ребенок, весь в слезах и соплях, который громко горевал по поводу утерянного мяча.

— Какой у тебя был мяч, мальчик? — спросил Боровков.

— Си-иний! — И ребенок заплакал пуще прежнего.

— Такой? — спросил Боровков и, к удивлению мальчика, а также и Удалова, тут же создал синий мяч среднего размера; мяч подпрыгнул и подкатился мальчику под ноги.

— Не то-от, — заплакал мальчик еще громче. — Мой был большой!

— Большой? — ничуть не растерялся Боровков. — Будет большой.

И тут же в воздухе возник шар размером с десятикилограммовый арбуз. Шар повисел немного и лениво упал на землю.

— Такой? — спросил Боровков ласковым голосом, потому что он любил детей.

А Удалов уловил в сообразительных глазенках ребенка лукавство: глазенки сразу просохли — мальчик решил использовать волшебника.

— Мой был больше! — завопил он. — Мой был с золотыми звездочками. Мой был как дом!

— Я постараюсь, — пообещал виновато Боровков. — Но мои возможности ограничены.

— Врет мальчонка, — сказал Удалов убежденно. — Таких мячей у нас в универмаге никогда не было. Если бы были, знаешь какая бы очередь стояла? Таких промышленность не выпускает.

— А мне папа из Москвы привез, — сказал ребенок трезвым голосом дельца. — Там такие продаются.

— Нет, — сказал Удалов. — ГОСТ не позволяет такие большие мячи делать, и таких импортных не завозят. Можно кого-нибудь зашибить невзначай.

— Вы так думаете? — спросил Боровков. — Я, знаете, два года был оторван.

— Отдай мой мяч! — скомандовал ребенок.

Боровков очень сильно нахмурился, и рядом с мальчиком возник шар даже больше метра в диаметре. Он был синий и переливался золотыми звездочками.

— Такой подойдет? — спросил Боровков.

— Такой? — Мальчик смерил мяч взглядом и сказал не очень уверенно: — А мой был больше. И на нем звезд было больше.

— Пойдем, Гарик, — возмутился Удалов. — Сними с него гипноз. Пусть останется без мячей.

— Не надо, — сказал Боровков, с укоризной посмотрел на мальчика, пытавшегося обхватить мячи, и пошел вслед за Удаловым.

— А вот и мой объект, — объявил Корнелий. — Как, нравится?

Боровков ответил не сразу. Дом, созданный конторой, которой руководил Корнелий Удалов, был далеко не самым красивым в городе. И наверное, Гарику Боровкову приходилось видеть тщательнее построенные дома как в Бомбее и Дели, так и в Париже и Москве. Но он был вежлив и потому только вздохнул, а Удалов сказал:

— Поставщики замучили. Некачественный материал давали. Ну что с ними поделаешь?

— Да, да, конечно, — согласился Боровков.

— Зайдем? — спросил Удалов.

— Зачем?

— Интерьером полюбишься. Сейчас как раз комиссия придет, сдавать дом будем.

Боровков не посмел отказаться и последовал за хитрым Корнелием Ивановичем, который, конечно, решил использовать его талант в одном сложном деле.

— Погляди, — сказал он молодому человеку, вводя его в совмещенный санузел квартиры на первом этаже. — Как здесь люди жить будут?

Боровков огляделся. Санузел был похож на настоящий. Все в нем было: и умывальник, и унитаз, и ванна, и кафельная плитка, хоть и неровно положенная.

— Чего не хватает? — спросил Удалов.

— Как не хватает?

— Кранов не хватает, эх ты, голова! — подсказал Удалов. — Обманули нас поставщики. Заявку, говорят, вовремя не представил. А сейчас комиссия придет. И кто пострадает? Пострадает твой сосед и почти родственник Корнелий Удалов. На него всех собак повесят.

— Жаль, — с чувством сказал Боровков. — Но ведь еще больше пострадают те, кто здесь будет жить.

— Им не так печально, — вздохнул Корнелий Иванович. — Им в конце концов всё поставят. И краны, и шпингалеты. Они напишут, поскандалят, и поставят им краны. А вот меня уже ничто не спасет. Дом комиссия не примет — и прощай премия! Не о себе пекусь, а о моих сотрудниках, вот о тех же, например, плиточниках, которые, себя не щадя, стремились закончить строительство к сроку.

Боровков молчал, видимо более сочувствуя жильцам дома, чем Удалову. А Удалов ощущал внутреннее родство с мальчиком, который выпросил у Боровкова мячи. Внешне он лил слезы и метался, но изнутри в нем радовалось ожидание, потому что Боровков был человек мягкий и оттого обреченный на капитуляцию.

— Скажи, а для чистого опыта ты бы смог изобразить водопроводный кран? — спросил Удалов.

— Зачем это? — ответил вопросом Боровков. — Обманывать ведь никого нельзя. Разве для шутки?

Он глубоко вздохнул, как человек, который делает что-то помимо своей воли, и в том месте, где положено быть крану, возник медный кран в форме рыбки с открытым ртом. Видно, такие краны Боровков видел в Индии.

— Нет, — сказал Удалов, совсем как тот мальчик. — Кран не такой. Наши краны попроще, без финтифлюшек. Как у твоего дяди. Помнишь?

Боровков убрал образ изысканного крана и на его место посадил стандартный образ.

Удалов подошел к крану поближе и, опасаясь даже тронуть его пальцем, пристально проверил, прикреплен ли кран к соответствующей трубе. Как он и опасался, кран

прикреплен не был, и любой член комиссии углядел бы это сразу.

— Нет, ты посмотри вот сюда, — сказал Удалов возмущенным голосом. — Разве так краны делают? Халтурщик ты, Гарик, честное слово. Как вода из него пойдет, если он к трубе не присоединен?

Боровков даже оскорбился:

— Как так вода не пойдет? — И тут же из крана, ни к чему не присоединенного, разбрызгиваясь по раковине, хлынула вода.

— Стой! — крикнул Удалов. — Она же еще не подключена! Дом с сетью не соединен. Ты что, меня под монастырь хочешь подвести?

— Я могу и горячую пустить! — азартно предложил Гарик, и вода помутнела, и от нее пошел пар.

— Брось свои гипнотизерские штучки, — строго сказал Удалов. — Я тебе как старший товарищ говорю. Закрой воду и оставь кран в покое.

И тут в квартиру ворвался молодой человек, весь в штукатурке и в сложенной из газеты шляпе, похожей на треуголку полководца Наполеона.

— Идут! — крикнул он сдавленным голосом. — Что будет, что будет!

— Гарик! — приказал Удалов. — За мной. Поздно рассуждать. Спасать надо.

И они пошли навстречу комиссии.

Комиссия стояла перед домом на площадке, где благоустройство еще не было завершено, и рассматривала объект снаружи. Удалов вышел навстречу, как радушный хозяин. Председатель комиссии, Иван Андреевич, человек давно ему знакомый, вредный, придирчивый и вообще непреклонный, протянул Корнелию руку и произнес:

— Плохо строишь. Неаккуратно.

— Это как сказать, — осторожно возразил Удалов, пожимая руку. — Как сказать. Вот Екатерина из райисполкома. — Он запнулся и тотчас поправился: — То есть представитель Екатерина Павловна в курсе наших временных затруднений. — И он наморщил лоб, изображая работу мысли.

— Ты всех в комиссии знаешь, — заметил председатель. — Может, только с Ветлугиной не встречался.

И он показал Удалову на кареглазую девушку в костюме джерси, ту самую, которая у автобуса сплела венок из одуванчиков и возложила его на голову Боровкову. У девушки была мужественная профессия сантехника. Боровков тоже ее узнал и покраснел, и девушка слегка покраснела, потому что теперь она была при исполнении служебных обязанностей и не хотела, чтобы ей напоминали о романтических движениях души.

Она только спросила Гарика:

— Вы тоже строитель?

И тот ответил:

— Нет, меня товарищ Удалов пригласил осмотреть дом.

— Ну, — Удалов приподнялся на цыпочки, чтобы дотянуться до уха Боровкова, — или ты спасешь, или мне, сам понимаешь...

Боровков вновь вздохнул, поглядел на кареглазую Ветлугину, потрогал усики и послушно последовал за нею внутрь дома. Удалов решил не отставать от них ни на шаг. Что там другие члены комиссии, если главная опасность — сантехник!

Они начали с квартиры, в которой Боровков уже пускал воду. Кран был на месте, но не присоединен к трубе.

Девушка опытным взглядом специалиста оценила блеск и чистоту исполнения крана, но тут же подозрительно взглянула в его основание. Удалов ахнул. Боровков понял. Тут же от крана протянулась труба, и сантехник Ветлугина удивленно приподняла брови, похожие на перевернутых чаек, как их рисуют в детском саду. Но придраться было не к чему, и Ветлугина перешла на кухню. Удалов щипнул Боровкова, и Гарик, не отрывая взгляда от Ветлугиной, сотворил кран и там.

Так они и переходили из квартиры в квартиру, и везде Боровков гипнотизировал Ветлугину блистающими кранами, а Удалов боялся, что ей захочется проверить, хорошо ли краны действуют, ибо, когда ее пальчики провалятся сквозь несуществующие металлические части, получится великий скандал.

Но обошлось. Спас Боровков. Ветлугина слишком часто поднимала к нему свой взор, а Боровков слишком часто искал ее взгляд, так что в качестве члена комиссии Ветлугина была почти нейтрализована.

Они вышли наконец на лестничную площадку последнего этажа и остановились.

— У тебя, Ветлугина, всё в порядке? — спросил Иван Андреевич.

— Почти, — ответила девушка, глядя на Гарика.

«Пронесло, — подумал Удалов. — Замутили мы с Боровковым ее взор!»

— А почему почти? — спросил Иван Андреевич.

— Кранов нет, — сказала девушка. Эти слова прогрохотали для Удалова как зловещий гром, и в нем вдруг вскипела ненависть. Тысячи людей, по науке, поддаются гипнозу, а она, ведьма, не желает поддаваться!..

— Как нет кранов?! — заспешил с опровержением Удалов. — Вы же видали. Все видали! И члены комиссии видали, и лично Иван Андреевич.

— Это лишь одна фикция и видимость материализации, — грустно ответила девушка. — И я знаю, чьих рук это дело.

Она глядела на Боровкова замороженным взглядом, а тот молчал.

— Я знаю, что вот этот товарищ, — продолжала коварная девушка, не сводя с Гарика глаз, — находился в Индии по научному обмену и научился там гипнозу и факирским фокусам. При мне еще вчера он сделал вид, что поднимает автобус за задние колеса, а это он нас загипнотизировал. И моя бабушка была в гостях у Ложкиных, и там всем казалось, что он целый вечер стоял на голове. И пил чай.

А Боровков молчал.

«Ну вот теперь и ты в ней разочаруешься за свой позор!» — подумал с надеждой Удалов. Им овладело мстительное чувство: он уже погиб, и пускай теперь гибнет весь мир, как примерно рассуждали французские короли эпохи абсолютизма.

— Пошли, — сказал сурово Иван Андреевич. — Пошли заново, очковтиратель. Были у меня подозрения, что по тебе ОБХСС плачет, а теперь они наконец материализовались.

Боровков молчал.

— А этого юношу, — продолжал Иван Андреевич, — который за рубежом нахватался чуждых для нас веяний, мы тоже призовем к порядку. Выйдите на улицу, — сказал он Боровкову, — и не надейтесь в дом заглядывать!..

— Правильно, — пролепетала коварная Ветлугина. — А то он снова нас всех загипнотизирует.

— Может, и дома не существует? Надо проверить, — сказал Иван Андреевич.

— Нет, — сказала Екатерина из райисполкома. — Дом и раньше стоял, его у нас на глазах строили. А этот молодой человек только вчера к нам явился.

Гусляр — город небольшой, и новости в нем распространяются почти мгновенно.

Удалов шел в хвосте комиссии. Он чувствовал себя обреченным. Завязывалась неприятность всерайонного масштаба. И он подумал, что в его возрасте не поздно начать новую жизнь и устроиться штукатуром, с чего Удалов когда-то и начал свой путь к руководящей работе. Но вот жена!..

— Показывайте ваши воображаемые краны, — велел Иван Андреевич, входя в квартиру.

В санузел Удалов не пошел, остался в комнате, выглянул в окно. Внизу Боровков задумчиво писал что-то веткой по песку. «И зачем я только втянул его в это дело?» — запечалился Удалов, и тут же его мысль перекинулась на то, как хорошо бы жить на свете без женщин. За тонкой стенкой бурлили голоса. Никто из санузла не выходил: что-то у них там случилось. Удалов сделал два шага и заглянул внутрь через плечо Екатерины из райисполкома. Состав комиссии с громадным трудом разместился в санузле. Ветлугина сидела на краю ванны, Иван Андреевич щупал кран, но его пальцы никуда не проваливались.

— Что-то ты путаешь, — сказал Иван Андреевич Ветлугиной.

— Все равно одна видимость, — настаивала Ветлугина растерянно, ибо получалось, что она оклеветала и Удалова, и Гарика, и всю факирскую науку.

— А какая же видимость, если он твердый? — удивился Иван Андреевич.

— Настоящий, — поспешил подтвердить Удалов.

— Тогда пускай он скажет, когда и откуда краны получил, — нашлась упрямая Ветлугина. — Пускай по документам проверят!

— Детский разговор, — возразил Удалов, к которому вернулось присутствие духа. — Что же, я краны на рынке за собственные деньги покупал?

Тут уж терпение покинуло Ивана Андреевича.

— Ты, Ветлугина, специалист молодой, и нехорошо тебе начинать трудовой путь с клеветы на наших заслуженных товарищей.

И Иван Андреевич показал размахистым жестом на голову Удалова, которая высывалась из-за плеча Екатерины.

— Правильно, Иван Андреевич, — без зазрения совести присоединился к его мнению Удалов. — Мы работаем, вы работаете, все стараются, а некоторые граждане занимаются распространением непроверенных слухов.

Ветлугина, пунцовая, выбежала из санузла, и Корнелий возблагодарил судьбу за то, что Боровков на улице и ничего не видит: его мягкое сердце ни за что бы не выдержало этого зрелища.

Удалов поспешил увести комиссию. В таких острых ситуациях никогда не знаешь, чем может обернуться дело через пять минут. И в последний момент впрямь все чуть не погубило излишнее старание Боровкова, ибо Иван Андреевич машинально повернул кран и из него хлынула струя горячей воды. Иван Андреевич кран, конечно, тут же закрыл, вышел из комнаты, а на лестнице вдруг остановился и спросил с некоторым удивлением:

— А что, и вода уже подключена?

— Нет, это от пробы в трубах осталась.

Удалов смотрел на председателя наивно и чисто.

— А почему горячая? — спросил председатель.

— Горячая? А она была горячая?

— Горячая, — подтвердила Екатерина из райисполкома. — Я сама наблюдала.

— Значит, на солнце нагрелась. Под крышей.

Иван Андреевич поглядел на Удалова с некоторым обалдением во взоре, потом махнул рукой, проворчал:

— Одни факиры собрались!..

И как раз тут они вышли из подъезда и увидели рыдающую на плече у Боровкова сантехника Ветлугину.

— Пошли, — сказал Иван Андреевич. — В контору. Акт будем составлять. Екатерина Павловна! Позови Ветлугину. Кричать все мастера, а от критики в слезы...

Когда все бумаги были разложены и Екатерина — у нее был лучший почерк — начала заполнять первый бланк, Кор-

нелий Иванович вдруг забеспокоился, извинился и выбежал к Гарику.

— Но краны-то останутся? — спросил он. — Краны куда не исчезнут? Признайся, это не гипноз?

— Краны останутся. Нужно же жильцам воду пить и мыться? А то с вашей, Корнелий Иванович, заботой им пришлось бы с ведрами за водой бегать.

— Ага! Значит, краны настоящие!

— Самые настоящие.

— А откуда они взялись? Может, это идеализм?

— Ничего подобного, — возразил Боровков. — Никакого идеализма. Просто надо в народной мудрости искать и находить рациональное зерно.

— А если материализм, то откуда металл взялся? Где закон сохранения вещества? А ты уверен, что краны не ворованные, что ты их силой воли из готового дома сюда не перенес?

— Уверен, — ответил Боровков. — Не перенес. Сколько металла пошло на краны, столько металла исчезло из недр земли. Ни больше ни меньше.

— А ты, — в глазенках Удалова опять появился мальчишеский блеск: ему захотелось еще один мяч, побольше прежнего, — ты все-таки дом можешь сотворить?

— Говорил уже — не могу. Мой учитель гуру Кумарасвами один раз смог, но потом лежал в прострации четыре года и почти не дышал.

— И большой дом?

— Да говорил же — гробницу Тадж-Махал в городе Агре.

Ветерок налетел с реки и растрепал реденькие волосы Удалова. Тот полез в карман за расческой.

— А Ветлугиной ты признался?

— Нет, я ее разубедил. Я сказал, что умею тяжести поднимать, на голове стоять, на гвоздях спать, но никакой материализации. — И рассудительно заключил: — Да и вообще я ей понравился не за это...

— Конечно, не за это, — согласился Удалов. — За это ты ей вовсе не понравился, потому что она девушка принципиальная. Значит, надеяться на тебя в будущем не следует?..

— Ни в коем случае.

— Ну и на том спасибо, что для меня сделал. Куда же я расческу задевал?

И тут же в руке Удалова обнаружилась расческа из черепахового панциря.

— Это вам на память, — сказал Гарик, усаживаясь на бетонную трубу: ему предстояло долго еще здесь торчать в ожидании Танечки Ветлугиной.

— Спасибо, — поблагодарил Удалов, причесался, привел лысину в официальный вид и пошел к конторе.

КОГДА ЧАПАЕВ НЕ УТОНУЛ

Удалов с Грубиным шли мимо кинотеатра. Была субботняя первая половина дня, и дел до самого обеда не намечалось. На сеансе 11.30 шел кинофильм «Чапаев».

— Саша, — спросил Удалов, — ты давно это кино смотрел?

— Любимый фильм моего детства, — сказал Грубин. — Тогда еще не было широкого экрана и телевизора. Как бы теперь психическую атаку показали бы!

— А может быть, и не лучше, — возразил Удалов. — Всеу свое время.

— Что, купим билеты по десять копеек и пойдем в компании с мальчишками? — спросил Грубин и пошел к кассе.

Перед кассой было пусто. Даже странно, что никто не хотел смотреть такую заслуженную картину.

— Что? — спросил Грубин у сонной кассирши Тони. — Нынешнее поколение детей предпочитает «Семнадцать мгновений»? Так дай же по билету старожилам этого света.

— Дети ничего не предпочитают, — отрезала Тоня. — У меня только последний ряд остался.

— А куда же остальные билеты делись?

— А остальные куплены вместе с прошлым сеансом. По два раза, сорванцы, смотрят.

Они вошли в пустое фойе кинотеатра, где за стойкой буфета тосковала пожилая женщина, а по стенам висели поблекшие фотографии наших, советских, кинозвезд из настенного календаря. Купили по пиву, заели бутербродами с голландским сыром. Удалов спросил:

— Ты сколько раз, Саша, эту картину наблюдал?

— «Чапаева» имеешь в виду? Раз десять.

— И я раз пять, — сказал Удалов. — Потом перестал. Очень меня травмировало то, что Чапаев в реке утонул. Я все ждал, может, разок не утонет. А он тонет.

— Такие глупости мне даже в детстве не приходили в голову, — урезонил Удалова Грубин, и тут, видно, утренний сеанс кончился, открылись двери в зал, и оттуда к буфету наперегонки выскочили сто пятьдесят мальчиков и пять девочек. Все они бежали, зажимая в кулачках мелочь на конфеты и лимонад. Грубину с Удаловым пришлось вцепиться в стол, чтобы их не снесло этим потоком. Дети толкались у стойки, спешили насладиться, прежде чем начнется следующий сеанс.

Один из самых шустрых детей, мальчик лет десяти, с лукавым взором и множеством царапин на носу и на щеках, первым успел добыть себе пирожное эклер и стакан лимонада и присел за стол к взрослым.

Ел он быстро и сказал Грубину с Удаловым:

— Вы бы пошевеливались, а то опоздаете.

— До начала десять минут, — уточнил Грубин, а Удалов, у которого был собственный ребенок, добавил:

— Так со взрослыми разговаривать не следует, мальчик.

— Ну, как хотите. Не достанется места, и всё тут. Я же из лучших побуждений.

— У нас на билетах места указаны, — заметил Грубин.

— Места! — воскликнул мальчишка с пафосом. — Какие могут быть места, когда каждый хочет быть поближе к экрану!

— Чепуха, — возразил Удалов, а Грубин поверил ребенку, одним глотком допил пиво, дожевал бутерброд и бросил Корнелию:

— Я пойду и тебе займу.

Но Корнелий уже спешил за Грубиным. Они отыскивали приличные места, в центре зала, лучше тех, что были положены им по билету. Сели. В зале оставалось много народу. Некоторые из ребят берегли свои хорошие места, другие просто не имели финансов, чтобы сбегать в буфет.

— И вы все это кино по второму разу смотрите? — спросил Грубин у соседа.

— Многие и на третий раз остались бы, — ответил лукавый мальчишка.

— А если бы фильм шел весь день?

— Кое-кто остался бы. Но некоторые сбежали бы, от голода.

— А ты почему такой исцарапанный?

— Кошку дрессировал. А вы чего на эту картину пошли?

— Соскучились по ней, — сказал Грубин. — Захотелось детство вспомнить.

— Нашли чего вспоминать, — произнес мальчишка с презрением. — Я жду не дождусь, чтобы с этим детством покончить.

В зал тем временем влетали из фойе мальчишки и девочки и неслись занимать свободные места. И что удивило Удалова: прямо перед ними, в пятом ряду, пустовало в центре одно место, и никто его не занимал, и даже никто на него не покушался. «Может, стул там сломанный?» — подумал Удалов. И хотел было подсказать одному ребенку, который стоял в проходе с конфетой в зубах, но без места, чтобы он туда шел, как в зале начал меркнуть свет, и тогда последним не спеша вошел невысокий худенький мальчик в очках. Мальчик жевал мороженое, и на него все смотрели с уважением, и для того, чтобы мальчику пройти на его место, все, кто сидел в том ряду, поднялись и посторонились.

— Он, наверное, отличник, — предположил Удалов, глядя на странного мальчика.

— Или большой хулиган, — сказал Грубин. — Самбист.

— Ничего подобного, — возразил лукавый сосед. — Это Тиша Зеленко, он не отличник и не хулиган, но большой человек.

Большой человек опустил на свой стул в середине пятого ряда и сделал движение ручкой, чтобы сидевшие впереди немного раздвинули головы и ему не мешали. И сидевшие впереди раздвинулись, хоть им так сидеть было неудобно.

— А почему он большой человек? — спросил Грубин.

Мальчик Тиша услышал эти слова, обернулся и поглядел на Грубина строго.

Тут свет погас, и начался мультфильм про Чебурашку. Мультфильм все отсмотрели без особого восторга, потому что знали его наизусть и там не было драматических событий. Потом начался сам фильм. Все в нем было как надо. Удалов с Грубиным вспоминали, что, казалось бы, совсем вылетело из памяти, и даже удивлялись, как это они могли

забыть такие известные кадры. Зал реагировал на кино, как и было ему положено, с энтузиазмом, восторгом, а когда надо, и негодованием, а события тем временем шли к своему трагическому концу.

Вот уже отступают чапаевцы, и помощи ждать неоткуда. Вот уже виден высокий обрыв реки Урал, и все ближе наши к этому обрыву. В зале царило молчание, почти бездыханное. «Эх, если бы...» — подумал Корнелий Удалов, когда Чапаев уже плыл через реку Урал и пули шлепались о воду в непосредственной близости. Сколько раз он смотрел этот фильм и надеялся, что на этот раз Чапаев преодолеет-таки водную преграду, спасут его, придут на помощь...

Но вот чапаевская голова уже скрылась в водах, и Удалов даже непроизвольно прикрыл глаза, чтобы не переживать вновь такой неприятности. И тут в зале поднялся общий детский крик и топанье ногами. «Держись! — кричали дети. — Еще немного! Тиша, давай! Тиша, спасай Чапая!»

— Ого! — сказал Грубин, и в голосе его было такое удивление, что оно заставило Удалова приоткрыть зажмуренные глаза.

И он увидел невероятное зрелище: Чапаев вновь показался на поверхности и, хоть был ранен, плыл с трудом, видно было, что на этот раз ему удастся добраться до берега. И навстречу ему уже вбегали в воду товарищи, и почему-то среди них оказались и верный Петька, и Анка-пулеметчица, и даже неизвестно откуда взявшийся комиссар. Дети начали хлопать в ладоши, потом зажегся свет, и никто из зала не вышел, даже самые малыши, пока со своего места не поднялся мальчик Тиша Зеленко, усталый, но довольный. А когда он проходил мимо, то лукавый сосед Удалова сказал ему:

— Сегодня у тебя лучше, чем вчера.

— Вчера не было Анки-пулеметчицы, — ответил Тиша, блеснув очками.

— Слушай, мальчик! — опомнился наконец Грубин, когда Тиша Зеленко покинул зал, сопровождаемый шумной толпой сверстников. — Слушай! — Он схватил за рукав соседа. — Как он это сделал?

— Он не первый раз так делает. Пока Тиша с нами не ходил, Чапаев всегда тонул. А теперь конец хороший. И каждый раз другой.

— Но как он это делает? — спросил Грубин. — Гипноз это, что ли?

— И зачем вы только на детские сеансы ходите? — ответил вопросом мальчик. — Так вы все испортите. Если его мать узнает, скандал начнется! Тиша Зеленко такой образованный! Он все про войну знает — и про Гражданскую, и про Отечественную. У него миллион книг про войну, он чуть было в прошлом году на второй год в пятом классе из-за этого не остался. И потому родители ему запретили ходить на военные фильмы. «Если, — говорят, — про животный мир, про строительство, ходи развлекайся. Про войну — ни-ни». А Тиша сильно переживает. Он обязательно будет военным историком. Несмотря на все строгости.

Разговаривая так, они вышли на улицу и шли под летним каникулярным солнцем.

— Как же случилось, что этот мальчик смог конец фильма переделать? — спросил Грубин.

— А может, теперь для детей счастливый конец сделали? — спросил Удалов. — Специально для детских сеансов? Чтобы не травмировать психику?

— Чепуха это, — ответил невежливо мальчик. — Вчера Тишу Зеленко родители дома заперли, нам его выкрасть не удалось. Так утонул Чапаев за здорово живешь. Нет, это все Тишкина работа. Он так это за всех представляет, чтобы Чапаев не утонул, что тот и не тонет. Разве не понятно?

— Понятно, — произнес Грубин задумчиво, потому что у него было развито воображение.

— Непонятно, — возразил с раздражением Удалов, у которого тоже было развито воображение, но которому возмутительна была власть пятиклассника над классическим произведением киноискусства. — А может...

И тут сомнения, одолевавшие Удалова, приняли иную форму. Тут он подумал, что, может, все куда проще, чем кажется. Может, зря они поддаются шуткам малышей, может, Чапаев вовсе и не погиб? А только в кино это так изобразили?

— Удалов, — прервал течение мыслей друга Грубин, — надо нам с мальчиком Тишей обязательно побеседовать. Это же явление психологического порядка и первостепенного значения. Наука не может игнорировать.

— Ах да! — спохватился Удалов. — Конечно. Только я в это мало верю. Это какой-то фокус.

— Только Тихон с вами разговаривать не будет, — заверил мальчишка. — Он мамашу свою боится. Вдруг она узнает, чем он в кино занимается. Он же обещал родителям за ягодами в лес пойти.

— Мы его не выдадим. Слово, — пообещал Грубин. — Но интересы науки твой Тиша должен учитывать.

— Попробую, — сказал мальчуган и побежал за Тишей.

Минуты через две он Тишу привел. Тот был скучен и говорил нехотя. Не верил он в науку, опасался родительского гнева.

— Мальчик, — произнес Удалов ласковым голосом, — ты что в кино наделал?

— Ничего не наделал, — возразил Тиша. — Смотрел, как все.

— А кончается картина как?

— Кончается тем, что Чапаев реку переплыл.

— Ага. А потом что с ним стало?

— Потом он в боях погиб. При штурме Перекопа. Он уже корпусом там командовал.

— Лживый ребенок, — возмутился Удалов вполголоса. — Нечего нам с ним делать.

— погоди, — сказал Грубин. — Так не пойдет. Я тебе даю слово, как исследователь исследователю. Ни слова родителям, ни слова в школе. Но у тебя такие способности, что они представляют интерес. Есть у меня одна книга. «Жизнеописания российских фельдмаршалов». Издана она сто с лишним лет назад. В ней биографии, которых ты нигде больше не встретишь. Хочешь ли ты ее получить задаром?

— Хочу, — кивнул мальчик.

— Тогда ты мне должен оказать содействие.

Удалов вздохнул. Не одобрял он этой мистики.

— Спрашивайте, — сказал Тиша Зеленко совсем как взрослый. — Только где гарантия, что я эту книгу получу?

— Мое слово, — просто ответил Грубин, и мальчик ему поверил. — Скажи, как тебе удастся оказать влияние на кино? Ты гипнозом действуешь?

— Нет, что вы! — удивился Тиша. — Я просто очень хочу, чтобы Чапаев не утонул. Так сильно хочу, что просто ужас. И все ребята хотят. Вот он и не тонет.

— Но ты каждый раз новый конец делаешь?

— Немножко. Сегодня я про Анку-пулеметчицу вспомнил. Чтобы она участвовала. А в прошлый раз Чапаева из воды комиссар вытащил.

— А позавчера Петька за ним нырнул, — сказал мальчик.

— Так, — задумался Грубин. — Раз ты такой феномен, будем тебя испытывать. Что дальше в кино идет?

— Детектив, — подсказал собеседник. — Про одного филателиста...

— Отлично, — одобрил Грубин. — Вот мы сейчас все и проверим. Сеанс еще не начался?

— Вот-вот начнется.

— Удалов, беги за билетами! На всех.

— Четыре братья?

— Четыре бери.

— А меня дома ждут, — слабо запротестовал Тиша, которому хотелось пойти на детектив.

— Я скажу твоей маме. Сам скажу, — обещал Грубин.

Так они четвером оказались в кино. На этот раз в зале сидели и взрослые, шума не было, все переживали сдержанно.

— Ты знаешь, чем кончится? — спросил шепотом Грубин у лукавого мальчика.

— Знаю. За этим длинным будут гнаться по крышам, он упадет прямо в бетон. Я уже три раза смотрел, я все новые кино смотрю.

— Отлично, — сказал Грубин. — Слушай, Тиша. Ты можешь захотеть, чтобы он не погибал в бетоне?

— Зачем? — удивился Тиша. — Туда ему и дорога.

— Нет, все-таки он живой человек, его еще перевоспитать можно, новую жизнь начнет. Спасем его, а? Если спасешь, книга твоя.

— А вы же так обещали?

— Да, если ты науке поможешь.

Грубин был нежадным человеком, книгу он все равно бы отдал, но требовались дополнительные методы воздействия. Если этот мальчик мог переделать видимый мир силой своей недетской воли, то он должен был захотеть это сделать.

Тиша вздохнул и сосредоточился. Блестел очками, глядел в экран.

Началось самое драматическое в фильме. Длинный бегал по крышам, а за ним бегали преследователи.

— Ну! — почти крикнул Грубин, когда герой фильма пошатнулся, готовясь погибнуть на глазах у зрителей. Тиша весь напрягся, подался вперед.

Длинный балансировал на краю крыши, вот-вот упадет.

Побалансировал и благополучно свалился в яму с жидким бетоном.

«Может, еще вынырнет», — подумал Грубин.

Но тут кадр сменился, началась сцена на другую тему. Вышли из кино молча. Тиша чувствовал себя виноватым, про книгу даже не упоминал. Удалов с облегчением вдыхал свежий воздух. Он устал развлекаться. Грубин был расстроен провалом эксперимента, но полагал, что отрицательный результат — тоже результат.

— Что же, до свидания, — сказал Тиша. — Спасибо за кино.

— Постой, — остановил его Грубин. — Зайдем ко мне, книжку возьмешь.

— Да я же не оправдал, — возразил мальчик совсем как взрослый.

— Слово надо держать, — сказал Грубин. — Ты все-таки принял участие в эксперименте. Зато мы теперь знаем, что ты к этому явлению с Чапаевым, наверное, не имеешь отношения.

— Не имею, — согласился мальчик.

— И может даже, это явление было кажущееся.

— Конечно, — согласился мальчик.

Грубин взял расстроенного ребенка за руку, так они и дошли до дома. Грубин вынес ценную книгу и распрощался с Тишей Зеленко, который поспешил домой, чтобы получить заслуженное наказание за столь долгое отсутствие.

— Так что же это было? — спросил Удалов, прощаясь с Грубиным.

— Сдвиг в психике при массовом воздействии, — сказал Грубин, но эти слова ничего не значили и ничего не объясняли.

На следующее утро было воскресенье. Удалов поднялся поздно, в домино играть не хотелось, в гости было рано. Спустился к Грубину. Того дома не было. Куда-то ушел с утра. Удалов отправился гулять один и незаметно для себя вновь

оказался перед кинотеатром. Было около одиннадцати. Сеанс девятичасовой еще не кончился, до следующего было далеко. И тут Удалов понял, что там, в зале, картина подходит к концу. И вроде бы какое дело Удалову до этого, но стремление увидеть еще раз конец и выяснить, что же случилось с полководцем — потонул он все-таки или выплыл, одолело Удалова. И он подошел к окошку кассы и уговорил кассиршу дать ему билет на сеанс, который начался больше часа назад. Кассирша очень удивилась, билет давать не хотела, но Удалов объяснил ей, что его сын там сидит, а его надо извлечь наружу, потому что бабушка из деревни приехала.

Удалов вошел в зал и встал сзади, у стенки. Картина подходила к концу. Уже беляки напали на штаб дивизии. Вот уже отстреливаются из последних сил защитники штаба. Вот близка река. В зале творится что-то неопишное. Уж очень ребята переживают за полководца. А он плывет через реку Урал, и пули шлепаются в воду совсем близко. И утонул Чапаев. Хоть и кричали ребята, переживали. Утонул. Никто не смог его спасти...

Зажгли свет. Удалов со всеми пошел к выходу. Не к выходу на улицу, а к выходу в буфет. Там он постоял в очереди за пирожными, выпил стакан лимонада и понял, что надо идти домой. Фокус не удался. Видно, у него нервы растрепались. И Чапаева жалко было.

Но домой Удалов не пошел. Удивительно, он сам не мог бы объяснить почему, но он вернулся в зал, устроился в последнем ряду, чтобы никто его не видел, и поглядел вперед. Место в пятом ряду пустовало. Не было сегодня мальчика Тиши.

И вдруг Удалов услышал тихий голос:

— Корнелий, ты что здесь делаешь?

Вот странно! В последнем же ряду за колонной сидит Грубин.

— Ты давно здесь?

— Первый сеанс отсидел. А ты?

— Конец только видел.

— А Тишка не приходил?

— Нет, не приходил.

И тут в двери в окружении ребят появился Тиша. Шел он быстро, склонив голову, под мышкой держал книжку про фельдмаршалов и на укоры и попреки друзей говорил:

— И ничего у меня не получится. Меня вчера научно проверили. Нет во мне таких способностей.

— Мы тебе поможем, Тишка, — говорили ребята. — Ты не дрейфь.

Тишка обернулся, разыскивая кого-то глазами. Удалов испугался, что его, и нырнул под стул. И увидел совсем близко от своей головы трепаную шевелюру Саши Грубина. Оказывается, тот тоже не хотел попадаться на глаза ребенку. Так они и просидели, пока не зажегся экран.

— Как ты думаешь, получится? — спросил Удалов Грубина, когда Чапаев на экране рассказывал о тактике с помощью картофелин.

— Не думаю, — сказал Грубин. — Не всегда можно вот так, руками, в душу лазить и подвергать все исследованию. Наверное, мы что-то погубили.

— Значит, ты веришь, что было?

— Верю.

Дальше они сидели молча. А когда настали последние минуты в жизни Чапаева, все ребята в зале начали кричать: «Держись, Василий Иванович! Еще немного осталось!» А другие кричали: «Тишка, давай!» И в этом крике раздался тонкий и грустный голос: «Не могу, ребята!» — «Давай-давай!» — кричали другие. — Спасем Чапая!»

А тем временем голова полководца уже скрылась под водой, уже взяли враги верх над героем, и в зале поднялся вой, рев, шум, и Тиша даже привстал, а Грубин и Удалов, которые незаметно для себя орали вместе со всеми Тишке, чтобы он постарался, заметили, как Тишка поднял кулачки, борясь с тяжелой правдой киноискусства, и тогда голова Чапаева поднялась снова на поверхности, навстречу Чапаеву с берега кинулись его друзья и соратники. И вытащили его на мелкое место. Чапаев остался жив.

Удалов с Грубиным подождали, пока все выйдут из зала. Удалов хотел было подойти к мальчику и укорить его за то, что вчера он себя не проявил, а сегодня вот проявил, но Грубин остановил его и сказал:

— Не лезь, Корнелий. Тут все сложнее, чем просто эксперимент. Понимаешь?..

ПО ПРИМЕРУ БОМБАРА

В помещении «Гуслярского знамени» — осенняя тишина, редактор уехал в область на совещание. Миша Стендаль смотрел в окно и мечтал о значительном материале, который перепечатает «Литературная газета». Еще ни одного материала Миши Стендаля «Литературная газета» не напечатала, правда, он туда ничего и не посылал. В центральной печати лишь два раза появлялись его заметки. В журнале «Вокруг света» поместили сообщение о подледном лове крокодилов на пригородном озере Копенгаген, и еще один журнал опубликовал репортаж о встрече жителя Великого Гусляра Корнелия Удалова с инопланетными пришельцами под рубрикой «А если это не пришельцы?». Слава избегала Мишу Стендаля.

Вчера неожиданно пошел обильный снег, а деревья облететь не успели, и снежные шапки, как взбитые сливки, лежали на мокрых зеленых листьях. По тротуару, шаркая галошами, шел знакомый Мише старик Ложкин, нес под мышкой черную школьную папку, в которой хранились письма и жалобы, большей частью необоснованные. Старик Ложкин, похоже, направлялся в редакцию, и Стендаль пожалел, что в доме нет заднего хода.

Но тут его внимание отвлеклось отдаленной суетой на площади. Нечто белое двигалось в сторону редакторского дома, а за этим белым бежали мальчишки и шли взрослые люди.

Стендаль прижался к стеклу носом, ему мешали очки, но снимать их он не стал, потому что без них плохо видел и терял сходство с молодым Грибоедовым.

Хотя в городе нередки были удивительные события, Мише еще никогда не приходилось видеть, как по улице едет рус-

ская печь без видимых колес и с высокой трубой, из которой идет дымок.

На печи сидел молодой человек в хорошем синем костюме, при галстукe. Рядом лежала аккуратная поленница дров. Молодой человек взял одно бревнышко, склонился вниз и приоткрыл дверцу топки. Там уютно светило оранжевое пламя. Молодой человек затолкал полешко в печь, захлопнул дверцу и вновь принял непринужденную позу.

— Эй, прокати! — кричали мальчишки, бегая вокруг. Молодой человек не обращал на них внимания. Взрослые шли гурьбой сзади, обсуждая технические данные машины.

Когда печь поравнялась с дверью в редакцию, молодой человек похлопал ладонью по трубе, и печь послушно остановилась. За спиной слышалось мерное сопение. Миша обернулся. Сзади стоял старик Ложкин.

— Придется написать, — сказал старик. — Непорядок.

— Чего написать? — не понял Стендаль.

— Жалобу.

— На что?

Старик быстро нашелся:

— Он без номера ездит. И без прав, наверное. А если кого задавит?

— А на печки номера не выдают, — рассеянно сказал Стендаль.

Молодой человек ловко спрыгнул с лежанки, что-то быстро сказал зрителям и скрылся в дверях редакции.

Старик Ложкин уселся за свободный от бумаг стол, раскрыл папку и достал оттуда лист чистой бумаги в клетку. Стендаль направился было к двери, но тут по коридору простучали четкие шаги, в комнату заглянул молодой человек в синем костюме и спросил:

— Где я, простите за беспокойство, могу увидеть главного редактора?

— А что вам нужно? — вежливым голосом спросил Стендаль, прижимая указательным пальцем дужку очков к переносице.

— Мы письмо писали, — сказал молодой человек, входя в комнату и с осуждением глядя на разбросанные бумаги и застарелый беспорядок.

Стендаль хотел предложить гостю присесть, да не посмел, потому что стул был пыльным, а уборщица уже четвертый день хворала.

Неловкую паузу заполнил Ложкин, который отложил ручку и спросил строго:

— Ваш транспорт?

— Печка-то? Моя.

— Не ожидал, — сказал Ложкин.

«Сейчас он скажет, что номера нет, — испугался Стендаль. — А молодой человек может подумать, что Ложкин — наш газетный начальник».

— Это товарищ Ложкин, — пояснил он молодому человеку. — Пенсионер, к нам зашел на минутку.

Ложкин грустно вздохнул и поднял палец, словно хотел возразить.

— А где же редактор? — спросил молодой человек.

— Редактор в области, на совещании. Вы можете говорить со мной. Я литературный сотрудник газеты. Моя фамилия Стендаль.

— Слышал, — сказал молодой человек. И тут же покраснел, потому что догадался, что слышал не о Мише Стендале, а о его великом однофамильце.

— Даже не родственник, — улыбнулся Стендаль. — Меня часто спрашивают. А о чем вы нам письмо писали?

Молодой человек тоже улыбнулся и сказал:

— Ну и грязищу вы тут развели.

— Уборщица захворала, — объяснил Стендаль. — Но, если хотите, садитесь.

— Я садиться не буду. Я хотел только поговорить по поводу письма, которое мы с братом писали. А ответа пока нет. Я думал, что появились сомнения, вот и приехал их развеять. Раньше собраться не мог. Мы с братом лесники — летом охрана, посадки, экологический баланс приходится поддерживать. Вот сейчас немного посвободнее.

— А где сапоги покупали? — строго спросил Ложкин, которому было обидно, что его участия в разговоре не требуется.

— Васина жена, Клава, в Ленинград ездила, за деталями. Вот и купила там.

— Правдоподобно, — сказал Ложкин. И стало ясно, что во всем он видит обман и ответу не поверил.

Молодой человек снова зарделся.

— Не обращайтесь внимания, — попытался его ободрить Стендаль. — Так вы о печке писали?

— Что вы! — удивился лесник. — Разве мы стали бы беспокоить по пустякам? А я вам даже не представился. Фамилия моя Зайка. Такая, простите, фамилия. Брат мой Василий, а я Терентий Зайка. Живем в лесном массиве, в Заболотье.

— Так это же далеко.

— Неблизко. Километров сто тридцать будет. Точно не скажу, спидометр сломался.

— И вы весь путь на этой?..

— Я на мотоцикле хотел. Но Вася, он старший, велел печку взять. Решил, что больше впечатления произведет, что мы не какие-нибудь жулики. С нами еще батя живет, но он уже в годах и больше теорией занимается. Все издания читает. А как свежую идею углядит, кличет нас и говорит: «Детишки мои, я тут обмозговал». Ну и мы сразу за работу. Артуром нашего батю зовут. Артур Иванович Зайка.

— Очень даже странное имя, — сказал Ложкин, который тем временем обошел Терентия сзади и рассматривал его костюм и прическу.

— А какой принцип действия у печи? — спросил Стендаль.

— Принцип действия не наш, чуждый, — снова вмешался Ложкин, держа перед собой, как щит, черную папку.

— Так вы, может, письма не получали?

— Наверное, в отделе писем лежит. А у сотрудницы сегодня выходной. Вы про печку мне не рассказали.

— Печка обычно работает, — ответил Зайка, — как и положено, на дровах. Дома стоит как запасная. В морозы мы топим ее, лабораторию обогреваем, парники. А иногда ездим, если что тяжелое надо перетащить. На дровах работает.

— Знаем мы, какие дрова, — сказал неугомонный Ложкин.

— Дрова не ворованные, — обиделся Терентий. — Мы же санитарные рубки проводим.

— А колеса где? — спросил Стендаль.

— Колеса? Где же это вы видели печь на колесах? Она у нас на воздушной подушке. А вот про письмо.

— Может, вы мне своими словами расскажете? И мы вместе подумаем.

— Я сразу понял, что затеряли, но не обижаюсь. Мы с Васей новый способ передвижения предлагаем. Для наших лесных участков он годится или для пожарных. Вы меня, товарищ Бальзак, поймите правильно...

Стендаль не стал поправлять гостя. Но тут снова вмешался Ложкин.

— Отойди в сторонку, Стендаль, — сказал он.

Терентий заметил свою оплошность с фамилией и опять покраснел. Ложкин оттянул Стендаля за рукав в угол и громко зашептал:

— Ты что, не видишь?

— Чего не вижу?

— Типичный инопланетный пришелец. Проник к нам в доверие. Ты когда-нибудь видел, чтоб в таком костюме на печке ездили?

— Я вообще не видел, чтобы на печке ездили.

— Ты мне печкой зрение не застилай. Ты на детали смотри. Они всегда на деталях попадают. Ты такой галстук видел? У нас в универмаге видел? Неземного цвета.

— Ах, оставьте, товарищ Ложкин! — сказал Стендаль.

— Зря вы меня подозреваете, — укорил Терентий, который все слышал. — Я вам и паспорт могу показать, и военный билет. Мы грамотами награждены.

— Я не сомневаюсь, — поспешил заверить его Стендаль. — Не надо документов.

— Документы ему сделали, — настаивал Ложкин. — А вот с галстуком накладка вышла.

— В Вологде куплен, — возразил Терентий.

— Я бы и то лучше придумал, — съязвил Ложкин.

— А вы хоть видали живого пришельца?

— А как же? Различаем.

— Пришельцы у нас бывают, — заметил Стендаль. — Но к нашему разговору это отношения не имеет. Продолжайте, пожалуйста, Терентий Артурович.

— Наивный простак, — обвинил его Ложкин, снова сел, достал лист бумаги из папки и сделал вид, что все дословно записывает.

— Так вернемся к нашему разговору, — сказал Терентий, который уже привык к Ложкину. — Вы Бомбара читали? «За бортом по своей воле»? Моя любимая книга.

— Я тоже к ней хорошо отношусь, — одобрил Стендаль, присаживаясь на край стола. — И тоже люблю море.

— Дело не в море. От нас оно далеко и неактуально. Бомбар что доказал: если твой корабль утонул, погибать из-за этого совсем не обязательно. Почему люди в лодке гибнут? Потому что боятся погибнуть. Парадокс, но правда. Они, так сказать, себя заранее хоронят в морской пучине.

— Правильно, — согласился Стендаль. — Психологический шок.

— И этих людей мы можем понять. Ведь страшно.

— Страшно.

— Учтите, — пригрозил Ложкин, — у нас океана нет и не предвидится.

— Я о Бомбаре только к примеру сказал, — продолжал Терентий, не обращая внимания на Ложкина. — Для ощущения психологии. Наш батя, когда Бомбара прочел, говорит нам: «Ребятишки, у меня идея в психологическом плане. А что, если страх человеческий, который есть главный ограничитель наших дерзаний и планов и вообще прогресса, влияет не только на плавание по океану, но и на другое?» Тут мы с братишкой и задумались.

— И поплыли по реке Гусь, питаясь планктоном, — не удержался Ложкин.

— Мы о чем задумались? Возьмем, к примеру, лыжника, который прыгает с трамплина. Если посчитать, с какой высоты лыжник прыгает, то ведь это смертельно! А он хоть бы что. Почему?

— Как почему? — удивился Стендаль. — Он же вперед прыгает. С разгона.

— Но вниз тоже.

— Но больше вперед.

— А если лыжник струсит, как потерпевший крушение? Если он перестанет равновесие держать?

— Тогда он упадет.

— Расшибется?

— Конечно.

— Что и требовалось доказать. Тогда вот, придя к такой мысли, мы с Васей стали думать, как без лыж обойтись.

— Нельзя, — возразил Стендаль. — Нужна начальная скорость.

Терентий поглядел на Мишу снисходительно, как академик от физики на кандидата исторических наук, который сомневается в пи-мезонах.

— Это дело можно проверить, — сказал он.

— Что проверить?

— Проверить, как идеи Бомбара приложимы к нашей скромной действительности. Пошли?

— Куда?

— На испытания метода без лыж по Бомбару. Правда, мой братишка это лучше делает, красивее. Но, в принципе, у любого получится. Главное — заранее не помереть от страха.

— Пришелец, — произнес Ложкин убежденно, следуя за молодыми людьми к выходу.

— Нет, мы гусярские, — ответил с достоинством Терентий Зайка.

На улице, подойдя к печке, Терентий нагнулся, подкинул полешек в топку и сказал:

— Забирайтесь, не качает. Это я по городу медленно езжу, а на шоссе до шестидесяти даю.

По улице шел провизор Савич в пальто нараспашку и думал о чем-то своем, значительном. Вдоль груди у него струился сиреневый галстук, точно такой же, как у пришельца Зайки.

— Здравствуйте, — сказал Стендаль. — Где галстук покупали?

— А, здравствуйте, Миша. В универмаг вчера привезли. Вам нравится?

И Савич проследовал далее, не заметив печки. А Стендаль обернулся к Ложкину и спросил:

— Как будет с галстуком?

— Дьявольская хитрость, — не дрогнул Ложкин.

— Куда поедем? — спросил Стендаль, устраиваясь на лежанке и стараясь сохранить достоинство, потому что раньше на печках не ездил.

— Я на ней не поеду! — воскликнул Ложкин. — Еще в космос умыкнете. Я читал, что там человеческие рабы нужны. Вы мне скажите куда, и я пешком пойду.

— Рабы нам нужны, — ответил Терентий без улыбки. — Рабочих рук в лесу ой как не хватает.

— Вот-вот. Я издали погляжу. А куда идти?

— К колокольне, на берег, — объяснил Терентий. — Где раньше торговые ряды стояли.

Печка беззвучно приподнялась и поехала вперед. Лишь потрескивали дрова да разговаривали любопытные зрители.

— Товарищи, разойдитесь, — велел им Терентий. — Нездоровое любопытство. Уставились, как на машину «кадиллак».

Зрители послушались и освободили дорогу.

— Сейчас я поднимусь на колокольню, — сказал Терентий, когда печка, набрав скорость, двинулась по улице. — Там отперто, я проверял. Вы останетесь внизу и будете наблюдать. Ясно?

Колокольня была высока, над ней кружились вороны и тянулись серые облака. Печка замерла на краю высокого обрыва у реки Гусь. От колокольни ее отделял засыпанный мокрым снегом, с проплешинами зеленой травы пустырь. В будущем году на пустыре должны были строить новую гостиницу. От реки тянуло пещерным холодом.

— Ну, пока, — бросил Терентий, спрыгивая с печки. — Я бы плащ взял, холодно, но эксперимент должен быть чистым.

Не произнеся больше ни слова, Терентий скинул пиджак на руки Стендалю и четкими шагами направился к колокольне. Стендалем овладели тревожные и высокие предчувствия, и он понимал, что обыденными словами можно лишь сорвать торжественность момента.

Прошло минуты три. Стендаль стоял, облокотившись о теплую стенку печки, ждал, но ничего не происходило, лишь кричали вороны да прибежал старик Ложкин.

— Где пришелец? — спросил он.

— Терентий Артурович на колокольне. Он сейчас будет демонстрировать опыт.

— Он пришелец, ему все дозволено, — сказал Ложкин.

На вершине колокольни, на площадке у звонницы, показалась маленькая человеческая фигурка. Была она столь незначительна и беззащитна, что у Стендаля сдавило в груди.

— Ах! — воскликнул Ложкин, предчувствуя недоброе. Не таким уж он был злым и бессердечным человеком. — Если что случится, даже с пришельцем, все равно жалко.

Маленькая фигурка поднялась на площадку, и несколько секунд человек, широко расставив руки, старался удержать равновесие. Потом шагнул вниз...

Стендаль от ужаса непроизвольно зажмурился. Ложкин сказал: «Ах!» А вдруг он сумасшедший? И они его не остановили?

Стендаль открыл глаза. Человек все еще падал. Но как-то странно. Он будто шел по воздуху, по пологой дуге, расставив в стороны руки и перебирая ногами все чаще по мере того, как приближался к земле. Последние несколько метров он быстро бежал по воздуху и, достигнув земли, не упал, а продолжал свой бег и, добежав до Стендаля, обхватил его руками, но так, чтобы не помять свой пиджак.

— Извини, Бальзак. — Он тяжело переводил дух. — Ветер меня сносил. И замерз я основательно. Давай пиджак. Ну, как эффект?

— Я думал, не переживу, — выговорил Стендаль, отдал пиджак и постарался дышать глубоко и мерно, чтобы успокоить сердце.

— Пришелец, — сказал Ложкин, не отнимая ладони от сердца, — разве можно так пугать простых земных людей?

— Нет, — ответил Терентий твердо. — Не пришелец, а последователь Бомбара, убежденный в силе человеческого духа, в материальном его проявлении.

— Мистика, — пробормотал Ложкин.

— Никакой мистики, — возразил Терентий. — Результат трехмесячного эксперимента. Мы с Василием рассудили, что можно прыгать с любой высоты по принципу трамплина. Чем скорее ты падаешь вниз, тем скорее перебирай ногами и иди вперед. И ни на секунду не останавливайся. А то каюк. И никто об этом раньше не догадывался, потому что люди как срывались вниз, так уже всё, пиши пропало. А надо равновесие соблюдать и помнить, что никакого падения нету, а есть только страх и разыгравшиеся нервы. Но пока людям не покажешь, они не верят. Вот сознался бы я вам, что хочу сойти пешком с колокольни без помощи лестницы или летательного аппарата. И что бы случилось? Поймали бы, связали и вместе с печкой — в клиническую больницу. Ведь со стороны даже посмотреть жутко, а когда сам впервые начинаешь, еще страшнее.

— Я бы на первом метре помер от страха, — признался Стендаль.

— Умер бы и не испытал бы власти Человека с большой буквы над силами природы. Как Колумб.

— А отчего он умер? — спросил Стендаль, хотя понимал, что вопрос глупый.

— Нет, ты меня не понял. Я имел в виду, если бы Колумб трусил, никогда бы не открыл Америку, а, как и ты, на первом бы метре умер. Человеку все должно быть подвластно — и земля, и вода, и воздушный океан. Это наш батя так сформулировал. А вы письма в редакции теряете.

Терентий дружески положил руку на плечо Стендалю. Опыт удался, и он теперь на редакцию не обижался. В Стендале он видел союзника, а для настоящего ученого много значит общественная поддержка.

— Если хочешь, Бальзак, я тебя научу. Начнем, правда, с небольших высот.

— Я пошел, — заторопился Ложкин. — Сердце колет. Кордиамину приму.

Он ушел, шаркая галошами, а Терентий сказал ему вслед:

— Не поверил. Собственными глазами видел, а не поверил. И многие еще не верят. А ты?

— Я верю. И сам бы попробовал. Только страшно.

— Ничего. Мне в первый раз тоже было страшновато. Поехали? Подвезу тебя и домой отправлюсь. Кстати, если вздумаешь без меня тренироваться, начинай со стола. А то ушибешься.

У дверей редакции они расстались. И договорились, что через два дня, когда Стендаль сдаст номер газеты, он придет к Зайкам с фотокорреспондентом. Стендаль долго смотрел вслед печке. В редакцию возвращаться не хотелось. Шел уже шестой час, начало смеркаться. Стендалю представилось, как он делает шаг с немыслимой высоты и шагает дальше как ни в чем не бывало, только ветер свистит в ушах и разлетаются в стороны вороны. Только бы не потерять равновесия.

Вялый мокрый снег валил с неба. Стендаль шел, не думая, куда идет, и ноги принесли его к реке, к пустырю за колокольной. Он кинул взгляд на колокольню, но искушение взобраться туда поборол.

Далеко внизу, под обрывом, текла темная холодная река, среди нее плыл одинокий плотик. Стендаль старался думать о будущей статье и даже решил назвать ее «По следам Бомбара». А дальше дело не пошло, потому что Стендаль вновь представил себе, как делает шаг... С дальнего низко-

го берега донесся женский крик. Стендаль присмотрелся. Там, неясная в сумерках, металась одинокая женская фигура. Что такое? Правильно, на плотике, замерев от ужаса, сидел маленький сорванец.

Вчера бы Стендаль рассудил, что мальчишке ничего не угрожает. В конце концов плотик прибьет к берегу. И может, сам Стендаль начал бы искать спуск с обрыва. Все это было бы вчера. А сегодня Стендаль даже не задумывался. Он владел великой тайной. Главное — идти вперед и не терять равновесия.

Самым страшным и трудным оказался первый шаг — воздух, зыбкий и бесплотный, не желал держать тяжелое человеческое тело; словно болото, тянул вниз. Захотелось закричать, сжаться в комочек, чтобы не так ужасен был удар. Но Стендаль удержал раскинутые в стороны руки и заставил себя сделать быстрый шаг вперед и еще один шаг и тут почувствовал, что идет, идет, проваливаясь вниз, но тем не менее не падая. Он считал — раз-два-три, все ускоряя счет и понимая, что надо взглянуть вниз, далеко ли до воды, но взглянуть было некогда — надо было считать, ускоряя шаг и опираясь о воздух руками.

И вдруг случилось самое страшное — неожиданный порыв ветра толкнул его, и очки легонько соскользнули на нос. Стендаль сделал то, что делает каждый человек, когда его очки сползают на нос, — он поправил их. Рукой.

И, как птица с подстреленным крылом, тут же рухнул вниз.

На счастье, в тот момент Стендаль был только метрах в четырех-пяти над черной водой и лишь десяти шагов не дошел до плотика.

Белый столб воды, словно от разрыва снаряда или мины, поднялся вверх. Уходя в обжигающую холодом глубину, Стендаль успел подумать, что теперь он обязательно простудится.

А вода уже выталкивала его наверх, и Стендаль быстро замахал руками, отфыркиваясь и конечно же потеряв очки.

Плотик был недалеко. Его Стендаль различил сквозь пелену мокрого снега и сразу вспомнил о мальчишке. Цель прежде всего. Не чувствуя холода, Стендаль рванул к плоту и уцепился за его край. Он плыл к берегу, толкая плотик перед собой. Сорванец на плоту не двигался, замер, молчал, наверное, думал о том, как его взгреют дома.

Наконец, а Стендалю казалось уже, что прошла вечность, он проплыл двадцать метров до берега. Под ногами обнаружилось скользкое покатоое дно. Стендаль выпрямился, вода была по бедра, и воздух был теплым, даже горячим после студенной купели.

Он увидел женщину, подбежавшую к кромке воды, и сказал ей усталым, полным значения голосом, как пионер, остановивший поезд, которому грозило крушение:

— Держите ваше сокровище.

— Господи! — воскликнула женщина. — Ты вылезай из воды-то, простудишься.

Она нагнулась, взяла с плотика ведро с бельем и протянула свободную руку Стендалю, чтобы помочь ему выбраться на берег.

— Мостки обломились, — объяснила она. — Сама не понимаю, как это случилось. Как уж я испугалась!..

Стендаль стоял на берегу рядом с женщиной, и его била крупная, как судорога, дрожь.

— Ты как же прыгнул-то? — спросила женщина. — Я даже и не заметила откуда. Пойдешь ко мне, погреешься.

— Давайте ведро, — сказал Стендаль. — Я... я... я помогу вам его донести.

Любой, даже успешно закончившийся, эксперимент (на это указывает и Бомбар) чреват опасностью побочных эффектов. На следующее утро Стендаль слег в жестокой ангине. Через три недели он выбрался к Зайкам и узнал, что за два дня до него там побывал корреспондент одного столичного журнала.

КОСМИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Было это в августе, в субботу, в жаркий ветренный день. Николай Ложкин, пенсионер, уговорил своих соседей профессора Минца Льва Христофоровича и Корнелия Удалова провести этот день на озере Копенгаген, отдохнуть от городской суеты, от семьи и работы.

Озеро Копенгаген лежит в двадцати километрах от города, туда надо добираться автобусом, потом пешком по тропинке, через смешанный лес.

Название озера объясняется просто. Когда-то там стояла усадьба помещика Гуля (Гулькина), большого англомана, который полагал, что Копенгаген — английский адмирал. Название прижилось из-за странного для окрестных жителей звучания.

Корнелий Удалов притащил с собой удочки, чтобы порыбачить, профессор Минц — чемоданчик со складной лабораторией, хотел взять воду на пробу: он задумал разводить в озере мидий для народного хозяйства. Николай Ложкин желал загорать по системе йогов. Для начала они выбрали место в тени, под коренастой сосной, устроили там лагерь — расстелили одеяло, положили на него припасы, перекусили и завели разговор о разных проблемах. На озере был еще кой-какой народ, но из-за жары никто рыбу не ловил, отдыхали.

— Давно не было событий, — сказал Удалов. Он разделся, был в синих плавках с цветочком на боку и в газетной треуголке, чтобы не обжечь солнцем лысину.

— Обязательно будут события, — заверил старик Ложкин. — Погода стоит хорошая. Такого в наших местах не наблюдалось с 1878 года. — Для наглядности он нарисовал

дату на песке, протянул стрелочку и написал рядом другую: 1978. — Столетие.

В этот момент над ними появился космический корабль. Он беззвучно завис над озером, словно облетел всю Галактику в поисках столь красивого озера, а теперь не мог любоваться.

— Смотрите, — показал Удалов. — Космические пришельцы.

— Я же говорил, — сказал Ложкин.

— Такие к нам еще не прилетали, — заметил Удалов, поднимаясь и сдвигая назад газетную треуголку. Вид у него был серьезный.

Профессор Минц, который еще не раздевался, лишь ослабил галстук, также встал на ноги и расставил пальцы на определенном расстоянии от глаз, чтобы определить размеры корабля.

— Таких еще не видели, — подтвердил Ложкин. — Это что-то новенькое.

— Издалека летел, — определил профессор Минц, закончив измерения. — Пю-мезонные ускорители совсем изнасились.

Удалов с Ложкиным пригляделись и согласились с Минцем. Пю-мезонные ускорители требовали ремонта.

Корабль медленно снижался, продвигаясь к берегу, и наконец завис над самой кромкой воды, бросив тень на песок.

— Скоро высадку начнут, — сообщил Удалов.

«Да, — подумал Ложкин. — Сейчас откроется люк, и на песок сойдет неизвестная цивилизация. Вернее всего, она дружелюбная, но не исключено, что могла пожаловать злобная и чуждая нам космическая сила с целью покорения Земли. А ведь никаких действий не предпримешь. До города двадцать километров, к тому же автобус ходит редко».

Из корабля выдвинулись многочисленные щупы и анализаторы.

— Измеряют условия, — произнес Удалов.

Минц только кивнул. Это было ясно без слов.

Анализаторы спрятались.

И тут случилось неожиданное.

Открылся другой люк, снизу. Вместо космонавтов на берег, словно из силосной башни, вывалился ком зеленой массы, похожий на консервированный шпинат, такие консервы были недавно в гастрономе и шли на приготовление

супа. Люк тут же захлопнулся. Зеленая масса расползлась по песку густым киселем и приблизилась к воде. Корабль взвился вверх и исчез.

— Похоже, — сказал Минц, — на водную цивилизацию.

Ложкин, который уже про себя отрепетировал приветственное слово, так как обладал жизненным опытом и опытом общественной работы, молчал. Зеленая масса не имела никаких органов, к которым можно было бы обратиться с речью. Поэтому Ложкин сказал шепотом, чтобы кисельный пришелец не подслушал:

— Хулиганство в некотором роде. Все озеро загадит, а люди купаются.

— Купаться пока не придется, — ответил Корнелий Удалов. — Возможно, у пришельца нежные части и можно их повредить.

— Плесень он, а не пришелец, — пришел к окончательному выводу Ложкин.

— Может, он радиоактивный? — спросил Удалов.

— Сейчас проверим.

Минц раскрыл чемоданчик, в котором находились складной микроскоп, спектрограф, счетчик Гейгера, пробирки, химикалии и другие приборы.

Старик Ложкин, проникшись недоверием к зеленому пришельцу, который уже частично вполз в воду и расплылся по ее поверхности зеленой пленкой, достал химический карандаш и на листе фанеры написал печатными буквами:

Купаться, ловить рыбу, стирать белье
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ОПАСНО!

Потом он прикрепил фанеру к сосновому стволу, и люди, сходящиеся к месту происшествия с других участков берега, останавливались перед объявлением и читали его.

Минц спустился к воде и нагнулся над зеленой жижей. Счетчик радиации молчал, что было утешительно.

— А не исключено, — сказал он Удалову, который стоял над ним, страховал сзади, — что это — космический десант.

— Жалко, — огорчился Удалов. — Я всегда стою за дружбу между космическими цивилизациями.

— Если эта зеленая плесень начнет быстро размножаться, покроет слоем всю нашу планету, то инопланетным агрессорам нетрудно будет взять нас голыми руками.

— Можно попроще способ придумать.

— Что мы знаем об их психологии? — спросил Минц. — А если они всегда так покоряют чужие планеты?

Один из рыболовов сказал:

— Поеду домой. Мне с огорода надо помидоры снять. А то пришельцы все потравят.

За ним последовали некоторые другие из купальщиков и рыболовов. Неосновная масса осталась, потому что для среднего горожанина нет большего удовольствия, чем встреча с неведомым, прикосновение к тайнам космоса.

— Теперь, — заявил профессор Минц, — надо исследовать поведение плесени в водной среде.

Он начал брать пробы и смотреть на пришельца в микроскоп.

Удалов также не терял времени даром. Он сначала нарисовал в воздухе круг и треугольник, взывая к общему для всех разумных существ знанию геометрии, а затем достал из-под сосны свои брюки, чтобы наглядно объяснить пришельцу теорему Пифагора о штанах. Плесень не обратила внимания на усилия Удалова, но тут были обнаружены выводы Минца:

— Совершенно безопасная субстанция. Микроскопические водоросли, примитивные организмы, встречаются на Земле. Разумом не отличаются.

— Это еще не факт, — возразил Удалов, но штанами махать перестал, а надел их. — Может, если сложить их вместе, получится коллективный разум.

— Если даже целое поле капусты сложить вместе, получится большая куча капусты, но никакого разума, — возразил Минц.

— А если она размножится и покорит Землю? — спросил Ложкин. — Вы же сами предупреждали, Лев Христович.

— У нее было много времени, чтобы это сделать в далеком прошлом. Миллиарды лет эта водоросль обитает на Земле.

— Она рыбу всю поморит, — высказал предположение молодой человек в тельняшке.

— Рыба ее уже кушает, — сказал Минц.

Так рухнула теория о космическом десанте, пропала втуне заготовленная Ложкиным речь и провалились усилия Удалова по поводу теоремы Пифагора. Минц свое дело знал. Если он сказал, что космический корабль вывалил на берег озера Копенгаген просто кучу мелких водорослей, значит, так оно и есть.

Разочарованные зрители разошлись по берегу, а Минц с соседями сел под сосну у запретительной надписи и стал думать, что бы это все значило. Не может быть, чтобы из космоса прислали корабль только для того, чтобы привезти кучу водорослей.

Водоросли, оставшиеся на берегу, быстро сохли под солнцем, чернели, впитывались в песок.

— Нам поставили логическую загадку, — предположил Удалов. — Нас испытывают. Испугаемся или нет.

— А сами наблюдают? — спросил Ложкин.

— Сами наблюдают.

Минц поднялся и пошел по берегу, чтобы определить границы выпадения водорослей. Озеро жило своей мирной, тихой субботней жизнью, и ничто не напоминало о недавнем визите космического корабля. Минц споткнулся обо что-то твердое. Полагая, что это камень, он ударил носком по препятствию, но препятствие не поддалось, зато Минц, который был в легких сандалиях, ссадил большой палец.

— Ой! — сказал он.

Удалов уже спешил к нему на помощь:

— Что такое?

— Камень. Он водорослями покрыт.

Интуиция подсказала Удалову, что это не камень. Он быстро опустился на корточки, разгреб водоросли, еще влажные и липкие. И его старания были вознаграждены. Небольшой золотистый цилиндр, верхняя часть которого выступала из песка, медленно ввинчиваясь, уползал вглубь.

— А вот и прищелец, — сказал Удалов, по-собачьи разгребая обеими руками песок, чтобы извлечь цилиндр.

Цилиндр был невелик, но тяжел. Минц живо достал из чемоданчика ультракоротковолновый приемник, который оказался там только потому, что в чемоданчике было все, что могло пригодиться, настроил его и сообщил:

— Так я и думал. Цилиндр издает сигнал на постоянной волне.

— И на нем что-то написано, — сказал Удалов.

И вправду, на нем было что-то написано.

Цилиндр развинтили. Внутри обнаружили свернутый в трубочку свиток металлической фольги с такими же буквами, как и на его оболочке.

— Похоже на эсперанто, — размышлял Минц, разглядывая текст. — Только другой язык. И неизвестная мне графика. Но ничего, окончания и префиксы просматриваются, знаки препинания угадываются, структура проста. Дайте мне десять минут, и я, как и любой на моем месте лингвистический гений, прочту этот текст.

— Вот и хорошо, — заключил Удалов. — А я побегу колбасу порежу и пиво открою.

Удалов приготовил пищу, Минцу тоже дали бутерброд, и через десять минут расшифровка была закончена, ибо Минц использовал в своей работе опыт Шампольона — Кнорозова и других великолепных мастеров, специалистов по клинописи и письменности майя.

— Внимание, — сказал Минц. — Если вы заинтересованы, я прочту перевод космического послания. Оно не лишено интереса. — Минц тихо хихикнул. — Сначала надпись на цилиндре: «Вскрыть через четыре миллиарда лет».

— Чего? — спросил Ложкин.

— За точность перевода ручаюсь.

— Тогда зря мы это сделали, — заметил Удалов. — Они надеялись, а мы нарушили.

— Мне столько не прожить, — возразил Ложкин. — Поэтому раскаиваться нечего. Кроме того, мы сначала вскрыли, а потом уже прочли запрещение.

— А теперь текст, — напомнил Минц. — «Дорогие жители планеты, название которой еще не придумано...»

— Как так? — удивился Ложкин. — Наша планета уже называется.

— И это в космосе многим известно, — поддержал его Удалов.

Минц переждал возражения и продолжал:

— «Сегодня минуло четыре миллиарда лет с того дня, как автоматический корабль-сеялка с нашей родной планеты Прекрупидан совершил незаметный, но принципиальный шаг в вашей эволюции. Будучи адептами теории и практики панспермии, мы рассылаем во все концы Галак-

тики корабли, груженные примитивной формой жизни — водорослями.

Попадая на ненаселенную планету, они развиваются, так как являются простейшими и неприхотливыми живыми существами. Через много миллионов лет они дадут начало более сложным существам, затем появятся динозавры и мастодонты, и, наконец, наступит тот счастливый в жизни любой планеты день, когда обезьяночеловек возьмет в лапы палку и начнет произносить отдельные слова. Затем он построит себе дом и изобретет радио. Знайте же, что вы, наши отдаленные во времени-пространстве родственники по эволюции, благодаря изобретению радио поймали сигнал нашей капсулы, захороненной четыре миллиарда лет назад на берегу необитаемого и пустынного озера, потому что мы засеяли его воду примитивными водорослями. Мы не оставляем нашего обратного адреса — срок слишком велик. Мы подарили вашей планете жизнь и создали вас совершенно бескорыстно. Если вы нашли капсулу и прочли послание — значит, наша цель достигнута. Скажите нам спасибо. Счастливой эволюции, друзья!»

— Вот и всё, — закончил Минц, не скрывая некоторой грусти. — Они немного опоздали.

— Я же говорил, что они разумные, — сказал Удалов. — И никакой враждебности.

Удалов верил в космическую дружбу, и записка в цилиндре лишь укрепила его в этой уверенности.

Микроскопические водоросли плавали по озеру, и их ели караси. Но Ложкин вдруг закручинился...

— Ты чего? — спросил Удалов. — Чем недоволен? Адреса нету? Адрес мы узнаем. Слетаем к ним, вместе посмеемся.

— Я не об адресе. Я думаю, может, поискать еще одну капсулу?

— Какую еще?

— Ну, ту самую, которую кто-то оставил на Земле четыре миллиарда лет назад.

РЕТРОГЕНЕТИКА

Славный майский день завершился небольшой образцово-показательной грозой с несколькими яркими молниями, жестяным нестрашным громом, пятиминутным ливнем и приятной свежестью в воздухе, напоенном запахом сирени. Районный центр Великий Гусяр нежился в этой свежести и запахах. Пенсионер Николай Ложкин вышел на курчавый от молодой зелени, чистый и даже кокетливый по весне двор с большой книгой в руках. По двору гулял плотный лысый мужчина — профессор Лев Христофорович Минц, который приехал в тихий Гусяр для поправки здоровья, подорванного напряженной научной деятельностью. Николай Ложкин любил побеседовать с профессором на умственные темы, даже порой поспорить, так как сам считал себя знатоком природы.

— Чем увлекаетесь? — спросил профессор. — Что за книгу вы так любовно прижимаете к груди?

— Увлёкся антропологией, — сказал Ложкин. — Интересуюсь проблемой происхождения человека от обезьяны.

— Ну и как, что-нибудь новенькое?

— Боюсь, что наука в тупике, — пожаловался Ложкин. — Сколько всего откопали, а до главного не докопались: как, где и когда обезьяна превратилась в человека.

— Да, момент этот уловить трудно, — согласился Лев Христофорович. — Может быть, его и не было?

— Должен быть, — убежденно ответил Ложкин. — Не могло не быть такого момента. Ведь что получается? Выкопают где-нибудь в Индонезии или Африке отдельный доисторический зуб и гадают: человек его обронил или обезьяна.

Один скажет: человек. И назовет этого человека, скажем, древнеантропом. А другой поглядит на тот же зуб и отвечает: «Нет, это зуб обезьяний, и принадлежал он, конечно, древнепитеку». Казалось бы, какая разница — никто не знает! А разница в принципе!

Минц наклонил умную лысую голову, скрестил руки на тугом, обтянутом пиджаком животе и спросил строго:

— И что же вы предлагаете?

— Ума не приложу, — сознался Ложкин. — Надо бы туда заглянуть. Но как? Ведь путешествие во времени вроде бы невозможно.

— Совершенная чепуха, — ответил Минц. — Я пытался сконструировать машину времени, забрался во вчерашний день и там остался.

— Не может быть! — воскликнул Ложкин. — Так и не вернулись?

— Так и не вернулся, — сказал Минц.

— А как же я вас наблюдаю?

— Ошибка зрения. Что для вас сегодня, для меня вчерашний день, — загадочно ответил Минц.

— Значит, никакой надежды?

Профессор глубоко задумался и ничего не ответил.

Дня через три профессор встретил Ложкина на улице.

— Послушайте, Ложкин, — сказал он. — Я вам очень благодарен.

— За что? — удивился Ложкин.

— За грандиозную идею.

— Что же, — ответил Ложкин, который не страдал излишней скромностью. — Пользуйтесь, мне не жалко.

— Вы открыли новое направление в биологии!

— Какое же? — поинтересовался Ложкин.

— Вы открыли генетику наоборот.

— Поясните, — потребовал Ложкин ученым голосом.

— Помните нашу беседу о недостающем звене в происхождении человека?

— Как же не помнить.

— И ваше желание заглянуть во мглу веков, чтобы отыскать момент превращения обезьяны в человека?

— Помню.

— Тогда я задумался: что такое жизнь на Земле? И сам себе ответил: непрерывная цепь генетических изменений,

Вот среди амёб появился счастливый мутант, он быстрее других плавал в первобытном океане, или глотка у него была шире. От него пошло прожорливое и шустрое потомство. Встретился внук этой амёбы с жутко хищной амёбихой — вот и ещё шаг в эволюции. И так далее, вплоть до человека. Улавливаете связь времен?

— Улавливаю, — ответил Ложкин и добавил: — В беседе со мной нет нужды прибегать к упрощениям.

— Хорошо. Мы, люди, активно вмешиваемся в этот процесс. Мы подглядели, как это делает природа, и продолжаем за нее скрещивание, отбор, создаем новые сорта пшеницы, продолжаем эволюцию собственными руками.

— Продолжаем, — согласился Ложкин. — Хочу на досуге вывести быстрорастущий забор.

— Молодец. Всегда у вас свежая идея. Так вот, после беседы с вами я задумался: а всегда ли правильно мы следуем за природой? Природа слепа. Она знает лишь один путь — вперед, независимо от того, хорош он или плох.

— Путь вперед всегда прогрессивен, — заметил Ложкин.

— Тонкое наблюдение. А если нарушить порядок? Если все перевернуть? Вы сказали: как бы увидеть недостающее звено? Отвечаю: распутать цепь наследственности. Прокрутить эволюцию наоборот. Углубляясь в историю, добраться до ее истоков.

— Нам и без этого дел хватает, — возразил Ложкин.

— А перспективы? — спросил профессор, наклонив голову и прищурившись.

— Это не перспективы, а ретроспективы, — сказал Ложкин.

— Великолепно! — воскликнул Минц. — Чем пользуется генетика? Скрещиванием и отбором. Нашу с вами новую науку мы назовем ретрогенетикой. Ретрогенетика будет пользоваться раскрещиванием, откращиванием и разбором. Генетика будет выводить новую породу овец, которой еще нет, а ретрогенетика — ту породу, которой уже нет. И ученым не надо будет копать в земле. Заказал палеонтолог в лаборатории: выведите мне первого неандертальца, хочу поглядеть, как он выглядел. Ему отвечают: будет сделано.

— Слабое место, — заявил Ложкин.

— Слабое место? У меня?

— Ваш неандерталец жил миллион лет назад. Вы что же, собираетесь миллион лет ждать, пока его снова выведете?

— Слушайте, Ложкин. Если бы мы отдавались на милость природе, то сорта пшеницы, которые колосятся на колхозных полях, вывелись бы сами по себе через миллион лет. А может, и не вывелись бы, потому что природе они не нужны.

— Ну, не миллион лет, так тысячу, — не сдавался Ложкин. — Пока ваш неандерталец родится да еще своих предков народит.

— Нет, нет и еще раз нет, — сказал профессор. — Зачем же нам реализовывать все поколения? В каждой клетке закодирована ее история. Все будет, дорогой друг, на молекулярном уровне, как учит академик Энгельгардт.

— Ну ладно, выведете вы, что было раньше. А что дальше? Какая польза от этого народному хозяйству?

Ответ на свой вопрос Ложкин получил через три месяца, когда пожелтели липы в городском саду и дети вернулись из пионерских лагерей.

Лев Христофорович стоял у ворот и чего-то ждал, когда Ложкин, возвращаясь из магазина с кефиром, увидел его.

— Как успехи? — поинтересовался он. — Когда увидим живого неандертальца?

— Мы его не увидим, — отрезал профессор. Он осунулся за последние недели: видно, много было умственной работы. — Есть более важные проблемы.

— Какие же?

— Вы знакомы с Иваном Сидоровичем Хатой?

— Не приходилось, — сказал Ложкин.

— Достойный человек, заведующий фермой нашего пригородного хозяйства «Гуслярец». Зоотехник, смелый, рискованный. Большой души человек.

Тут в ворота въехал газик, из которого выскочил шустрый очкастый человечек большой души.

— Поехали? — предложил он, поздоровавшись.

— С нами Ложкин, — сказал Минц. — Представитель общественности. Пора общественность знакомить.

— Не рано ли? — обеспокоился Хата. — Спугнут.

— Нам ли опасаться гласности? — спросил Минц.

После короткого путешествия газик достиг животноводческой фермы. Рядом с коровником стоял новый высокий сарай.

— Ну что же, заходите, только халат наденьте.

Хата выдал Ложкину и Минцу халаты и сам тоже облачился. Ложкин ощутил покалывание в желудке и приготовился увидеть что-нибудь необычное. Может, даже страшное. Но ничего страшного не увидел.

Под потолком горело несколько ярких ламп, освещая кучку мохнатых животных, жевавших сено в дальнем углу.

Ложкин присмотрелся. Животные были странными, таких ему раньше видеть не приходилось. Они были покрыты длинной рыжей шерстью, носы у них были длинные, ноги толстые, как столбы. При виде вошедших людей животные перестали жевать и уставились на них маленькими черными глазками. И вдруг захрюкали, заревели и со всех ног бросились навстречу Хате и Минцу, чуть не сшибли их, ластились, неуклюже прыгали, а профессор начал доставать из карманов халата куски сахара и угощать животных.

— Что за звери? — спросил Ложкин, отошедший к стенке, подальше от суматохи. — Почему не знаю?

— Не догадались? — удивился Хата. — Мамонтята. Каждому ясно.

— Мне не ясно, — сказал Ложкин, отступая перед мамонтенком, который тянул к нему недоразвитый хоботок, требуя угощения. — Где бивни, где хоботы? Почему мелкий размер?

— Все будет, — успокоил Ложкина Минц, оттаскивая мамонтенка за короткий хвостик, чтобы не приставал к гостю.

— Все с возрастом отрастет. Ваше удивление мне понятно, потому что вам не приходилось еще сталкиваться с юными представителями этого славного рода.

— Я и со старыми не сталкивался, — возразил Ложкин. — И прожил, не жалуясь. Откуда вы их откопали?

— Неужели не догадались? Они же выведены методом ретрогенетики — раскрещиванием и разбором. Из слона мы получили предка слонов и мамонтов, близкого к мастодонтам. Потом пошли обратно и вывели мамонта.

— Так быстро?

— На молекулярном уровне, Ложкин, на молекулярном уровне. Под электронным микроскопом. Методом раскрещивания, открещивания и разбора. И вы понимаете теперь, почему я отказался от соблазнительной идеи отыскать недостающее звено, а занялся мамонтами?

— Не понимаю, — сказал Ложкин.

— Вы, товарищ, видно, далеки от проблем животноводства, — вмешался Иван Хата. — Ни черта не понимаете, а критикуете. Нам мамонт совершенно необходим. Для нашей природной зоны.

— Жили без мамонта и прожили бы еще, — упорствовал Ложкин.

— Эх, товарищ Ложкин. — В голосе Хаты звучало сострадание. — Вы когда-нибудь думали, что мы имеем с мамонта?

— Не думал. Не было у меня мамонта.

— С мамонта мы имеем шерсть. С мамонта мы имеем питательное мясо, калорийное молоко и даже мамонтовую кость.

— Но главное, — воскликнул Минц, — бесстойловое содержание! Круглый год на открытом воздухе, ни тебе утепленных коровников, ни специальной пищи. А подумайте о труднодоступных районах Крайнего Севера: мамонт там — незаменимое транспортное средство для геологов и изыскателей.

Прошло еще три месяца.

Однажды к дому шестнадцать по Пушкинской, где проживал Лев Христофорович, подъехала сизая «Волга», из которой вышел скромный на вид человек средних лет, в дубленке. Он вынул изо рта трубку, поправил массивные очки, снисходительно оглядел непритязательный двор, и его взгляд остановился на Ксении Удаловой, которая развешивала белье.

— Скажите, гражданка, если меня не ввели в заблуждение.

— Вы корреспондент будете? — спросила Ксения.

— Вот именно. Из Москвы. А как вы догадались?

— А чего не догадаться, — ответила Ксения. — Восемнадцатый за неделю. Пройдите на первый этаж, дверь открыта. Лев Христофорович отдыхает.

Поднимаясь по скрипучей лестнице в скромную обитель великого профессора, журналист бормотал: «Шарла-

танство. Ясно, шарлатанство. Вводят в заблуждение общественность...»

— Заходите, — откликнулся на стук профессор Минц.

Он в тот момент отдыхал, а именно: читал «Химию и жизнь», слушал последние известия по радио, смотрел хоккей по телевизору, гладил брюки и думал.

— Из Москвы. Журналист, — сказал гость, протягивая удостоверение. — Это вы тут мамонтов разводите?

Журналист произнес это таким тоном, словно подразумевал: «Это вы водите за нос общественность?»

— И мамонтов, — скромно ответил профессор, прислушиваясь к сообщениям из Канберры и радуясь мастерству лучшего в сезоне хоккеиста.

— С помощью... — журналист извлек из замшевого кармана записную книжку, — ретро, простите, генетики?

Доверчивый Минц не уловил иронии в голосе журналиста.

— Именно так, — подтвердил он и набрал из стакана в рот воды, чтобы обрызгать брюки.

— И есть результаты?

Минц провел раскаленным утюгом по складке, поднялось облако пара.

— С этим надо что-то делать, — сказал Минц. Он имел в виду брюки и ситуацию в Австралии.

— И все-таки, — настаивал журналист. — Можно взглянуть на ваших мамонтов?

— А почему бы и нет? Они в поле пасутся. Добывают корм из-под снега.

— Ясно. А еще каких-нибудь животных вы можете вывести?

— Будете проходить мимо речки, — сказал Минц, — поглядите в полыню. Там бронтозавры. Думаем потом отправить их в Среднюю Азию для расчистки ирригационных сооружений.

В этот момент в окно постучала длинным, усеянным острыми зубами клювом образина. Крылья у образины были перепончатые, как у летучей мыши. Образина гаркнула так, что зазвенели стекла и форточка сама собой открылась.

— Не может быть! — воскликнул журналист, отступая к стене. — Это что такое? Мамонт?

— Мамонт? Нет, это Фомка. Фомка — птеродактиль. Когда вырастет, размахнет свои крылья на восемь метров.

Минц отыскал под столом пакет с тресковым филе, подошел к форточке и бросил пакет в разинутый клюв образине. Птеродактиль подхватил пакет и заглотнул, не разворачивая.

— Зачем вам птеродактиль? — спросил журналист. — Только людей пугать.

Он был уже не так скептически настроен, как в первый момент.

— Как зачем? Птеродактили нам позарез нужны. Из их крыльев мы будем делать плащи-болонья, парашюты, зонтики, наконец. К тому же научим их пасти овец и охранять стада от волков.

— От волков? Ну да, конечно... — Журналист прекратил расспросы и вскоре удалился.

«Возможно, это до определенной степени и не шарлатанство, — думал он, спускаясь по лестнице к своей машине, — но по большому счету это все-таки шарлатанство».

Весь день до обеда корреспондент ездил по городу, издали наблюдал за играми молодых мамонтов, недовольно морщился, когда на него падала тень пролетающего птеродактиля, и вздрагивал, услышав рев пещерного медвежонка.

— Нет, не шарлатанство, — повторял он упрямо. — Но кое в чем хуже, чем шарлатанство.

Весной в журнале, где состоял тот корреспондент, появилась статья под суровым заглавием:

ПЛОДЫ ЛЕГКОМЫСЛИЯ

Нет смысла передавать опасения и измышления гостя. Он предупреждал, что новые звери нарушат и без того неустойчивый экологический баланс, что пещерные медведи и мамонты представляют опасность для детей и взрослых. А в заключение журналист развернул страшную картину перспектив ретрогенетики:

«Безответственность периферийного ученого и пошедших у него на поводу практических работников гусярского животноводства заставляет меня бить тревогу. Эксперимент, не проверенный на мелких и безобидных тварях (жуках, кроликах и т. д.), наверняка приведет к плачевным ре-

зультатам. Где гарантия того, что мамонты не взбесятся и не потопчут зеленые насаждения? Что они не убегут в леса? Где гарантия того, что бронтозавры не выползут на берег и не отправятся на поиски новых водоемов? Представьте себе этих рептилий, ползущих по улицам, сносящих столбы и киоски. Я убежден, что птеродактили, вместо того чтобы пасти овец и жертвовать крыльями на изготовление зонтиков, начнут охотиться на домашнюю птицу, а может быть, на тех же овец. И все кончится тем, что на ликвидацию последствий непродуманного эксперимента придется мобилизовать трудящихся и тратить народные средства...»

Статья попала на глаза профессору Минцу лишь летом.

Читая ее, профессор лукаво улыбался, а потом захватил журнал с собой на открытие межрайонной выставки. Центром выставки, как и следовало предполагать, был павильон «Ретрогенетика». Именно сюда спешили люди со всех сторон, из других городов, областей и государств. Пробившись сквозь интернациональную толпу к павильону, Лев Христофорович оказался у вольера, где гуляли мамонты.

Было жарко, поэтому мамонты были коротко острижены и казались поджарыми, словно собаки породы эрдельтерьер. У некоторых уже прорезались бивни. Птеродактили сидели у них на спинах и выклевывали паразитов. В круглом бассейне посреди павильона плавали два бронтозавра. Время от времени они тяжело поднимались на задние лапы и, прижимая передние к блестящей груди, выпрашивали у зрителей плюшки. У кого из зрителей не было плюшки, кидали пятаки.

Здесь, между вольером и бассейном, Минц увидел Ложкина и Хату и прочел друзьям скептическую статью.

Смеялись не только люди. Булькали от хохота бронтозавры, трубили мамонты, а один птеродактиль так расхохотался, что не мог закрыть пасть, пока не прибежал служитель и не стукнул весельчаку как следует деревянным молотком по нижней челюсти.

— Неужели, — сказал профессор, когда все отсмеялись, — этот наивный человек полагает, что мы стали бы выводить вымерших чудовищ, если бы не привили им генетически любви и уважения к человеку?

— Никогда, — отрезал Ложкин. — Ни в коем случае.

Птеродактиль, все еще вздрагивая от смеха, стуча когтями по полу, подошел к профессору, и тот угостил его конфетой. Маленькие дети по очереди катались верхом на мамонтах, подложив под попки подушечки, чтобы не колола остриженная жесткая шерсть. Бронтозавры собирали со дна бассейна монетки и честно передавали их служителям. В стороне скулил пещерный медведь, потому что его с утра никто не приласкал.

...В тот день столичного журналиста, неудачливого пророка, до полусмерти искусала его домашняя сямская кошка.

СИЛЬНЕЕ ЗУБРА И СЛОНА

1

— Вам письмо, Мишенька, — прошелестела редакционная секретарша, беленькое пушистое существо с детским точным прозвищем Курочка.

Миша Стендаль поморщился. У него сидел пенсионер с жалобой, шел солидный разговор о водопроводе, пенсионер величал Мишеньку по отчеству, так что обращение Курочки было неуместным.

— Положите на стол, Антонина Панфиловна, — сказал Миша.

Курочка вспыхнула от такого афронта и обиженно уцокала каблучками из комнаты. Миша вздохнул и обратился к пенсионеру:

— Продолжайте, я слушаю.

А сам покосился на письмо. Письмо было личное. «Гор. Великий Гусяр. Редакция газеты «Гусярское знамя». Тов. Стендалю М.А.».

Но главное — обратный адрес. Стендаль даже перестал слушать пенсионера, только поддакивал и ждал момента, когда можно будет письмо вскрыть. Обратный адрес был такой: «Гусярский район, Заболоцкое лесничество. Зайке Терентию Артуровичу».

Терентий Зайка был старым знакомым Стендаля, представителем семейства талантливых изобретателей. Месяца три назад Зайка приезжал в город на самоходной русской печи своего изобретения, и тогда Стендаль написал о нем яркий очерк, который был перепечатан в сокращенном виде в областной газете.

Стендаль давно просился к Зайкам в гости, ждал приглашения. И вот письмо.

Наконец пенсионер ушел. Стендаль сразу потянулся к письму, вскрыл его и прочел следующее: «Здравствуй, дорогой друг Михаил Бальзак!» Слово «Бальзак» было аккуратно зачеркнуто, и поверх написано: «Стендаль». Терентий вечно забывал, с каким великим писателем Миша однофамилец, — рассеянность, простительная для самородка.

«Пишет тебе Терентий Зайка, если вы меня не забыли. Жизнь у нас тихая, природа начинает оживать после зимней спячки, хотя до весны еще не близко. Зимний период для нашей семьи выдался занятый. Надо подготовиться к лету, к борьбе с лесными пожарами, вредными насекомыми и туристами, подкармливаем диких животных, ведем текущие дела и немало времени отдаем научной работе. Как вы знаете, Миша, наш батя Артур Иванович, мой брат Василий и лично я склонны к размышлениям. Раза два приезжали корреспонденты, жаль, что тебя с ними не было, но мы с чужими людьми держим себя сдержанно, потому что некоторые из них гонятся за сенсацией. Печка наша на ходу, не жалуемся. Последние три месяца мы посвятили биологии. Кое-чего добились. Если тебе интересно, приезжай к нам в субботу или воскресенье, буду ждать тебя с нетерпением, адрес ты знаешь.

Остаюсь преданный тебе друг *Терентий*».

От Гусяра до Заболотья полтора часа на автобусе, а оттуда до кордона по проселку час пешком, если не будет попутки.

Когда Стендаль, одурев от долгой езды и духоты, выбрался из автобуса, его ждали.

Стоял хороший, яркий, морозный, искристый мартовский день. Солнце светило по крышам, бросало сиреневые тени от голых деревьев на серебристый снег, посреди площади стояла большая беленая — на снегу не сразу различишь — русская печь. В печке трепетал огонь, из трубы тянулся прозрачный дымок, рядом с печкой стоял Терентий Зайка собственной персоной, в темном костюме, при галстукке, в блестящих ботинках.

— Эй! — обрадовался корреспондент. — Терентий! Какими судьбами? Не простудись!

— Здравствуйте, Миша, — ответил Терентий. — А я за вами.

По площади шли люди, бежали дети, никто не обращал внимания на русскую печь, на которой приехал Терентий. В округе привыкли к чудачествам Заек, но уважали за талант и добрый нрав.

В истории человечества встречаются гениальные изобретатели. Порой они имеют обыкновение уединяться для того, чтобы готовить гибель всему живому, или сходят с ума от одиночества. Совсем иное дело Зайки. Эта дружная семья состоит из Артура Ивановича, его сыновей Василия и Терентия, а также из Васиной жены Клавдии. В обыденной жизни эта семья ничем не отличается от окружающих. Василий и Терентий окончили в Заболотье среднюю школу, отслужили в армии, работают, учатся заочно в лесотехническом институте. Василий в этом году защищает диплом. Артуру Ивановичу не пришлось получить высшего образования — война помешала. Однако он начитан, способен к иностранным языкам. В лесной глуши выучил английский, французский, японский, хинди, санскрит, латынь и некоторые другие. Полиглотство Артура Ивановича не пустое, оно направлено на чтение журналов и научной литературы. Василий и Терентий — верные помощники отцу и мастера золотые руки. В силу того что они работают коллективом, Зайкам удалось сделать некоторые изобретения, которые не по зубам целым научно-исследовательским институтам как у нас, так и за рубежом. Клава в этом коллективе служит здоровой оппозицией, критическим центром. Если она признала новую работу, работе открывается широкая дорога. Если забраковала, лучше сменить тему.

Есть в деятельности Заек и недостаток — мало кто с ней знаком. Виной тому излишняя скромность. Они даже порой заблуждаются, полагая: если даже что-то изобрели, все равно в больших городах это давно известно.

Терентий принял у гостя из рук тяжелую сумку с гостинцами и покачал головой:

— Зря вы себя так утруждали, Миша.

Стендаль забрался на лежанку, укутал ноги тулупом, Терентий подбросил в печку дровишек. Печка немного приподнялась на воздушной подушке, накренилась, сильнее

потянуло дымом. Терентий сидел спереди, свесив ноги и управляя изящно вырезанными из дерева рычагами.

Печка шла мягко, километров сорок, не больше, ели покачивали темными лапами, белки выбегали на дорогу, приветствовали лесника взмахами хвостов.

— Ой! — воскликнул Стендаль. — Погляди.

На краю дороги стоял медведь оранжевого цвета. Медведь сложил на животе лапы и мычал, покачивая головой.

— Что, красиво? — спросил Терентий, притормаживая.

— Красиво? Да медведь-то оранжевый.

— Ясное дело, оранжевый, я не дальтоник, вижу.

Терентий метнул в медведя бубликом, тот подхватил подарок и удалился в лес.

— Мы преследовали две цели, — сказал Терентий, прибавляя скорость. — Во-первых, контроль над крупными хищниками. Его издали видно, хочешь — наблюдай, хочешь — контролируй численность.

— А вторая цель?

Оранжевая точка мелькнула в просвете между стволов и исчезла.

— Вторая цель — создание новых мехов. Ты еще увидишь — у нас два зеленых волка бегают.

— Это великолепно! — воскликнул Стендаль. — И цвет крепко держится?

— Цвет натуральный. Другого не держим. А вот насчет великолепно или нет, у нас разногласия.

— Почему же?

— А потому что медведю тоже питаться надо. На одних ягодах не проживешь, а он теперь в лесу как светофор. Вот и пришлось ему обратиться за помощью к людям. Подкармливаем. Или вот взять, к примеру, зеленых волков.

И тут Стендаль увидел, что по дороге, низко опустив головы и вытянув в струнку хвосты, вслед за печкой несутся два зеленых волка. Зрелище было почище, чем оранжевый медведь.

— Вот они!

— Они, это точно. Не бойся, они не кусаются. Они обедать торопятся.

И в самом деле, волки обогнали печку и пронеслись дальше.

— Летом такому волку раздолье — маскировка в лучших традициях. А зимой он — как пальма на снегу. Тоже пришлось взять на снабжение.

За такой беседой и коротали дорогу.

— А ты чего, Терентий, без пальто, в одном костюме? — спросил Стендаль. — Тоже изобретение?

И уже догадывался: или в синий костюм Терентия вживлены электрические нитки, или, может, вокруг него лежит силовое поле.

— С детства, — ответил Терентий, — имеем обыкновенные обливаться холодной водой. Батя нас всегда в строгости держал. Вася, тот раньше в проруби регулярно купался. Теперь Клава возражает.

— Ясно, — сказал Стендаль с некоторым разочарованием. Очень уж сложно сплеталось в Зайках научное, передовое с обыденным.

Печка въехала в открытые ворота.

2

— Вы уж простите за нескромность, отведайте нашего, домашнего, — сказал Артур Иванович, приглашая гостя за стол. Стол был уставлен снедью.

Миловидная Клава в широких джинсах и белой, расшитой большими цветами куртке навывпуск смущенно зарделась, когда Стендаль похвалил пищу — телятину в кляре, артишоки, малиновый мусс, протертый луковый суп и другие неприхотливые достижения домашней кулинарии.

— А ты, Клавочка, не стесняйся, — сказал Василий, очень похожий на младшего брата, такой же золотоволосый, тонкий и аккуратный. — Гость воздаст тебе должное. Чего уж стесняться.

После сладкого Клава подала мужчинам кофе.

— Сами выращиваем кофе, — объяснил Терентий. — В теплицах, на гидропонике. Жаль, ты рано приехал, ананасы еще не спели. К апрелю первые пойдут.

— А мы ему в город пошлем, — пообещал Артур Иванович. — Пусть побалуется витаминами.

— Большое спасибо, — сказал Стендаль.

Он наслаждался уютом и гостеприимством Заек. От камина тянуло теплом, под ногами лежали разноцветные экспериментальные шкуры диких животных. В душе жило сладкое томительное ощущение грядущих чудес.

Артур Иванович, словно угадав мысли Стендаля, произнес:

— Мы о вас, Миша, простите за прямоту, наслышаны от Тереши. Он очень тепло отзывается.

— Ну что вы!

— И вот решили мы показать вам наши последние опыты, а вы уж сами думайте, что достойно опубликования на страницах прессы, а с чем еще надо погодить.

— Я готов! — Стендаль вскочил с мягкого кресла, готовый к действиям.

3

Зайки вывели Стендаля на голубой заснеженный двор. Уже вечерело. Примораживало. Солнце спустилось к вершинам елей.

За высокой проволочной сеткой виднелось несколько темных холмиков.

— Ну вот, — сказал Артур Иванович. — Полагаем, простите, что это может вас заинтересовать. Поди сюда, бабовница.

Один из холмиков зашевелился, и из него вытянулась вверх длинная шея с клювом на конце. Открылись стеклянные глупые глаза, страус поднялся на ноги и медленно, словно делал большое одолжение, подошел к загородке. Вид страуса был несколько необычен, ибо он казался одетым в толстую шубу — такие у него были длинные перья или шерсть, даже ноги были укутаны. В мороз он чувствовал себя легко и вольно, не подумаешь, что тропическое существо.

Артур Иванович угостил страуса конфетой, и тот вежливо взял ее сквозь сетку.

— Другие не встают, — сказал Артур Иванович, показывая на остальные холмики, из которых выросли длинные шеи и клювы повернулись к людям. — Другие на яйцах сидят. Это наше главное достижение. Что морозоустой-

чивые — куда ни шло, но что яйца на снегу научились высиживать — большое достижение. С пингвинами скрещивали. Внешний вид и размеры страуса, а повадки пингвиньи.

Стендаль смело сунул руку в загон, потрепал птицу по клюву и чуть не лишился пальца.

— Осторожнее, — укорил его Василий. — Он чужих не признает. Неукротимая птица.

— Значит, Миша, — подытожил Артур Иванович, — работаем мы в двух основных направлениях. Первое направление ты видал — это разноцветные животные. Вторая задача, которую решаем, — продолжал Артур Иванович, — приближение некоторых тропических животных, даже, простите за выражение, экзотических, к нашим условиям.

— Замечательно! — воскликнул Стендаль. — Вы разрешите написать об этом в нашей газете?

— Пиши, милый, — сказал Артур Иванович. — Пиши. Поможешь преодолеть трудности по внедрению в жизнь.

Они пересекли двор и пошли по просеке.

— А теперь, если хочешь, покажем тебе один незавершенный опыт, — предложил Артур Иванович. — Не для публикации, а для интереса.

Просека кончилась, упершись в поляну. Там находился загон, обнесенный толстыми бревнами.

Посреди загона стоял зубр, какого Стендалю не приходилось видеть даже в зоопарке. Ростом он превосходил Стендаля, в длину достигал трех метров, морда у него была тупая и безжалостная. Первобытное чудовище. Но, правда, натурального цвета. Стендаль, хоть и не трус, отступил на шаг от загородки.

— Внушает почтение? — спросил Терентий. — Вельзевулом зовут.

Вельзевул оглядел присутствующих маленькими злыми глазками и вдруг без предупреждения наклонил голову и бросился на людей. Бревна, из которых была сложена изгородь, содрогнулись от страшного удара, и по всему лесу прокатился жуткий гул. С деревьев посыпался снег, взлетели испуганно вороны. Зубр отошел на несколько шагов назад, чтобы возобновить нападение.

— Дикая сила, — сказал уважительно Артур Иванович. Он был здесь самый маленький, даже ниже и легче Клавоч-

ки, но единственный не отпрянул назад, когда зубр штурмовал бревенчатую преграду.

— Клава, ты готова?

— Готова.

— Смотри, осторожнее, — сказал Василий. Он был серьезен.

Что-то будет, понял Стендаль.

Клава подошла к изгороди, оперлась рукой о бревно и легко перелетела в загон.

— Стойте! — вырвалось у Стендаля.

Но никто не поддержал его.

Зубр медленно повел головой в сторону Клавы, пытаясь уразуметь своим маленьким мозгом, кто посмел нарушить его уединение.

— Ты, Миша, не беспокойся, мы не изверги, — улыбнулся Терентий. — Мы Клаву любим.

— Обратите внимание, пресса, — сказал Артур Иванович. — Это зрелище, простите за беспокойство, достойно внимания.

Клава спокойно ждала, пока зубр приблизится к ней. А тот сначала отступил для разгона и начал рыть снег копытом.

И вдруг с глухим ревом бросился на Клаву.

Та стояла прямо, дубленка распахнулась, шапочка чуть сбилась набок.

«Беги», — беззвучно шептал Стендаль.

Но Клавочка и не думала бежать. Она дотронулась кончиками пальцев до рогов несущегося Вельзевула, и все дальнейшее произошло так быстро, что Стендалю захотелось закричать, как при наблюдении хоккейного матча по телевизору: «Еще раз покажите! В замедленном темпе!»

Потому что Клава, взявшись за рога зубра, не только остановила эту махину, но и умудрилась неуловимым движением повалить зубра в снег.

И когда Стендаль опомнился, Клава уже стояла над тушей и придерживала ладошкой голову своего противника.

— Отпустить? — крикнула Клава.

— Отпусти, чего животное унижать, — откликнулся Артур Иванович. — И сюда беги, а то спохватится.

— Я быстро. — Клава отпустила зубра и легко побежала к изгороди. Зубр и не думал подниматься, он лежал,

моргал глазками и переживал. Словно бандит, которому дал достойный отпор маленький ребенок.

Клавдия уже стояла рядом с мужчинами.

— И что ты думаешь, Миша, по этому поводу? — спросил Терентий.

— Ничего не думаю, — сознался Миша. — Она что, какое-то место знает, чтобы его выключить?

Клава весело засмеялась. Она приблизилась к журналисту, дотронулась тонкими пальчиками до его груди, и в тот же момент Стендаль понял, что поднимается в воздух. Земля находилась где-то далеко внизу и притом была наклонена. Там же, внизу, всей семьей стояли Зайки и, задрав головы, улыбались. А Клава держала Стендаля над головой на одной руке, и это не составляло для нее никаких трудностей, потому что она при этом спросила гостя:

— А скажите, Миша, это правда, что в гусярском универмаге японские складные зонтики давали?

— Простите, я не в курсе, — откликнулся сверху Стендаль, хотя положение, в котором он находился, не склоняло к беседе о японских зонтиках.

— Отпусти его, Клава, — попросил Артур Иванович. — Он уже убедился. А то наука превращается в дешевые шутки.

Клава осторожно поставила Стендаля на снег.

— Пошли домой, — предложила она. — Надо мне отдохнуть.

Зубр медленно поднимался на ноги, отворачиваясь от унизивших его людей.

— Клава, иди вперед с Васей, — сказал Артур Иванович. — Ты помнишь, где глюкоза лежит?

— Сейчас, одну секундочку, — ответила молодая женщина, — надо еще одно дело сделать, а то всё руки не доходят.

Она свернула с дороги к вылезавшему из чащи клыкастому пню в три обхвата.

— Осторожно, шубку не замарай, — предупредил ее Артур Иванович.

Клава легонько пошатала пень, как хирург пробует больной зуб, прежде чем взяться за него щипцами. Пень громко заскрипел.

— Ты его туда, в сторону положи, — сказал Василий. — Я его потом распилю.

Клава рванула пень, оглушительно взвыли рвущиеся корни, и откатила громаду, куда велел Василий.

— А теперь пошли, — сказала она, запахивая дубленку.

4

Василий с Клавой покинули гостя. Остальные вернулись в горницу к камину.

— Как тебе, Миша, достижения Клавы? — спросил Терентий.

— Я с нетерпением жду объяснений! — ответил Стендаль, прихлебывая из кружки квас, чтобы остудить свои чувства.

— Проще простого, — сказал Терентий. — Надо только задуматься. А мы, Зайки, очень даже любим задумываться.

Артур Иванович согласно кивнул.

— Вот ты задумывался, по какому принципу работают мышцы?

— Ну, сокращаются. И расслабляются.

— Это не принцип, — вздохнул Терентий. — А принцип у них — как у любого двигателя: сжигают топливо, выделяют энергию, совершают работу.

— Ну, разумеется, — согласился Миша.

— То-то, что не разумеется. Вот ты можешь, например, поднять двадцать килограммов.

— Больше, — утвердительно возразил Миша.

— А спортсмен может сто или даже двести. Для этого он такую массу мускулов на себе наращивает — смотреть страшно. И все чтобы жалких двести килограммов поднять. Очень неразумно мы устроены.

— Здесь, Тереша, прости за вмешательство, ты не прав, — блеснул голубыми глазами Артур Иванович. — Устроены мы разумно, только ограничитель стоит на нашей машине. Чтобы топлива на подольше хватило. Умный человек пятьдесят килограммов на спину взвалит и весь день топает. А топливо в мышцах себе горит, идет гликолиз, хранится актомиозин. Подробностей тебе говорить не будем, все равно, прости за недоверие, не поймешь.

— Не пойму, — покорно согласился Стендаль.

— А если нам нужно все топливо сразу истратить, костер зажечь? Ведь мышцы на это способны. Их волокна такой крепости и эластичности, что ты, Стендаль, прости, не представляешь. Может, помнишь, в школе опыты делали: лягушачью лапку электротоком раздражи, она целую гирю поднимет. Так вот, представь себе, что мы ограничитель сняли, подбросили в мышцу креатинфосфат. И пускай все топливо в мышцах сгорит за десять минут, зато результат достойный.

— А потом что? — спросил Стендаль. — Ведь природа жестоко наказывает тех, кто пренебрегает ее законами.

— Смотри, как правильно рассуждает! — обрадовался Терентий.

— А ты не злоупотребляй, — сказал Артур Иванович. — Сделал свое дело, сразу в постельку, прими компенсацию и следуй режиму. Что же это за изобретение, если во вред человеку? И пока мы не изобретем способа быстро в человеке потерянную энергию восстанавливать, мы наше средство в народ не пустим, не опасайся.

— А когда опыты закончите? — спросил Стендаль деловито.

Ему уже виделась статья, которая прославит его в журналистском мире.

— Не спеши. Может, еще год работать будем. А то получится опасное для окружающих баловство.

— Как жаль, что я не взял фотоаппарат!

— Еще успеешь.

Стендаль не слушал. Он уже представлял себе, какие возможности откроются перед людьми. Ведь если в мозгу у человека тоже есть мышцы, можно будет за минуту придумать то, над чем бьешься месяцами и впустую. Правда, эту мысль он высказывать вслух не стал, потому что не был уверен, есть ли в мозгу мускулы.

— И когда, вы думаете, можно будет об этих опытах написать?

— В конце лета приедешь, поговорим. А что, про мех и страусов для газеты не подойдет?

Стендалю даже стыдно стало, словно он опорочил другие, тоже важные открытия.

— Я и не думал так. Я обязательно напишу о ваших замечательных достижениях.

Но проблема мышечного ограничителя настолько захватила воображение журналиста, что он с трудом мог думать о чем-либо ином.

Автобус приехал в Гусляр в двенадцатом часу ночи. Он остановился на площади, и немногочисленные пассажиры вышли на скрипучий снег. Стендаль поежился от крепкого морозца, поднял воротник и поспешил домой.

Славный выдался день. День больших открытий и встреч с интересными людьми. Пройдет месяц, может, два. Зайки пришлют, как договорились, условленную телеграмму, и Стендаль сразу опубликует в газете статью об антиограничителе. Первым из всех журналистов мира. Таковы преимущества дружбы с великими изобретателями. А пока надо написать очерк о домашнем хозяйстве лесников. И там будет светлый образ отважной и работающей Клавы, такой простой и такой привлекательной женщины...

ЖИЛЬЦЫ

Грубин изобретал объемный телевизор.

В свое время он создал обыкновенный, потом собрал цветной, когда их еще не продавали в магазинах. Тот, цветной, показывал во всем великолепии красок любую черно-белую программу.

А теперь ему хотелось создать объемный. В любом случае это дело недалекого будущего, лет через десять—пятнадцать такой можно будет приобрести в кредит в любом специализированном магазине. Так чего же ждать?

Полгода Грубин трудился. Все свободные деньги он тратил на транзисторы, провода и кристаллы, соседи трижды жаловались в милицию — дышать невозможно из-за постоянных утечек инертных газов, спать трудно из-за ночных взрывов, к тому же часто перегорают пробки. Грубин оправдывался, спорил, сопротивлялся, но не уступал.

Профессор Минц, сам значительный ученый, зашел как-то к Грубину и сказал:

— Саша, я специально проглядел всю доступную литературу. На нынешнем уровне науки эта проблема практически неразрешима.

Минц стоял посреди комнаты, по пояс скрытый отвергнутыми моделями, схемами, поломанными деталями, инструментами, изоляционными материалами. Грубин отмахивался паяльником и возражал:

— Кто-то должен изобрести первым. Вы уперлись в невозможность и верите в нее. Я не верю и изобрету.

— Дело ваше, — вздохнул профессор Минц. — Я все-таки оставляю вам последние журналы по этому вопросу. Посмотрите на досуге. Куда положить?

— Куда хотите. Вряд ли я буду их читать. Вы думаете, что Галилей читал в журналах статьи о том, что Земля не вертится?

— Тогда не было журналов. Но я полагаю, что он был широким и любознательным ученым.

— Нет, не читал, — не слушая профессора, продолжал Грубин. — Он с детства знал, что Земля не вертится. Ему хотелось доказать обратное.

Мицц все-таки оставил журналы. Он полагал, что Грубин кокетничает. Пахло паленой изоляцией.

Вечером того же дня Грубин демонстрировал частичные успехи соседу и другу Корнелию Удалову. Изображение на экране двоилось и было нечетким. Но порой казалось, что часть экрана заметно вспучивается, выгибаясь в комнату. Тогда Удалов говорил:

— Гляди, объем!

— Вижу, — отвечал Грубин. — Значит, в принципе достижимо. Главное — не читать тех самых статей.

Беда была в том, что объемной могла становиться, к примеру, рука диктора, или галстук, или, наконец, один из этажей дома. За счет выпуклости в экране образовывалась впадина. Электронные трубки не выдерживали и лопались.

— Одолжи сотню, — попросил Грубин. — Я на мели.

— Ты же знаешь, — огорчился Удалов, — Ксения уже прячет от меня деньги.

Но опыты продолжались. В начале ноября Грубин позвал Удалова поглядеть на очередное достижение. Диктор, читавший последние известия, наполовину вылез из экрана. Тут он прервал речь и оглянулся по сторонам, словно понял, что попал в другую комнату. Удалов приблизился к экрану и заглянул сбоку. Нос диктора был вне телевизора.

— Саша, — сказал Удалов, — какая же это объемность? Он в самом деле наружу вылез.

— А ты чего хотел?

— Должно только казаться.

— Вот тебе и кажется.

— Да ты встань на мое место, погляди!

— Чего глядеть? Уж нагляделся. Настоящая объемность должна быть со всех сторон.

Тут раздался взрыв, и трубка разлетелась на куски. Никто не пострадал. Удалов ушел ужинать.

Окончательная победа пришла к Грубину вечером в пятницу, когда не перед кем было похвастаться. Все ушли в кино.

Грубин включил первую программу. Показывали балет. Видно было, как далеко вглубь уходит сцена, как оттуда набегают на Грубина балерины. Одна с разбегу выскочила за рамку, но, видно, сообразила, что падает со сцены, ухватила за край и перемахнула обратно.

Эпизод с балериной так взволновал Грубина, что он выключил телевизор и задумался. Ведь он мечтал о полной объемности изображения и добился своего. Но возник побочный эффект: для тех, кто был внутри телевизора, комната Грубина тоже казалась реальным миром. Балерина побывала вне экрана, но смогла вернуться.

Надо бы пойти к Минцу посоветоваться, какова физическая основа этого явления. Но Минц все поставит под сомнение, привлечет авторитеты и в результате докажет, что этого быть не может.

Значит, надо убедиться самому.

Грубин положил перед экраном подушку, чтобы чего не случилось, и снова включил телевизор.

Балет кончился. Показывали цирк. Элегантная дрессировщица в блестящем наряде ходила в глубине экрана и погоняла палочкой крупных животных — тигра, льва и медведя. Животные прыгали с тумбы на тумбу, рычали и становились на задние лапы. Дрессировщица никак не подходила к краю экрана, звери тоже оставались вдали. Грубин опечалился — дрессировщица ему понравилась. На мгновение ему пригрезилась судьба Пигмалиона, который изваял скульптуру и полюбил ее. Если бы дрессировщица вышла из телевизора, она бы осталась на некоторое время здесь, и Грубин узнал бы, как ее зовут. За грезами он упустил момент, когда дрессировщицу начали снимать другой камерой и она оказалась к Грубину спиной.

Лев надвигался на женщину, а она, отступая, как бы манила зверя за собой. Грубин потянулся к телевизору, чтобы выключить его. Он был согласен на дрессировщицу, но не терпел дома львов. Но выключить телевизор он не успел: в тот момент, когда его рука прикоснулась к кнопке, дрессировщица оступилась, споткнулась о край экрана, и лев, почуяв ее мгновенную слабость, прыгнул, скотина,

на свою повелительницу. Дрессировщица сделала еще один быстрый шаг назад, конечно, не удержалась, с высоты рухнула на подушку у экрана, а за ней стрелой вылетел лев. И тут же трубка лопнула, посыпались осколки стекла, в телевизоре что-то зашипело, шипение передалось на громоздкую приставку, занимавшую чуть не половину комнаты, послышался треск, и стало темно — перегорели пробки.

Грубин ощупью выбрался из комнаты и, взяв в привычном месте свечу и спички, полез чинить пробки. Хорошо, что никого нет дома. Еще вчера Ксения Удалова предупредила: «Пережжешь еще раз, Саша, добьюсь, что тебя выселят из дома, жизни не пожалею на это доброе дело».

Взбираясь на стремянку, Грубин краем уха прислушивался к тому, что происходит в его комнате. Разумеется, он понимал, что вся история с объемным изображением — кажущееся явление, но все равно встречаться со львом не хотелось.

Свет загорелся. Грубин не спеша слез со стремянки, потушил свечу и с минуту постоял перед своей дверью.

— Ну, — сказал он сам себе, — пошел, изобретатель.

Он приоткрыл дверь на сантиметр. Внутри было тихо и пусто. Как и следовало ожидать. Ни девушки, ни льва. Грубин подошел к телевизору и опечалился, потому что для продолжения опытов придется покупать новую трубку, а денег нет и занять не у кого.

Подушка перед экраном была завалена осколками трубки. Чем-то эти осколки напомнили Грубину новогоднюю елку. Он подумал, что на подушке придется спать, потому взялся за угол ее, чтобы стряхнуть осколки на пол, но тут его взгляд упал на нечто цветное. Грубин приподнял крупный осколок и увидел, что на подушке лежит дрессировщица — без чувств, ростом с цыпленка. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Ведь на экране все фигурки очень маленькие, и естественные человеческие размеры — плод воображения зрителей, а если телевизионное изображение выпадает из экрана, то оно должно быть меньше экрана.

Осознав это, Грубин оглянулся в поисках льва. Хоть лев был размером с крысу, по характеру он остается львом. Льва не было видно.

Дрессировщица лежала на подушке, очень похожая на настоящую. Грубину захотелось снова включить телевизор

и поглядеть, осталась ли дрессировщица на арене, или тигр с медведем бегают без присмотра?

Грубин осторожно потрогал дрессировщицу пальцем, чтобы понять, пройдет ли палец насквозь или нет. Палец не прошел. На ощупь дрессировщица была теплой и упругой. От прикосновения она открыла глаза. Глаза были темные.

— Ну, не ожидал, — сказал ей Грубин с некоторой укоризной.

И в самом деле он ожидал иного. Если уж объемность оказалась такой реальной, лучше бы дрессировщица была ростом побольше.

Дрессировщица показалась Грубину совсем молоденькой. Даже странно, что в таком возрасте ее доверили хищникам.

— Ну, что мне с тобой делать? — спросил Грубин.

Девушка открыла рот, но никаких звуков не получилось.

Девушка заплакала, но беззвучно, словно звук выключили. В дверь постучали.

— Кто? — спросил Грубин.

Вместо ответа раздался крик.

Грубин обернулся. Удалов с побелевшими от ужаса глазами стоял в дверях, приподняв ногу, в которую вцепилось небольшое желтое животное.

— Не бойся, — сказал Грубин, — это лев.

Дрессировщица рыдала, а Грубин думал, как бы ей объяснить, что все обойдется. Вдруг она иностранка, гастролирует у нас? А вдруг начнется международный скандал?

— Какой еще лев? — возмущался Удалов, размахивая ногой, чтобы стряхнуть хищника. Хищник отлетел по дуге в сторону и исчез в груди бракованных транзисторов. — Ты чего крыс развел? Ты представляешь, если Ксения узнает?

— А ты ей не говори.

— Нельзя. Она все равно узнает. Я конспиратор никакой. Чего там у тебя?

Удалов подошел к Грубину и заглянул ему через плечо.

— Мама родная! — сказал он. — Куклами занялся!

В этот момент дрессировщица приподнялась на локте и попыталась сесть. Если встречу со львом Удалов еще пережил, то при виде ожившей дрессировщицы силы оставили его. Он опустил голову и тихо пошел вон из комнаты. Гру-

бину бы его остановить, объяснить научность феномена, но мысли его были столь встревожены, что ухода друга он не заметил.

— Что же произошло? — спросил Грубин у дрессировщицы. — Пожалуй, тут нет ничего удивительного. Ведь все живое состоит из электронов. И ты из электронов. Так что мы с тобой в чем-то одинаковые. Только ты кажешься, а я настоящий.

Дрессировщица обратила к Грубину умоляющий взор и протянула тоненькие ручки.

— Просишь, чтобы вернул в телевизор? — спросил Грубин.

Дрессировщица закивала.

— Прости, но в настоящий момент у меня нет средств, чтобы приобрести новый кинескоп. Кроме того, боюсь, что есть повреждения в приставке. Придется потерпеть. Ты есть хочешь? А пить будешь? Значит, эти функции у тебя отсутствуют? Придется тебе пока отдыхать.

Грубин отыскал старую коробку из-под ботинок, положил в нее тряпочку и на всякий случай поставил блюдце с водой.

— Ложись, — сказал он. — Утро вечера мудренее.

Он перенес дрессировщицу в коробку и добавил:

— Если ты стесняешься, то я свет погашу.

Дрессировщица, конечно, ничего не ответила. Грубин подошел к шкафу, распахнул его и стал думать, что бы завтра продать — новый костюм или плащ? Решил, что все-таки продаст костюм, завернул его в бумагу. Потом заглянул в коробку. Дрессировщица не спала.

— Ну что ты будешь делать! — сказал Грубин. — Женщина есть женщина. Я на твоём месте давно бы спал.

Ночью Грубин проснулся от ужаса. Что-то шуршало неподалеку. Он вспомнил, что по комнате бродит взбешенный лев. Для Грубина он не опасен, а для девушки — страшный хищник.

Грубин вскочил и босиком пробежал к выключателю. Если девушку растерзали, то она, немая, не могла даже позвать на помощь.

Зрелище, представшее его глазам, успокоило и даже развеселило. Дрессировщица, не раздеваясь, спала на тряпочке, положив головку на живот льву. Видно, в темноте лев

отыскал свою хозяйку. И правильно, лев-то ручной, только на чужих кидается.

Утром, пока гости из телевизора еще спали, Грубин сбегал, продал одному человеку костюм за полцены, дождался открытия универмага, купил кинескоп, кое-что перекусить и вернулся домой.

Дом жил субботней утренней жизнью. Профессор Минц сидел у окна, читал журнал, Ксения Удалова выбивала во дворе ковер, юный Гаврилов гулял по двору с транзисторным приемником наперевес, в коридоре Грубину встретилась какая-то кошка. Он сначала принял ее за льва, а потом встревожился: как бы кошка не пронюхала, что у него за жильцы.

С жильцами ничего плохого не произошло. Они проснулись, сидели в коробке, дрессировщица заплетала львиную гриву в косички, а при виде Грубина вскочила и стала делать руками выразительные движения, которые Грубин истолковал так: «Ну сколько это может продолжаться? Вы оторвали меня от близких и любимой работы, утащили в разгар представления. Будьте любезны вернуть меня в коллектив!»

— Сейчас, — ответил Грубин. — Примем меры. Не беспокойся. А ты ведь даже не представляешь, какое значение для мировой науки имеет твое существование...

Этого дрессировщица, как человек искусства, конечно, не поняла.

К вечеру Грубину удалось наладить телевизор. Дрессировщица ничего не пила, не ела. Лев тоже не требовал пищи.

Пора включать. Зажужжали лампы, включились печатные схемы, задрожали стрелки могучей телеприставки, и на экране возникла надпись: «Публицистическая студия «Дискуссионный клуб».

Тут же показали строительный пейзаж, уставленный башенными кранами, а на переднем плане стоял молодой человек с микрофоном в руке, который рассказывал зрителям о непорядках на этом строительстве. У ног молодого человека крутила поземка, подмораживало. Грубин хотел было, не тратя времени даром, отнести жильцов к экрану, но замешкался, потому что дрессировщица и лев были без теплой одежды. Пока он думал, как поступить, раздался

грохот. Грубин увидел выражение ужаса на лице дрессировщицы. Он обернулся к экрану. Поздно...

Кинескоп снова лопнул, телевизор вышел из строя, и виной тому был молодой человек, выпавший из телевизора. Все еще сжимая в пальцах микрофон, он сидел на столе и стряхивал с себя мелкие осколки стекла.

— Этого еще не хватало! — в отчаянии воскликнул Грубин.

Когда Грубин пересаживал молодого человека в коробку из-под ботинок, тот отчаянно сопротивлялся и даже умудрился цапнуть Грубина за палец. Видно, находился в шоке, не соображал, что происходит. А звуков, как и девушка, не издавал.

При виде новенького лев замотал гривой, выражая недовольство. Зареванной девушке пришлось удерживать льва обеими руками, а молодой человек, не обращая на остальных жильцов внимания, принялся вылезать из коробки. Пришлось его отсадить в пустой ящик из-под гвоздей. Молодой человек принялся метаться по ящику и колотить в стенку кулачками.

Грубин совсем опечалился. Он попал в финансовую, научную и моральную пропасть. Придется обратиться за советом и помощью к профессору Минцу.

Стоило прийти к такому решению, как дверь в комнату распахнулась и на пороге возник сам профессор Минц, словно отчаянные мысли Грубина проникли сквозь стену.

— Здравствуйте, голубчик, — сказал профессор, протискиваясь к центру комнаты. — Говорят, здесь у вас чудеса.

— С Удаловым разговаривали?

— Что же делать, если вы таитесь. Говорят, что разводите желтых крыс и живых кукол. Так что же произошло?

— Сами поглядите. — Грубин, поддерживая профессора под локоть, подвел его к коробке из-под ботинок.

При виде огромной лысой головы профессора дрессировщица метнулась ко льву, словно ища защиты. Минц замер над коробкой, легонько почесывая кончик носа.

— Откуда? — спросил он наконец.

— Из телевизора, — признался Грубин. — Переборщил я с объемом. Вот и стали вываливаться.

— А, фантомы, — успокоился профессор. — А я уж испугался, что вы начали опыты по минимализации живых людей.

— Как вам сказать... — возразил Грубин. — Что-то есть в них от живых людей. Даже переживают.

— Любопытно. Но давайте отвлечемся от эмоций.

Профессор протянул руку, чтобы взять дрессировщицу и рассмотреть ее поближе. Лев приподнялся на задние лапы и попытался прикрыть собой девушку.

— Очень любопытно, — повторил профессор, отбросив льва в угол коробки и умело подхватив дрессировщицу двумя пальцами. — Полное впечатление реальности...

— Вы ей не повредите? — спросил Грубин.

— Зачем же вредить? Я вижу, вы загипнотизированы функциональностью этих изображений и опускаетесь на уровень темного Удалова.

— Они же проявляют чувства.

— А чем питаются?

— Ничем.

— Вот видите! Вы, голубчик, оказались в положении зрителя перед телевизором, который верит приключениям, имеющим место на экране. А это всего-навсего сценарий и операторское мастерство.

— А вдруг это она и есть?

— Не понял.

— Та, что выступала. А вдруг она сюда переместилась?

— Простите, Саша, но с такими мистическими настроениями вам лучше науку бросить. Наука не терпит сантиментов. Идите в поэты, воспевайте фей и русалок, начните верить в привидения и астрологию.

В голосе профессора звучал металл. Для него наука была богом, семьей, возлюбленной, родной матерью — всем. Колесания он рассматривал как предательство.

— Этот голографический фантом я забираю с собой, — сказал Минц. — У вас еще есть?

— Есть еще один, — ответил Грубин. — В том ящике сидит.

— Добудьте еще несколько образцов. Мы должны оперировать не случайными находками, а широким ассортиментом экземпляров.

Дрессировщицу он все еще держал двумя пальцами.

— Вот вам деньги. На три кинескопа. Потом рассчитаетесь. Наука требует жертв. Кстати, загляните потом ко мне, возьмите аргентинский сборник. Там статья Рудольфа Пе-

рейры о возможной фантомизации при стереоэффектах. Оттуда сможете многое почерпнуть в теоретическом плане. И еще одно: как только пустите установку, вызовите меня.

От двери Минц обернулся и добавил:

— Я рад за вас, коллега. Вы сделали большое дело. Учиться надо.

Дрессировщица простирала к Грубину ручки. Дверь за профессором захлопнулась. Грубин заглянул в коробку. Лев в отчаянии лежал на дне, положив голову на лапы.

— Нет! — крикнул Грубин, бросаясь за профессором. Он налетел на стол, ушиб колено, опрокинул на пол стопку печатных схем. — Стойте!

Спина профессора была уже в конце коридора.

— Что такое?

— Пускай она пока у меня побудет.

— Вы о ком?

— Пускай девушка у меня побудет. Лев очень переживает.

— Какой еще лев?

— Отдайте, пожалуйста.

— Саша, я поражен, — сказал Минц. — Из вас никогда не получится настоящего экспериментатора. Вы даете чувствам обмануть себя.

Грубин подошел к профессору и протянул ладонь.

— Ах вот что, — насупился профессор. — Ясно. Держите свое сокровище.

Профессор передал девушку Грубину и развел руками.

— Простите, — сказал он сурово. — Я не сразу понял. Но должен вас заверить, что у меня и в мыслях не было примазываться к чужой работе и славе. Так что ваши опасения беспочвенны.

Высказавшись, профессор сердито потопал по коридору, к лестнице.

— Лев Христофорович! — крикнул вслед Грубин. — Вы не так поняли!

— Еще как понял! Не впервые сталкиваюсь с такими настроениями в научных кругах. Деньги можете пока не возвращать. Я не мстителен.

Ступеньки взвизгнули под тяжелыми шагами профессора.

— Эх, — махнул свободной рукой Грубин. — Как вам объяснишь!

Словно муха пробежала по ладони: дрессировщица, сидя там, неловко повернулась и задела его каблучком. «Ну что ж, — подумал Грубин, — настоящего ученого из меня не выйдет. А жаль».

Грубин возвратил дрессировщицу в коробку и сказал:

— Пойду за новым кинескопом. Учти, если не получится, придется тебе остаться тут навсегда. Средства у нас кончились.

Лев прыгал по коробке, как котенок, радовался встрече.

Грубин вернулся через час, склоняясь под тяжестью трех кинескопов. Первым делом он проверил, как себя чувствуют жильцы. В коробке было мирно, а вот журналист исчез. Исхитрился вылезти из ящика. Вот незадача. Сейчас бы работать, каждая секунда на счету, а надо искать беглеца. А то станет жертвой какой-нибудь кошки.

— Что делать? — спросил Грубин дрессировщицу. Как старый знакомый, он рассчитывал на сочувствие.

Дрессировщица вскочила, не понимая, что еще стряслось.

— Пропал твой напарник, — объяснил Грубин. — Сбежал. Где искать — ума не приложу.

Дрессировщица задумалась, а потом показала на льва.

— Предлагаешь использовать? Умница! А то мне без помощников час пришлось бы потратить — видишь, какой здесь беспорядок? Как бы только лев его не покалечил.

Грубин выпустил жильцов из коробки, а сам принялся за работу.

Для дрессировщицы со львом комната казалась минимум городской свалкой в несколько гектаров. Они медленно пробирались сквозь завалы, и порой Грубин терял их из виду. Минут через десять Грубин настолько увлекся любимым делом, что забыл о жильцах. Прошло еще полчаса, прежде чем он спохватился: где же они? Он вскочил, принялся крутиться, осторожно переступая, чтобы не наступить на них невзначай.

Увидел он жильцов в необычном месте. Они сидели в ряд на грубинском галстуке, забытом под столом. Втроем. Дрессировщица увидела в вышине встревоженное лицо Грубина и помахала ему, утешая: продолжай, мол, трудиться, мы уж как-нибудь без тебя разберемся.

Грубин вернулся к установке. Но бывает же так: нужно спешить, а работа не клеится. До позднего вечера бился Грубин. Даже не поел.

Для жильцов время тянулось еще медленнее. Они забрались в коробку — все-таки свой угол, — о чем-то переговаривались знаками. Порой молодой человек принимался взволнованно ходить из угла в угол, а лев поворачивал голову ему вслед.

Наступила ночь. Грубин не ложился. Ему казалось, что жильцы побледнели. Их электронная структура в любой момент могла отказать — и погибнут люди. Ничего не оставалось, как работать и надеяться.

В половине пятого Грубин не выдержал, свалился на кровать, а когда очнулся, уже наступило воскресенье. Три часа коту под хвост! Он метнулся к коробке, как мать к колыбельке больного младенца. Жильцы спали — лев посерединке, люди по бокам, прижавшись к зверю.

При виде этой картинке Грубин смахнул набежавшую слезу. Притащил махровое полотенце, накрыл спящих и обернулся к машине.

— Нет, — прошептал он, — ты покоришься!

Он стиснул зубы и схватил отвертку, словно винтовку. И через час сопротивление телевизора было сломлено. Начали разгораться лампы, дрогнули стрелки приборов, и знакомый гул наполнил помещение.

Главное теперь — не упустить момент. Грубин был как сапер, который ошибается лишь раз. Если кто-то еще вывалится из экрана или перегорит трубка — лучше пулю в лоб.

По экрану пошли цветные полосы. Грубин бросился к коробке, подхватил ее — и обратно к телевизору. От сотрясения жильцы проснулись и хлопали глазами от ужаса и непонимания.

— Держитесь, ребята! — воскликнул Грубин. — Сейчас или никогда!

На просветлевшем экране обозначилась группа поющих детей. Спиной к экрану стоял дирижер. Он находился в опасной близости от рамы, и поэтому, выхватывая из коробки пленников и бросая их без церемоний внутрь, Грубин не спускал с дирижера глаз.

Жильцы так и не поняли, что же произошло. Один за другим они оказались внутри телевизора — дрессировщица, молодой человек и лев. Дети, увидев льва, бросились врассыпную, дирижер отпрыгнул, и хорошо еще, что Грубин его подстраховал — подхватил на лету и кинул обрат-

но... Продолжения этой драматической сцены Грубин не увидел. Раздался страшный треск. На всей улице вылетели пробки, в комнате зазвенели стекла и распространились горелые запахи...

Грубин с облегчением вздохнул и опустился на пол у телевизора. И тотчас заснул. И не слышал, как шумели соседи, стучались к нему, грозили милицией...

Однако на этом история не закончилась.

Грубин прервал опыты. Следовало освоить теорию. Грубин помирился с Минцем, читал журналы. Профессор переводил ему непонятные места с иностранных языков. Чтобы расплатиться с долгами, Грубин много работал, сэкономил на питании и все ждал того часа, когда создаст базу для новых достижений.

К весне Грубин исхудал, волосы стояли дыбом, глаза провалились так глубоко, что их не было видно. Удалов, который собрался в отпуск, пожалел друга и достал ему соцстраховскую путевку.

Так они попали в Сочи.

Как-то друзья гуляли по городу, и вдруг Грубин замер, словно пораженный молнией.

— Гляди, Корнелий! — вскричал он.

— Что? Где?

— На афишу гляди! Узнаешь?

На афише была изображена дрессировщица. Она стояла, опираясь рукой о гриву льва. Кроме одежды, она во всем совпадала с жиличкой.

— Кто такая? — спросил Удалов.

— Да я же ее из телевизора вытащил! А ты еще удивлялся.

— Не может быть!

Грубин уже влек Удалова в сторону цирка. Удалов не сопротивлялся. Только бормотал:

— Почему не может быть, очень даже может быть. Скажи, Саша, она в коробке жила?.. Саша, а вдруг она на тебя в обиде?

Чем ближе они подходили к цирку, тем меньше было в Грубине уверенности. О чем они спросят дрессировщицу? Подозревает ли она, что ее уменьшенная копия прожила три дня в коробке из-под ботинок?

Грубин замедлил шаги. Впереди показался цирк.

— Корнелий, — сказал он, — может, домой пойдём?

— Нет уж. Истина прежде всего. Погляди, это не она? Грубин поглядел вперед. У служебного входа стояла девушка.

— Она.

— Тогда иди.

— Ни в коем случае.

— А то я сам пойду.

— Может, не надо?

Удалов быстро пересек площадь. Грубин остался на месте. Удалов подлетел к девушке, но она его не заметила. Она смотрела в другую сторону. Грубин проследил за ее взглядом. К девушке спешил высокий молодой человек в кожаной куртке. Он поднял руку, приветствуя дрессировщицу. Тот самый молодой человек!

Мысли Грубина носились по кругу, как мотоциклисты по гаревой дорожке. Надо было отозвать Удалова. Но как отзовешь, если он уже вцепился девушке в рукав, и Грубин, хотя стоял в ста шагах, отчетливо, видно на нервной почве, слышал каждое слово.

— Простите, девушка, но ваше лицо мне знакомо. — Это голос Удалова.

— Я вас не знаю. — Это голос девушки.

— Что ему от тебя нужно? — Это голос молодого человека.

— Может, вы меня в цирке видели? — Это голос девушки.

— Нет, я вас в другом месте видел. Вы в доме шестнадцать на Пушкинской улице бывали? — Это голос Удалова.

— Мы спешим. — Это голос молодого человека.

«Откуда же ей знать о доме шестнадцать?» Это мысли Грубина.

— И вы не знаете моего друга Александра Грубина? — Это голос Удалова.

— Простите, не встречала. — Это голос девушки.

«Откуда ей знать, как меня зовут?» Это мысли Грубина.

— Тогда простите за беспокойство. — Это голос Удалова. — А на афише лев? Это ваше животное?

— Это Акбар.

— Как же, помню, он меня за брюки хватал.

Молодые люди посмотрели на Удалова как-то странно и пошли прочь.

И вдруг, словно ощутив настойчивый взгляд Грубина, девушка посмотрела через площадь. Встретилась с ним взором. Грубин даже сжался.

— Сережа, — сказала девушка, — откуда мне так знакомо лицо того человека? Очень знакомо. У меня с ним связаны неприятные воспоминания.

Молодой человек взглянул на Грубина. Пожал плечами.

Они пошли дальше. Но через несколько шагов остановился уже молодой человек.

— Ты права, — согласился он. — Где-то я его встречал. Удалов вернулся к Грубину.

— Пустой номер, — сказал он. — Забудь об этом.

О ЛЮБВИ К БЕССЛОВЕСНЫМ ТВАРЯМ

В то июньское утро Корнелий Иванович проснулся рано. Настроение было хорошее, в теле бодрость. Он потянулся и подошел к окну, чтобы посмотреть, какая погода.

Погода была солнечная, безоблачная, располагающая к действиям. И, окинув взглядом небо, Удалов поглядел вниз, во двор.

Посреди двора стоял небольшой бегемот. Он мерно распахивал розовую пасть, обхрупывая цветущий куст сирени.

— Эй, — бросил Удалов негромко, чтобы не разбудить домашних, — так не годится.

Сирень выдалась пышная, а бегемоту куст — на один зуб.

Бегемот Удалова не слышал, и поэтому Корнелий Иванович в одной пижаме выскочил из комнаты, побежал вниз по лестнице и только перед дверью спохватился: «Что же это я делаю? Бегу на улицу в одной пижаме, словно у нас во дворе бегемот. Если кому расскажешь, смеяться будут. Ведь у нас во дворе отродясь не было бегемотов».

Удалов стоял перед дверью и не решался на следующий шаг. Следовало либо приоткрыть дверь и убедиться, что глаза тебя не обманули, либо отправиться обратно чистить зубы и умываться.

Вот в этой нерешительной позе Удалова застал Александр Грубин, сосед с первого этажа, который услышал топот и заинтересовался, кому топот принадлежит.

- Ты что? — спросил он.
- Стою, — сказал Удалов.
- Так ты же бежал.
- Куда?

— На улицу бежал. Там что-нибудь есть?

Удалов чуть было не ответил, что там бегемот, но сдержался.

— Ничего там нет. Не веришь, посмотри.

— И посмотрю. — Грубин отвел рукой Удалова от двери.

Он приоткрыл дверь, а Удалов отступил на шаг. Пышная, лохматая шевелюра Грубина, подсвеченная утренним солнцем, покачивалась в дверном проеме. Сейчас, сказал себе Удалов, он обернется и произнесет: «И в самом деле ничего».

— Бегемот, — сказал, обернувшись, Грубин. — Так он у нас всю сирень объест. И, как назло, ни палки, ничего.

— Ты его рукой отгони, он смирный. — У Корнелия от сердца отлегло: лучше бегемот, чем сойти с ума.

Грубин вышел на солнце, Удалов следом. Грубин широкими шагами пошел через двор к бегемоту, Удалов остался у стены.

— Эй! — крикнул Грубин. — Тебе что, травы не хватает?

Бегемот медленно повернул морду — из пасти торчала лиловая гроздь.

Грубин остановился в трех шагах от бегемота.

— Ну иди, иди, — приказал он.

Растворилось окно на втором этаже.

— Это чье животное? — спросил старик Ложкин.

— Сам пришел, — объяснил Удалов. — Вот и прогоняем.

— Разве так бегемотов прогоняют?

— А как?

— Сейчас я в Бреме погляжу, — сказал старик Ложкин и исчез.

— Мама! — закричал сын Удалова Максимка, также высунувшийся из окна. — Мама, погляди, у нас бегемот.

— Иди мойся, — слышался изнутри дома голос Ксении Удаловой. — Куда это Корнелий ни свет ни заря навострился?

Голос Ксении приблизился к окну. Удалов вжался в стену: в пижаме он чувствовал себя неловко.

— Ой! — вскрикнула Ксения пронзительным голосом.

Бегемот испугался, отворил пасть и уронил сирень на землю.

— Он папу съел? — спросил Максимка.

— Корнелий! — закричала Ксения, высовываясь по пояс из окна и заглядывая в бегемотову пасть, словно надеялась увидеть там ноги Удалова.

— Ксюша, — сказал Удалов, отделяясь от стены, — бегемоты, как известно, травоядные.

— Балбес! — откликнулась Ксения. — Я тебя в бегемоте гляжу, а ты, оказывается, на улице в голом виде выступаешь? Где на нем написано, что он травоядный? Может, он тебя за траву считает? Вон будку какую нагулял. Грубин, гони его со двора! Детям скоро в школу.

— Погодите, — вмешался старик Ложкин, появляясь в окне с коричневым томом Брема в руках. — Бегемоты совершенно безопасны, если их не дразнить. Кроме того, перед нами молодая особь, подросток. Грубин, смерть его в длину.

— Чем я его смерю?

— Руками.

— Я его трогать не стану. Дикое же животное.

— Откуда у нас во дворе дикое животное? — спросил Ложкин. — Ты соображаешь, Грубин, что говоришь? Он что, своим ходом из Африки пришел?

— Не знаю.

— То-то. Цирковой он. Я по телевизору смотрел, как в цирке бегемоты выступают.

— Правильно, — добавила старуха Ложкина. — Выполняют функции слона, только размером экономнее. А ты бы, Грубин, пошел штаны надел. В одних трусах на общественной площадке бегаешь. К тебе, Корнелий Иванович, это тоже относится.

— Ну! — поддержала старуху Ложкину Ксения. — Докатился!

— Так бегемот же во дворе, — оправдался Удалов, послушно отправляясь к дому.

Когда минут через десять Удалов вернулся во двор, возле бегемота стояли Ложкин и Василь Васильич, а также гражданка Гаврилова. Думали, что делать. В руке у Ложкина был Брем. В руке у Василь Васильича — длинная палка, которой он постукивал бегемота по морде, чтобы сохранить сирень.

— Стоит? — спросил Удалов.

— Куда же ему деться?

— Так говоришь, в цирке выступает? — спросил Василь Васильич Ложкина. — Значит, ему приказать можно?

— Попробуй.

— Сидеть! — приказал бегемоту Василь Васильич.

Бегемот потянулся к сирени, и снова пришлось легонько стукнуть его палкой по ноздрям.

— Где же его цирк выступает? — спросил Удалов.

— Где угодно, только не в нашем Гусяре, — ответил вернувшийся Грубин. — Я точно знаю. Цирк уж месяц как закрыт.

— Мужчины, скоро его со двора прогоните? — крикнула сверху Ксения Удалова. — Что мне, за милицией бежать прикажете?

— Из зоопарка, — сказала Гаврилова. — Я точно знаю.

— Ближайший зоопарк в трехстах километрах. И все больше лесом, — возразил Грубин. — Вернее всего, это животное синтетическое, теперь химия достигла громадных успехов. Может быть, где-то здесь уже целая фабрика работает. Смешивают белки и аминокислоты.

Бегемот с тоской и укором взглянул на Грубина. Тот замолчал.

Удалов взял у Василь Васильича палку и стал подталкивать бегемота в бок. Делал он это не очень энергично и с опаской. Раньше ему не приходилось гнать со двора бегемотов.

— Мое терпение лопнуло! — пригрозила из окна Ксения.

Бегемот глядел на Удалова. Из маленьких глаз текли крупные слезы.

— погоди, Корнелий, — остановил его Василь Васильич, — ты же его палкой, как корову. Нехорошо получается.

— Вдали от дома, от семьи, — проговорила старуха Ложкина. — Одинокий подросток, а что он будет в лесу делать?

— Пропустите, — слышался детский голос.

Сквозь тесную группу жильцов прошел сын Удалова Максимка. Он прижимал к груди батон. Поравнявшись с отцом, Максимка остановился и поглядел Корнелию в глаза. Удалов безмолвно кивнул.

Обеими руками Максимка протянул бегемоту батон, и животное, после некоторого колебания, словно не сразу

поверив в человеческую доброту, приоткрыло пасть и приняло дар.

Затем Максимка достал из кармана школьной курточки чистый носовой платок и утер бегемоту слезы. Удалов громко кашлянул:

— Всегда бы так.

К вечеру освободили от рухляди сарай в углу двора. Когда-то там стоял мотоцикл Погосяна, да потом Погосян уехал из Гусяра, и в сарай складывали что не нужно, но жалко выкинуть.

В старое корыто налили воды, а в детскую ванночку собирали пищу — у кого остался недоеденный суп или овощи. Дверь в сарай закрывать не стали, чтобы бегемот не скучал.

...К вечеру полгорода знало, что в доме шестнадцать по Пушкинской живет приبلудный бегемот, неизвестно чей, не кусается, питается пищевыми отходами. Люди с других улиц приходили посмотреть. Экскурсиями ведал Ложкин: как пенсионер, он был свободнее других.

На следующее утро в городской газете появилось такое объявление:

«Найден молодой бегемот.

Масть серая, на клички не отзывается.

Владельца просят обращаться по адресу:

г. Великий Гусяр, Пушкинская ул., 16,
вход со двора».

Никто на объявление не откликнулся. Дали телеграмму в областной зоопарк, запрашивали, не потеряли ли там бегемота. Если потеряли, то можно взять обратно в целости.

А тем временем проходили дни. Бегемот много ел, спал, гулял, узнавал Максимку, ходил с ним гулять к колонке, где Максимка обливал его водой и тер щеткой. Как-то через неделю Грубин с Василь Васильичем взяли с собой бегемота на пляж. Была сенсация. Бегемоту на пляже нравилось, он опускался в реку Гусь по самые ноздри, ребяташки забирались на его широкую спину и ныряли. Спасатель Савелий, играя мышцами, предложил Грубину:

— Может, уступишь его нам заместо дельфина, вытаскивать утопающих?

— Нет, — ответил Грубин. — Спасибо за предложение.

— Почему же? — удивился Савелий. — Мы ему зарплату определим, пойдет на благоустройство вашего двора.

— Во-первых, — объяснил Грубин, — бегемот не наш. Во-вторых, он по сравнению с дельфином — круглый дурак. Еще потопит кого. Ты где-нибудь читал, чтобы бегемоты людей спасали?

— Ничего я не читал, — признался Савелий. — Некогда. Дела.

В последующие дни были другие события: ночью бегемот убежал, и его поймали с фонарями у самой реки, еще через день он наступил на кошку, и пришлось кошку везти к ветеринару, в четверг он догнал Гаврилову, схватил сумку с продуктами и проглотил целиком, включая пачку стирального порошка «Лотос», отчего целый день из бегемота шла пена. В пятницу он забрался на кухню к Василь Васильичу и выпил горячий суп из кастрюли на плите — потом ему мазали язык сливочным маслом. В субботу жильцы дома шестнадцать, охваченные грустью, сошлись на совещание.

— Разумеется, — начал Ложкин, — мы ставим эксперимент для науки и делаем благородное дело...

— Принюхайся, сосед, — перебил его Удалов. Во дворе сильно пахло хлевом. Бегемот, как и всякое живое существо, не только ел. — Жаль, что он не синтетический, как Грубин предполагал.

— Я от своей теории не отказываюсь, — сказал Грубин. — Вы даже представить не можете могущества современной химии.

— И кормить его не очень просто, — сказала жена Ложкина. — Мы теперь себя даже ограничиваем.

— А куда его денешь? — спросил Удалов. — Куда, спрашивается? Что ответил на нашу телеграмму областной зоопарк?

Все помолчали. Ответ на бланке читали и обижались, но работников зоопарка тоже можно понять. Как бы вы на их месте ответили людям из северного городка, которые запрашивают, что им делать с бегемотом? Ясно, как бы вы ответили? Вот они и ответили.

— А я сегодня на животноводческую ферму ходил, — сказал Василь Васильич.

Бегемот высунул из сарая тупую морду и тихонько замычал. Требовал, чтобы вели к колонке. Удалов отмахнулся.

— Ну и что на ферме?

— Отказались. Наотрез. Бегемот, говорят, молока не дает, а вкусовые качества его мяса под большим сомнением.

— То есть как под сомнением? — удивился Грубин. — Они что, резать его хотели?

— Я бы не дал, — сказал Василь Васильич. — Вы не думайте. Но вообще-то говоря, они скот держат либо за молоко, либо за мясо, либо за шерсть. Четвертого им не дано.

Бегемот выбрался из сарая, подошел поближе.

— Ну вот, опять жрать захотел, — сообщил Ложкин.

Во двор вышла Гаврилова с миской щей. Бегемот увидел ее и поспешил за кормежкой, раскачивая толстым задом.

— Вот что, — решил наконец Удалов. — Я завтра перед работой зайду в домоуправление за справкой, что у нас обитает бегемот. С этой справкой ты, Ложкин, съездишь в область, пригласишь сотрудника из зоопарка. Ведь должны они документу поверить.

На том и порешили. Бегемот в тот вечер обошелся без купания. А Удалов лег спать в смятении чувств, долго ворочался и вздыхал...

...Он встал в сиреневой мгле разбитый и злой. Вспомнил, что его очередь убирать за скотиной. Взял в коридоре поганое ведро и метлу и отправился во двор к сараю.

— Небось дрыхнешь, — сказал он, заглядывая в теплый, пропахший бегемотовым навозом сарай.

Он ожидал услышать знакомый храп, но в сарае было совсем пусто.

Удалов сразу же выглянул во двор — не открыты ли ворота? Не хватало, чтобы бегемот выскочил на улицу и пошел сам купаться. Еще с машинкой столкнется. Но ворота были закрыты.

— Эй, толстый, — позвал Удалов. — Ты где прячешься? Никакого ответа.

Тревожное чувство подкатилось к груди Удалова.

На полу, на перевернутом корыте, лежала записка:

«Дорогие друзья! Простите за то, что, по незнанию языка, я не мог с вами объясниться и сразу поблагодарить за заботу обо мне, бессловесной твари, за человеческое тепло, которым вы окружили меня в этом скромном доме. Как приятно сознавать, что, несмотря на значительную разницу в форме тела и габаритах, вы не пожалели разделить со мной кров и великолепную пищу. Вот воистину замечательный пример галактического содружества! Я не понял ни слова из того, о чем вы говорили в моем присутствии, но дружеские интонации убедили меня в вашей отзывчивости. Благодарю судьбу за то, что она заставила мой космический корабль потерпеть крушение именно над вашим домом! Теперь за мной прилетели друзья, они перевели мою скромную благодарность на ваш язык, и я спешу присоединиться к ним. Но ненадолго. Как только я им объясню ситуацию, они прибудут к вам в гости, потому что я хочу доказать им, что самые добрые и щедрые существа в галактике обитают именно в доме шестнадцать по Пушкинской улице.

Искренне ваш *Тримбукаунл-пру*».

— Ну и дела, — сказал Удалов, дочитав записку. — Может, даже лучше, что бегемот ничего не понял. Мы же его за дурака принимали. А это любому неприятно.

Надо было будить соседей, рассказать им, что произошло, и вместе с ними порадоваться. Но тут ворота затрещали и упали внутрь.

Во двор входило целое стадо бегемотов. Разного роста и толщины бегемоты толпились, чтобы скорей добраться до Удалова и подивиться на самых добрых людей в галактике.

— Погодите! — воскликнул Удалов, вздымая руки. — Вы же меня растопчете.

Два бегемотика уже бросились к сирени и принялись доедать куст, громадный бегемот в синих очках походя сломал березку и хрупал ее, как былинку, остальные запрудили двор и вежливо ждали, когда их начнут угощать завтраком.

Удалов почувствовал, что теряет сознание.

Светило солнце. Было утро. За окном тихо.

Сон. Всего-навсего. Ну и ладушки. Что-то надо сделать? Ага, сегодня его очередь убирать за бегемотом.

Удалов спустился вниз, взял поганое ведро и метлу и пошел через двор к сараю.

Бегемот еще спал. Он лежал на боку и громко храпел. Удалов стал убирать навоз и думал, что сегодня придется остаться без завтрака: надо успеть до работы получить справку в домоуправлении, что во дворе живет бегемот, а не плод коллективной галлюцинации. И пора Ложкину ехать в зоопарк за специалистом. Скучает животное в одиночестве, да и дом долго не выдержит такого гостя.

Бегемот всхлипнул во сне и медленно перевернулся на другой бок. Удалов замер, опершись на метлу. Печальная мысль пришла ему в голову:

«...Вот свезем мы его в зоопарк, а прилетят его товарищи? Что мы им скажем? Что отдали астронавта в зверинец, поместили в клетку на потеху толпе?

А что они нам на это ответят?»

ЛЕНЕЧКА-ЛЕОНАРДО

— Ты чего так поздно? Опять у Щеглов была? — Всем своим видом Ложкин изображал покинутого, неухоженного мужа.

— Что ж поделаешь, — вздохнула его жена, спеша на кухню поставить чайник. — Надо помочь. Больше у них родственников нету. А сегодня — профсоюзное собрание. Боря — член месткома, а Клара — в кассе взаимопомощи. Кому с Ленечкой сидеть?

— И всё, конечно, тебе. В конце концов, родили ребенка, должны были осознавать ответственность.

— Ты чего пирожки не ел? Я тебе на буфете оставила.

— Не хотелось.

Жена Ложкина быстро собирала на стол, разговаривала оживленно, чувствовала вину перед мужем, которого бросила ради чужого ребенка.

— А Ленечка такой веселенький. Такой милый, улыбается... Садись за стол, все готово. Сегодня увидел меня и лепечет: «Баба, баба!»

— Сколько ему?

— Третий месяц пошел.

— Преувеличиваешь. В три месяца они еще не разговаривают.

— Я и сама удивилась. Говорю Кларе: «Слышишь?» — а Клара не слышала.

— Ну вот, не слышала.

— Возьми пирожок, ты любишь с капустой. А он вообще мальчик очень продвинутый. Мать сегодня в спешке кофту наизнанку надела, а он мне подмигнул — разве не смешно, тетя Даша?

— Воображение, — сказал Ложкин. — Пустое женское воображение.

— Не веришь? Пойди погляди. Всего два квартала до этого чуда природы.

— И пойду, — согласился Ложкин. — Завтра же пойду. Чтобы изгнать дурь из твоей головы.

В четверг Ложкин, сдержав слово, пошел к Щеглам. Щеглы, дальние родственники по материнской линии, как раз собирались в кино.

— Мы уж решили, что вы обманете, — с укором сказала Клара. Она умела и любила принимать одолжения.

— Сегодня Николай Иванович с Ленечкой посидит, — сообщила баба Даша. — Мне по дому дел много.

— Не с Ленечкой, а с Леонардо, — поправил Борис Щегол, завязывая галстук. — А у вас, Николай Иванович, есть опыт общения с грудными детьми?

— Троим высшее образование дал, — произнес Ложкин. — Разлетелись мои птенцы.

— Высшее образование — не аргумент, — сказал Щегол.

— Клара, помоги узел завязать. Высшее образование дает государство. Грудной ребенок — иная проблема. Почитайте книгу «Ваш ребенок», вон на полке стоит. Вы, наверное, ничего не слышали о научном обращении с детьми.

Ложкин не слушал. Он смотрел на ребенка, лежавшего в кроватке. Ребенок осмысленно разглядывал погремушку, крутил в руках, думал.

— Агу, — проговорил Ложкин, — агусеньки.

— Агу, — откликнулся ребенок, как бы отвечая на приветствие.

— Боря, осталось десять минут, — напомнила Клара. — Где сахарная водичка, найдете? Пеленки в комодке на верхней полке.

Николай Иванович остался с ребенком один на один.

Он постоял у постельки, любясь мальчиком, потом, неожиданно для самого себя, произнес:

— Тебе почитать чего-нибудь?

— Да, — сказал младенец.

— А что почитать-то?

— Селебляные коньки, — ответил Ленечка. — Баба читала.

Язык еще не полностью повиновался мальчику.

Ленечка-Леонардо протянул ручонку к шкафу, показывая, где стоит книжка.

— Может, про репку почитаем? — спросил Ложкин, но ребенок отрицательно подвигал головкой и отложил погремушку в сторону.

Ложкин читал книжку более часа, утомился, сам выпил всю сахарную водичку, а ребенок ни разу не намочил пеленок, не ныл, не спал, увлеченно слушал, лишь иногда прерывал чтение конкретными вопросами: «А что такое коньки? А что такое Амстелдам? А что такое опухоль головного мозга?»

Ложкин как мог удовлетворял любопытство младенца, все более попадая под очарование его открытой яркой личности.

К тому времени, когда родители вернулись из кино, дед с мальчиком подружились, на прощание Леонардик махал деду ручкой и лепетал:

— Сколей плиходи, завтла плиходи, деда.

Родители не прислушивались к щебетанию крошки. С этого дня Ложкин старался почаще подменять жену. Фактически превратился в сиделку у мальчика. Щеглы не возражали. Они были молодыми активными людьми, любили кататься на коньках и лыжах, ходить в туристские походы, посещать кино и общаться с друзьями.

Месяца через два Ленечка научился садиться в постельке, язык его слушался, запас слов значительно вырос. Ленечка не раз выражал деду сожаление, что неокрепшие ножки не позволяют ему выйти на улицу и побывать в интересующих его местах.

Порой Ложкин вывозил Ленечку в коляске, тот жадно крутил головкой по сторонам и непрерывно задавал вопросы: почему идет снег, что делает собачка у столба, почему у женщин усы не растут и так далее. Ложкин, как мог, удовлетворял его любопытство. Дома они вновь принимались за чтение или Ложкин рассказывал младенцу о своей долгой жизни, об интересных людях, с которыми встречался, о редких местах и необычных профессиях. Как-то Ленечка сказал деду:

— Попроси маму Клару, пусть разрешит мне учиться читать. Ведь шестой месяц уже пошел. Я полагаю, что в

моем возрасте Лев Толстой не только читал, но и начал замышлять сюжет «Войны и мира».

— Сомневаюсь, — ответил Ложкин, имея в виду и Льва Толстого, и маму Клару. — Но попробую.

Он прошел на кухню, где Клара, только что вернувшись из гостей, готовила на утро сырники.

— Клара, — начал он, — что будем с Ленечкой делать?

— А что? Плохо себя чувствует? Лобик горячий?

Клара была неплохой матерью. Сына она любила, переживала за него, сама укачивала перед сном, что, правда, ребенку не нравилось, потому что отвлекало от серьезных мыслей.

— Лобик у него хороший. Только мы с ним думали, не пора ли научиться читать. В его возрасте Лев Толстой, возможно, уже и писал.

— Что старый, что малый, — усмехнулась Клара. — Шли бы вы домой, дядя Коля. Завтра не придете? А то я должна на службе задержаться. Да, и зайдите с утра на питательный пункт за молоком и кефиром.

Ребенка Клара не кормила, да Ленечка и не настаивал на этом. Ему было бы неловко кормиться таким первобытным способом.

Как-то Ленечку отнесли к врачу, сдать анализы и проверить здоровье. Все оказалось в порядке, Ленечка, по совету Ложкина, держал язык за зубами, но заинтересовался медициной — на него произвели впечатление обстановка в больнице и медицинская аппаратура.

— Знаешь, дедушка, — сообщил он Ложкину по возвращении, — мне захотелось стать врачом. Это благородная профессия. Я понимаю, что придется упорно учиться, но я к этому готов.

В последующие недели Ленечка все-таки научился читать, и Ложкин подарил ему электрический фонарик, чтобы читать под одеялом, когда родители уснут.

Возникает естественный вопрос: а как же родители? Неужели они были так слепы и проглядели то, что было очевидно приходящему старику, который повторял своей жене: «Я углядываю знак судьбы в том, что ребенка называли Леонардо Борисовичем. Полтысячи лет Земля ждала своего следующего универсального гения. И вот дожда-

лась». Нет, родители оставались в слепом убеждении, что произвели на свет обычного ребенка.

За примерами недалеко ходить. В день Ленечкина девятомесечного юбилея Борис Щегол пришел к нему в комнату с новой погремушкой. Ленечка в это время сидел в кроватке и слушал, как Ложкин читает ему вслух «Опыты» Монтеня.

— Гляди, какая игрушечка, — показал Борис. Он, как всегда, спешил и поэтому собирался тут же покинуть сына, но Леонардик сказал вслух:

— Любопытно, что эта игрушка напоминает мне пространственную модель Солнечной системы.

Борис возмутился:

— Дядя Коля, что за чепуху вы ребенку читаете? Как будто нет хороших детских книг. Про курочку и яичко, например, я сам покупал. Куда вы ее задевали?

Ложкин не ответил, потому что Ленечка из книжки про курочку делал бумажных голубей, чтобы выяснить принципы планирующего полета.

Борис Щегол отобрал «Опыты» Монтеня и унес книжку из комнаты.

Еще через несколько дней произошла сцена с участием Клары Щегол. Она принесла Ленечке тарелочку с протертым супом, и, для того чтобы поставить ее, ей пришлось смахнуть со столика несколько свежих медицинских журналов и словарей.

— Вы о чем здесь бормочете? — спросила она миролюбиво у Ложкина.

— Шведским языком занимаемся, — откровенно ответил Николай Иванович.

— Ну ладно, бормочите, — разрешила Клара.

Ленечка положил ручку на ладонь старику: не обращай, мол, внимания.

Тут же они услышали, как в соседней комнате Клара рассказывает приятельнице:

— Мой-то кроха, сейчас захожу в комнату, а он бормочет на птичьем языке.

— Он у тебя уже разговаривает?

— Скоро начнет. Он развитой. И что удивительно, к нам один старичок ходит, по хозяйству помогает, так он этот птичий язык понимает.

— Старики часто впадают в детство, — произнесла подруга.

Леонардик вздохнул и прошептал Ложкину:

— Не обижайся. В сущности, мои родители добрые, милые люди. Но как я порой от них устаю!

В комнату вошла Клара с приятельницей. Приятельница принялась ахать и повторять, какой крохотулечка и тютю́тенька этот ребенок, и умоляла:

— Скажи: ма-ма.

— Мам-ма, — послушно ответил Ленечка.

— Прелестный младенец. И как на тебя похож!

Тут младенцу надоело, и он обернулся к Ложкину:

— Продолжим наши занятия?

Женщины этих слов не слышали. Они уже говорили о своем.

Когда Ленечка научился ходить, они с Ложкиным устроили тайник под половицей, куда старик складывал новые книги. Леонардик как раз принялся за свою первую статью о причинах детского диатеза. Чтобы не смущать родителей, он продиктовал Ложкину, и тот послал статью в химический журнал.

Где-то к полутора годам Леня, неожиданно для Ложкина, начал охладевать к естественным наукам и принялся поглощать литературу на морально-этические темы. Его детское воображение поразил Фрейд.

— Что с тобой творится? — допытывался Ложкин. — Ты забываешь о своем предназначении — стать новым Леонардо и обогатить человечество великими открытиями. Ты забыл, что ты — гомо футурис, человек будущего?

— Допускаю такую возможность, — печально согласился ребенок. — Но должен сказать, что я стою перед неразрешимой дилеммой. Помимо долга перед человечеством у меня долг перед родителями. Я не хочу пугать их тем, что я — моральный урод. Их инстинкт самосохранения протестует против моей исключительности. Они хотят, чтобы все было как положено или немного лучше. Они хотели бы гордиться мной, но только в тех рамках, в которых это понятно их друзьям. И я, жалея их, вынужден таиться. С каждым днем все более.

— Поговорим с ними в открытую. Еще раз.

— Ничего не выйдет.

Когда на следующий день Ложкин пришел к Щеглам, держа под мышкой с трудом добытый томик Спинозы, он увидел, что мальчик сидит за столом рядом с отцом и учится читать по складам.

— Ма-ма, Ма-ша, ка-ша... — покорно повторял он.

— Какие успехи! — торжествовал Борис. — В два года начинает читать! Мне никто на работе не поверит!

И тут Ложкин не выдержал.

— Это не так! — воскликнул он. — Ваш ребенок тратит половину своей творческой энергии на то, чтобы показаться вам таким, каким вы хотели бы его увидеть. Он постепенно превращается из универсального гения в гения лицемерия.

— Дедушка, не надо! — В голосе Ленечки булькали слезы.

— Чтобы угодить вам, он забросил научную работу.

— Издеваешься, дядя Коля? — спросил Щегол.

— Неужели вы не замечаете, что дома лежат книги, в которых вы, Боря, не понимаете ни слова? Я напишу в Академию наук!

— Ах, напишешь? — Борис поднялся со стула. — Писать вы все умеете. А как позаботиться о ребенке — вас не дозовешься. Так вот, обойдемся мы без советчиков. Не дам тебе калечить ребенка!

— Он вундеркинд!

Ложкин схватился за сердце, и тогда Борис понял, что наговорил лишнего, и сказал:

— И вообще, не вмешивайтесь в нашу семейную жизнь. Леонардик — обыкновенный ребенок, и я этим горжусь.

— Не вмешивайся, деда, — попросил Ленечка. — Ничего хорошего из этого не выйдет. Мы бессильны преодолеть инерцию родительских стереотипов.

— Но ведь вас тоже ждет слава, — прибегнул к последнему аргументу Ложкин. — Как родителей гения. Ну представьте, что вы родили чемпиона мира по фигурному катанию.

— Это другое дело, — ответил Борис. — Это всем ясно. Это бывает.

И тогда Ложкин догадался, что Щегол давно обо всем подозревает, но отмечает подозрения.

— Мы сегодня выучили пять букв алфавита, — вмешался в беседу Ленечка. — И у папы хорошее настроение. С

точки зрения морали мне это важнее, чем все возможные открытия в области прикладной химии или свободного полета.

— Боря, неужели вы не слышите, как он говорит? — спросил Ложкин. — Ну откуда младенцу знать о прикладной химии?

— От вас набрался, — отрезал Боря. — И забудет.

— Забуду, папочка, — пообещал Леонардик.

С тех пор прошло три года.

Скоро Леонардик пойдет в школу. Он научился сносно читать и пишет почти без ошибок. Ложкин к Щеглам не ходит. Один раз он встретил Ленечку на улице, ринулся было к нему, но мальчик остановил его движением руки.

— Не надо, дедушка, — сказал он. — Подождем до института.

— Ты в это веришь?

Ленечка пожал плечами.

Сзади, в десяти шагах, шла Клара, катила коляску, в которой лежала девочка месяцев трех от роду и тихо напевала: «Под крылом самолета...» Клара остановилась, улыбнулась, с умилением глядя на своего второго ребенка, вынула из-под подушечки соску и дала ее девочке.

МАРСИАНСКОЕ ЗЕЛЬЕ

1

Корнелий Удалов не решился один идти с жалобой в универмаг. Он спустился вниз, позвал на помощь соседа. Грубин, услышав просьбу, долго хохотал, но не отказал и даже был польщен. Отодвинул микроскоп, закатал рисовое зернышко в мягкую бумагу, положил в ящик стола. Потом шагнул к трехсотлитровому самодельному аквариуму и взял сброшенный на него черный пиджак с блеском на локтях. Пиджаком Грубин спасал тропических рыбок от говорящего ворона. Ворон их пугал, болтал клювом в воде.

— Ты, Корнелий, не робей, — говорил Грубин, надевая пиджак поверх голубой застиранной майки. — В ракетостроении перекосов быть не должно.

Ворон забил крыльями, запросился на волю, но Грубин его с собой не взял, напротив — сунул в шкаф, запер.

Удалов подхватил большой прозрачный мешок, в котором покоилась оказавшаяся дефектной красная пластиковая ракета на желтой пусковой установке, купленная в подарок сыну Максимке, пониже надвинул соломенную шляпу и первым направился к двери.

Грубин, превосходивший Корнелия ростом на три головы, шагал размашисто, мотал нечесаной шевелюрой, посмеивался и громко рассуждал.

Удалов шел мелко, потел и боялся, что его увидят знакомые.

Жена Удалова, Ксения, крикнула им вслед со двора:

— Без замены не являйся!

— Ну-ну, — сказал Грубин негромко.

Они пошли по улице.

Двухэтажный, большей частью каменный, некогда купеческий, а теперь районный центр, город Великий Гусляр к концу июня раскалился от затяжной засухи. Редкие грузовики, газики и автобусы, проезжавшие по Пушкинской улице, тянули за собой длинные конусы желтой пыли и оттого напоминали приземлившихся парашютистов.

Был второй час дня и самая жара. На улицах показывались только те люди, которым это было крайне необходимо. Потому Корнелий и выбрал такое время, а не вечер. Он даже пожертвовал обеденным перерывом: надеялся, универмаг пуст и не стыдно будет поднимать разговор из-за пустяковой игрушки.

Миновали аптеку. Грубин поздоровался с сидевшим у открытого окна провизором Савичем.

— Не жарко? — спросил Савич, поглядев на Грубина поверх очков. Сам Савич был потный и дышал ртом.

— Идем на конфликт! — громко известил Грубин. — Вменяем иск против государства!

Удалов уже жалел, что позвал Грубина. Он дернул соседа за полу пиджака, чтобы тот не задерживался.

— И вы тоже, товарищ Удалов? — Провизор обрадовался случаю отвлечься. — У вас опять неприятности?

Удалов буркнул невнятное и прибавил ходу. Головой повертел, чтобы поглубже ушла в шляпу, и даже стал прихрамывать: хотел быть неузнаваемым.

Грубин догнал его в два шага и сказал:

— Правильно он тебе намекнул. Я давно задумываюсь, как с помощью материализма объяснить, что половина всех невезений в городе падает на тебя?

— Архив покрасить пора, — уклончиво ответил Корнелий.

Грубин удивился и посмотрел на церковь Параскевы Пятницы, в которой размещался районный архив.

— Твое дело, — сказал Грубин. — Ты у нас начальник.

По другую сторону улицы стоял Спасо-Трофимовский монастырь, отданный после революции речному техникуму. Дюжие мальчишки на велосипедах выезжали оттуда и катили на пляж. Монастырь, в отличие от Параскевы Пятницы, был хорошо покрашен, и купола главного собора сверкали, как стеклянные адские котлы, наполненные лавой.

— Мне твоя жена говорила, — продолжал Грубин, — что тебе в десятом классе на экзамене тринадцатый билет по истории достался и ты медаль не получил. Правда?

— Я бы ее и так не получил, — возразил Удалов.

А сам подумал: «Зря Ксения такие сплетни распространяет. Это дело старое, счеты с Кастельской, тогдашней историчкой. Если бы можно жизнь повторить сначала, выучил бы все про Радищева». Сколько лет прошло, не думал тогда, что станет директором стройконторы, а видел перед собой прямую дорогу вдаль.

— Я жизнью удовлетворен, — произнес Удалов твердо, и Грубин хохотнул, глядя сверху. То ли не поверил другу, то ли был сам не удовлетворен.

Универмаг находился в бывшем магазине купца Титова. Купец перед самой Первой мировой получил потомственное дворянство и герб с тремя кабанями: Смелость, Упорство, Благополучие. Теперь кабаны с герба осыпались, а рыцарская шляпа с перьями над щитом осталась. И купидоны по сторонам.

У входа в универмаг сидели в ряд обалдевшие от жары бабки из пригородного совхоза. Сидели с ночи — поддались слухам, что будут давать трикотажные кофточки по низким ценам.

Удалов отвернулся от бабок и боком постарался вспрыгнуть на три ступеньки. Он хотел сделать это легко, спортивно, но споткнулся о верхнюю ступеньку и упал животом на прозрачный пакет с пластиковой ракетой.

Грубин только ахнул.

Бабки очнулись и зашептались. Ракета жалобно скрипнула и распалась, как пустой гороховый стручок. Пусковая установка желтого цвета сплющилась в квадратную лепешку.

Корнелий, не смея обернуться, вскочил, взглянул дико на останки ракеты, закинул мешок за спину и, пригнувшись, вбежал в полутьму магазина.

— Ну, что я говорил? — спросил у бабок Грубин.

Те оробели от дикого вида и значительного роста Грубина и затихли.

— Задача осложняется, — объяснил им Грубин и поспешил за Корнелием в нутро магазина.

Удалов передвигался по магазину медленно, будто по колено в воде. Свободной рукой растирал ушибленный бок.

Так дошел до прилавка с игрушками, остановился и подождал, прислушиваясь, пока не подошел Грубин.

— Плохо дело, — сказал Грубин. — Может, пойдем домой?

— Жена, — прошептал Корнелий.

Шурочка Родионова, продавщица игрушек, ждала обеденного перерыва и читала переводную книгу Зенона Косидовского «Библейские сказания». Шурочка собиралась быть археологом и три года занималась в историческом кружке у Елены Сергеевны Кастельской, которая была тогда директором музея. Школу Шурочка окончила хорошо, но в Вологду в институт поступать не поехала: с деньгами плохо. Пошла на год в продавщицы, хотя от планов не отказалась, читала книги и учила английский язык. К девятнадцати годам стала Шурочка так хороша, что многие мужчины, у которых не было детей, ходили в универмаг покупать игрушки.

Шурочка слышала шум у дверей, но не отвлеклась, читала комментарий про ошибки автора. Только когда Грубин с Удаловым подошли вплотную, она подняла голову, поправила золотую челку и сказала: «Пожалуйста».

А мысленно еще оставалась вблизи города Иерихона на Ближнем Востоке и переживала его трагедию.

Обоих посетителей она знала. Один, маленький, толстый, — Удалов, директор ремконторы. Второй — длинный, колючий, лохматый — заведовал пунктом вторсырья у рынка и принимал пустые бутылки.

— Здравствуйте, — сказали посетители.

Удалов поморщился и вытащил из-за спины большой прозрачный мешок с жалкими остатками пластиковой ракеты.

— Ой! — воскликнула Шурочка. — Что же у вас случилось?

— Замените! — произнес Удалов. — Брак!

— Как же так?

Шурочка положила книжку на прилавок и забыла об Иерихоне.

— Не видите, что ли? — все так же сердито спросил Удалов.

Шурочка не знала, что говорит он строго от робости и сознания своей неправоты. Она обиделась и отвечала:

— Я вам, гражданин, такого не продавала. Я сейчас заведующую позову. Ванда Казимировна!

Корнелий совсем оробел и сказал:

— Ну-ка, дайте мне жалобную книгу!

Он хотел отодвинуть шляпу на затылок, но не рассчитал, шляпа слетела и шмякнулась на пол. Удалов пошел за шляпой.

— Вы нас поймите правильно, — разъяснил Грубин. — Брак заключался в ракете раньше, чем случился инцидент.

Пришла заведующая Ванда Казимировна, женщина масштабная, решительная и жена провизора Савича.

— Такое добро, — сказала она Грубину с намеком, — надо в утильсырье нести, а не в универмаг.

Бабки от входа пришли на разговор, и одна возмутилась:

— Чем торгуют! Постыдились бы.

Другая спросила:

— Кофточки сегодня будут давать?

— Спокойствие, — настаивал Грубин. — Я вам все покажу.

Он вынул из мешка две половинки ракеты, сложил их в стручок и показал заведующей:

— Трещину видите в хвостовой части? Вот с этой трещиной нам товар и продали.

Трещин в хвостовой части было несколько, и найти нужную было нелегко.

Шурочка совсем обиделась.

— Они издеваются, что ли? — спросила она.

— Алкоголики, — определила одна из бабок.

— Вот чек, — сказал, подходя, Корнелий. Шляпу он держал под мышкой. — Только вчера покупали. У меня чек сохранился. Пришел домой, вижу — трещина.

— Какая там трещина! — возмутилась заведующая. — Шурочка, не расстраивайся. Мы им на работу сообщим. Это не ракета, а результат землетрясения.

— Вы не обращайтесь внимания, что ракета расколота, — произнес Грубин. — Это потом уже случилось. А землетрясений у нас не бывает. Людям доверять надо.

И в этот момент в Великом Гусяре началось землетрясение.

Глухой шум возник на улице. Земля рванула из-под ног. Дрогнули полки. Стопки тарелок, будто выпущенные неопытным жонглером, разлетелись по магазину, чашки и чайники, хлопая о прилавки, разбивались гранатами-«ли-

монками», целлулоидные куклы и плюшевые медведи по-скакали вниз, цветастые платки и наволочки воспарили коврами-самолетами, стойки с костюмами и плащами зашатались — казалось, пожелали выйти на улицу вслед за бабками, убежавшими из универмага с криками и плачем. Разбившиеся пузырьки с духами и одеколоном окутали магазин неповторимым, фантастическим букетом запахов. С потолка хлопьями посыпалась известка.

Грубин одной рукой подхватил прозрачный мешок с остатками ракетной установки, другой поддержал через прилавок Шурочку Родионову. Он единственный не потерял присутствия духа. Крикнул:

— Сохранять спокойствие!

Корнелий вцепился в шляпу, будто она могла помочь в эти жуткие секунды. Быстрое его воображение породило образ разрушенного стихией Великого Гусяра, развалины вдоль засоренных кирпичами улиц, бушующие по городу пожары, стоны жертв и плач бездомных детей и стариков. И он, Корнелий, идет по улице, не зная, с чего начать, чувствуя беспомощность и понимая, что, как руководитель ремконторы, он основная надежда засыпанных и бездомных. Но нет техники, нет рабочих рук, царят отчаяние и паника.

И тут над головой рев реактивных самолетов — белыми лилиями распускаются в небе парашюты. Это другие города прислали помощь. Сборные дома, мосты и заводы спускаются медленно и занимают места, заранее запланированные в центре, сыплется с неба дождем калорийный зеленый горошек, стучаются о землю, гнутся, но не разбиваются банки со сгущенным молоком и сардинами. Помощь пришла вовремя. Корнелий поднимает голову выше и слушает наступившую мирную тишину. И в самом деле наступила мирная тишина. Подземное возмущение окончилось так же неожиданно, как и началось. Тяжелое, катастрофическое безмолвие охватило универмаг и давило на уши, как рев реактивного самолета.

— Покинуть помещение! — оглушительно крикнул Грубин. Он бросил на пол мешок, взял одну из половинок ракетного стручка, вторую сунул Удалову и повлек всех за собой раскапывать дома и оказывать помощь населению.

Корнелий послушно бежал сзади, хоть ничего перед собой не видел — скатерть опустилась ему на голову и сде-

лала его похожим на бедуина или английского разведчика Лоуренса.

К счастью, раскапывать никого не пришлось. Стихийное бедствие, поразившее Великий Гусяр, не было землетрясением.

Метрах в двадцати от входа в универмаг мостовая расступилась, и в провал ушел задними колесами тяжело груженный лесовоз. Еще не улегшаяся пыль висела вокруг машины и, подсвеченная солнцем, придавала картине загадочный, неземной характер.

— Провал, — сказал обыкновенным голосом Удалов, стаскивая с головы скатерть и аккуратно складывая ее.

Провалы в городе случались нередко, так как он был стар и богат подземными ходами и подвалами царских времен.

— Опять не повезло тебе, Корнелий! — Грубин бросил в досаде на землю половинку ракеты. — Теперь тебе не до замен. Мостовую ремонтировать придется.

— Квартал, кстати, кончается, — ответил Корнелий. Он обернулся к заведующей и добавил: — Я, Ванда Казимировна, вашим телефончиком воспользуюсь. Надо экскаватор вызвать.

Из пылевой завесы вышел бледный, мелко дрожащий от пережитого шофер лесовоза. Он узнал Удалова и обратился к нему с претензией.

— Товарищ директор, — заявил он, — до каких пор мы должны жизнью рисковать? А если бы я стекло вез? Или взрывчатку?

— Ну уж, взрывчатку! — передразнил Грубин. — Кто тебе ее доверит?

— Кому надо, тот и доверит, — обиделся шофер. Увидев Шурочку, перестал дрожать, подтянулся.

— Провал как провал, — сказал Удалов. — Не первый и не последний. Сейчас вытащим, дыру засыплем, все будет как в аптеке. Сходили бы до милиции, пусть поставят знак, что проезда нет. А автобус пустят по Красноармейской.

2

Елена Сергеевна прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана манки из синей квадратной банки с надписью «Сахар». Молоко вздыбилось, будто крупа жестоко

обожгла его, но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове.

Ваня втащил на кухню танк, сделанный из тома «Современника» за 1865 год и спичечных коробков.

— Не нужна мне твоя каша, — сказал он.

— Подай соль, — велела Елена Сергеевна.

— Посолить забыла, баба? — спросил Ваня.

Елена Сергеевна не стала дожидаться, пока Ваня развернет танк в сторону черного буфета, сама широко шагнула туда, достала солонку и при виде ее вспомнила, что уже сыпала соль в молоко. Елена Сергеевна поставила солонку обратно.

— Баба, — заныл Ваня противным голосом, — не нужна мне твоя каша. Хочу гоголь-моголь.

На самом деле он не хотел ни того ни другого. Он хотел устроить скандал.

Елена Сергеевна отлично поняла его и потому ничего не ответила. За месяц они с Ваней надоели друг другу, но дочь заберет его только через две недели.

Елена Сергеевна обнаружила, что к шестидесяти годам она охладела к детям. Она утратила способность быть с ними снисходительной и терпимой. После скандалов с Ваней она успокаивалась медленнее, чем внук.

А ведь Елена Сергеевна сама попросила дочь прислать Ваню в Великий Гусяр. Она устала от одиночества долгих сумерек, когда неверный синий свет вливается в комнату, в нем чернеют и разбухают старые шкафы, которые давно следовало бы освободить от старых журналов и разного барахла.

Раньше Елена Сергеевна думала, что на пенсии она не только отдохнет, но и сможет многое сделать из того, что откладывалось за делами и совещаниями. Написать, например, историю Гусяра, съездить к сестре в Ленинград, разобрать на досуге фонды музея и библиотеку, там все время сменялись бестолковые девчонки, которые через месяц выходили замуж или убегали на другую работу, где платили хотя бы на десятку больше, чем в бедном зарплатой городском музее.

Но ничего не вышло. История Великого Гусяра лежала на столе и почти не продвигалась. У сестры болели дети; и, вместо того чтобы не спеша обойти все ленинградские му-

зеи и театры, Елене Сергеевне пришлось возиться по хозяйству.

В музее появился новый директор, ранее руководитель речного техникума. Директор рассматривал свое пребывание в музее как несправедливое наказание и ждал, пока утихнет гнев высокого районного начальства, чтобы вновь двинуться вверх по служебной лестнице. Директор был Елене Сергеевне враждебен. Ее заботы о кружках и фондах отвлекали от важного начинания: сооружения памятника землепроходцам, уходившим в отдаленные времена на освоение Сибири и Дальнего Востока. Землепроходцы часто уходили из Великого Гуслияра — города купеческого, беспокойного, соперника Архангельска и Вологды.

— Баба, а в каше много будет комков? — спросил Ваня.

Елена Сергеевна покачала головой и чуть улыбнулась.

Комки, конечно, будут. За шестьдесят с лишним лет она так и не научилась варить манную кашу. Если бы удалось начать жизнь сначала, Елена Сергеевна обязательно подсмотрела бы, как это делала покойная мама. Кто-то стукнул в окно.

Ваня забыл о танке и побежал открыть занавеску. Он никого не увидел — в окно стучали знакомые, прежде чем войти в калитку, обогнуть дом и постучать со двора.

Елена Сергеевна убавила огонь и решила, что успеет открыть дверь, прежде чем каша закипит. Она быстро прошла в темные сени. От каждого шага, сухого и короткого, взвизгивали половицы.

За дверью стояла Шурочка Родионова, повзрослевшая и похорошевшая за весну и остригшая косу, чтобы казаться старше.

— Вытри ноги, — сказала Елена Сергеевна, любуясь Шурочкой.

Шурочка покраснела; у нее была тонкая, персиковая кожа, Шурочка легко краснела и становилась похожей на кустодиевских барышень.

Шурочка поздоровалась, вытерла ноги, хоть на улице было сухо, и прошла на кухню за Еленой Сергеевной.

Девушка была взволнованна и говорила быстро, без знаков препинания:

— Такое событие Елена Сергеевна грузовик ехал по Пушкинской и провалился народу видимо-невидимо думали

землетрясение и Удалов из ремконторы говорит засыпать будем и там подвал а директора музея нет уехал в область на совещание по землепроходцам и надо остановить это безобразия там могут быть ценности.

— погоди, — сказала Елена Сергеевна. — Я вот тут Ваню кормить собралась. Садись и повтори все медленнее и логичнее.

Когда Шурочка говорила, она из молодой и красивой женщины превращалась в ученицу-отличницу, в старосту исторического кружка.

Елена Сергеевна положила кашу в тарелку и посыпала ее сахарным песком.

Ваня хотел было потребовать малинового варенья, но забыл. Он был заинтригован неожиданным визитом и быстрой речью гостыи. Он послушно сел к столу, взял ложку и смотрел в рот Шурочке. Как во сне, зачерпнул ложкой кашу и замер, беззвучно шевеля губами, повторяя рассказ Шурочки слово за словом, чтобы стало понятнее.

— Значит, ехал грузовик по Пушкинской, — говорила Шурочка чуть медленнее, но все равно без знаков. — И сразу провалился задними колесами думали землетрясение все из магазина выскочили а там подвал.

— Где именно? — спросила Елена Сергеевна.

— Недалеко от угла Толстовской.

— Там когда-то проходил Адов переулок. — Елена Сергеевна прищурилась и представила себе карту города в промежутках между пятнадцатым и восемнадцатым веками.

— Правильно, — обрадовалась Шурочка. — Вы нам еще в кружке рассказывали там Адов переулок был и кузнецы работали ширина два метра и упирался в городскую стену я так и сказала Удалову из ремконторы а он говорит что квартал кончается и он обязан сдать Пушкинскую они ее три месяца асфальтировали а то премии не получают.

— Безобразия! — возмутилась Елена Сергеевна. — Ваня, не дуй в ложку... Мне не с кем его оставить.

— Так я посижу, Елена Сергеевна, — сказала Шурочка. — Без вас они засыпят, а вас даже Белосельский слушается.

— Я власти не имею, — напомнила Елена Сергеевна. — Я в отставке.

— Вас весь город знает.

— Я сейчас.

Елена Сергеевна прошла в маленькую комнату и скоро вернулась. Она причесалась, заколола седые волосы в пучок на затылке. На ней было темное учительское платье с отложным, очень белым воротничком, и Шурочка снова почувствовала робость, как пять лет назад, когда она в первый раз пришла в исторический кружок. Елена Сергеевна, в таком же темном платье, повела их наверх, в первый зал музея, где стоял прислоненный к стене потертый бивень мамонта, висела картина, изображающая повседневный быт людей каменного века, а в витрине под стеклом лежали в ряд черепки и наконечники стрел из неолита, найденные у реки Гусь дореволюционными гимназистами.

— Так ты посидишь немного? — спросила Елена Сергеевна.

— Конечно, я сегодня с обеда свободна.

Елена Сергеевна спустилась с крыльца, молодо процокала каблучками по деревянной дорожке двора, прикрыла калитку и пошла по Слободской к центру, через мост над Грязнухой, что испокон веку делит город на Гусяр и Слободу.

За мостом по правую руку стоит здание детской больницы. Раньше там был дом купцов Синицыных, и в нем сохранились чудесные изразцовые печи второй половины восемнадцатого века. По левую руку — церковь Бориса и Глеба, шестнадцатый век, уникальное строение, требует реставрации. За церковью — одним фасадом на улицу, другим на реку — мужская гимназия, ныне первая средняя школа. За гимназией — широкая и всегда ветреная площадь, наполовину занятая газонами. Здесь до революции стояли гостиные ряды, но в тридцатом, когда ломали церкви, сломали заодно и их, хотя можно было использовать ряды под колхозный рынок. Теперь здесь стоит, вглядываясь в даль, бронзовый землепроходец.

По ту сторону площади — двухэтажный музей, памятник городской архитектуры восемнадцатого века, охраняется государством.

Но Елена Сергеевна переходить площадь не стала, а у продовольственного свернула на Толстовскую.

На углу встретился провизор Савич, давнишний знакомый.

— Ты слышала, Лена, — сообщил он, отдуваясь и обмахиваясь растрепанной книжкой, — грузовик провалился?

— А куда, ты полагаешь, я иду? — спросила Елена Сергеевна. — Обследовать финифтяную артель?

— Ну уж, Леночка, — ответил мягко Савич, — не надо волноваться. Если мне не изменяет память, это третий провал за последние годы?

— Четвертый, Никита, — сказала Елена Сергеевна. — Четвертый. Я пойду, а то как бы они чего не натворили.

— Разумеется. Если б не такая жара, я бы сам посмотрел. Но обеденный перерыв короток, а мое брюхо требует пищи. Я так и полагал, что тебя встречу. Тебя все в городе касается.

— Касалось. Теперь я на пенсии. Передай привет Ван-де Казимировне.

— Спасибо, мы все к вам в гости собираемся...

Но последних слов Елена Сергеевна уже не слышала. Она быстро шла к Пушкинской.

Савич поправил очки и побрел дальше, размышляя, есть ли в холодильнике бутылка пива. Он представил запотевшую темно-зеленую бутылку, шипение освобожденного напитка, зажмурился и заспешил.

На Пушкинской, не доходя до универмага, стояла толпа. Толпа казалась неподвижным, неживым телом, и только мальчишки кружились вокруг нее, влетая внутрь и снова выскакивая, как пчелы из роя. По улице не спеша шел гусеничный экскаватор. Вблизи толпа распалась на отдельных людей, большей частью знакомых — учеников, друзей, соседей и просто горожан, о которых ничего не знаешь, но здороваешься на улице.

Елена Сергеевна пронзила толпу и оказалась у провала. Асфальт расходился трещинами, прогибался, будто был мягким, как резиновый коврик, и обрывался овальным черным колодцем. По другую сторону колодца стоял лесовоз — его уже вытащили из ямы. Бревна лежали на мостовой рядком.

У провала спорили два человека. Один из них был низок ростом, агрессивен, и лицо его было скрыто под соломенной шляпой. Второй — баскетбольного типа, с нечесаной шевелюрой, в черном пиджаке, надетом прямо на голубую майку, — отступал под натиском низенького, но сопротивления не прекращал.

— Для меня это скандал и безобразие, — уверял низкий.

Елена Сергеевна сразу поняла, что это и есть директор ремконторы.

— Мы окончили асфальтирование участка, рапортовали и ожидаем заслуженной премии — не лично я, а коллектив, — а ты что мне советуешь?

Низенький сделал шаг вперед, и длинный отступил, рискуя свалиться в пропасть.

— Корнелий, ты забыл о науке, о славе родного города, — протестовал он, балансируя над провалом.

— А люди премии лишатся?.. Эй, Эрик! — Это низенький увидел экскаватор. — Давай сюда, Эрик!

— Подождите, — произнесла Елена Сергеевна.

— А вы еще по какому праву? — спросил низенький, не поднимая головы. — Давай, Эрик!

— Вот что, Корнелий, — сказала тогда Елена Сергеевна, которая наконец узнала, кто же скрывается под соломенной шляпой. — Сними шляпу и подними голову.

Кто-то в толпе хихикнул. Экскаваторщик заглушил мотор и подошел поближе.

— Где тут яма, — спросил он, — которая представляет исторический интерес?

Директор ремконторы послушно снял шляпу и поднял вверх чистые голубые глаза неуспевающего ученика.

Он уже все понял и сдался.

— Здравствуйте, Елена Сергеевна, — сказал он. — Я вас сразу не узнал.

— Дело не в этом, Корнелий.

— Правильно, не в этом. Но вы войдите в мое положение.

— А если бы на Красной площади такое случилось? — спросила строго Елена Сергеевна. — Ты думаешь, Удалов, что правительство разрешило бы вызвать экскаватор и засыпать провал, не дав возможности ученым его обследовать?

— Так то Красная площадь...

— Так его! — пришел в восторг Грубин. — Я сейчас мигом все осматрю.

— Кстати, если не исследовать, куда ведет провал, — добавила Елена Сергеевна, — то не исключено, что завтра произойдет катастрофа в десяти метрах отсюда, вон там, например.

Все испуганно посмотрели в направлении, указанном Еленой Сергеевной.

Грубин присел на корточки и постарался разглядеть, что таится в провале. Но ничего не увидел.

— Фонарь нужен, — сказал он.

— Фонарь есть. — Из толпы вышел мальчик с длинным электрическим фонарем. — Только меня с собой возьмите.

— Здесь мы не шутки шутить собрались. — Грубин отобрал фонарь у мальчика. — Я пойду, а, Елена Сергеевна?

— Подождите. Нужно, чтобы туда спустился представитель музея.

— Так там нет никого. А вы отсюда будете контролировать.

Рядом с Еленой Сергеевной возник человек с фотоаппаратом.

— Я готов, — сказал он. — Я работаю в районной газете, и моя фамилия Стендаль. Миша Стендаль. Я окончил истфак.

— Так будем стоять или будем засыпать? — спросил экскаваторщик. — Простой получается.

— Идите, — согласилась с Мишей Елена Сергеевна.

— Тогда и я пойду, — сказал вдруг экскаваторщик. — Мне нужно посмотреть, куда землю сыпать. Да и физическая сила может пригодиться.

И на это Елена Сергеевна согласилась.

Удалов хотел было возразить, но потом махнул рукой. Не везет, так никогда не везет.

— Здесь неглубоко, — оповестил Грубин, посветив фонариком вглубь.

Он лег на асфальт, свесил ноги в провал и съехал на животе в темноту. Ухнул и пропал.

— Давайте сюда! — прилетел через несколько секунд утробный подземный голос.

Толпа сдвинулась поближе к краям провала, и Елена Сергеевна сказала:

— Отойдите, товарищи. Сами упадете и других покалечите.

— Сказано же, — оживился Удалов, — осадите!

Экскаваторщик спрыгнул вниз и подхватил Мишу Стендаля.

— Ну, как там? — крикнул Удалов.

Он опустился на колени, крепко упершись пухлыми ладонками в асфальт, и голос его прозвучал тихо, отраженный невидимыми стенами провала.

— Тут ход есть! — отозвался снизу чей-то голос.

— Там ход есть, — повторил кто-то в толпе.

— Ход...

И все замерли, замолчали. Даже мальчишки замолчали, охваченные близостью тайны. В людях зашевелились древние инстинкты кладоискателей, которые дремлют в каждом человеке и только в редких деятельных натурах неожиданно просыпаются и влекут к приключениям и дальним странствиям.

3

Сверху провал представлялся Милице Федоровне Бакшт чернильной кляксой. Она наблюдала за событиями из окна второго этажа. Пододвинула качалку к самому подоконнику и положила на подоконник розовую атласную подушечку, чтобы локтям было мягче. Подушечка уместилась между двумя большими цветочными горшками, украшенными бумажными фестончиками.

Очень старая сиамская кошка с разными глазами взмахнула хвостом и тяжело вспрыгнула на подоконник. Она тоже смотрела на улицу в щель между горшками.

В отличие от остальных Милица Федоровна хорошо помнила то время, когда улица не была мощеной и звалась Елизаветинской. Тогда напротив дома Бакштов, рядом с лабазом Титовых, стоял богатый дом отца Серафима с резными наличниками и дубовыми колоннами, покрашенными под мрамор. Дом отца Серафима сгорел в шестидесятом, за год до освобождения крестьян, и отец Серафим, не согласившись в душе с суровостью провидения, горько запил.

Отлично помнила Милица Федоровна и приезд губернатора. Тот был у Бакштов с визитом, ибо обучался со вторым супругом Милицы Федоровны в Пажеском корпусе. Хозяйка велела в тот вечер не жалеть свечей, и его высокопревосходительство, презрев условности, весь вечер провел у ее ног, шевеля бакенбардами, а господин Бакшт был польщен и вскоре стал предводителем уездного дворянского собрания.

Память играла в последние годы странные шутки с Милицей Федоровной. Она отказывалась удерживать события последних лет и услужливо подсовывала образы давно усопших родственников и приятелей мужа и даже куда более

давние сцены: петербургские, окутанные дымкой романтических увлечений.

В годы революции Милица Федоровна была уже очень стара, и за ней ходила компаньонка из монашек. С тех лет ей почему-то врезалось в память какое-то шествие.

Перед шествием молодые люди несли черный гроб с белой надписью «Керзон». Кто такой Керзон, Милица Федоровна так и не сподобилась узнать.

И еще помнился последний визит Любезного друга. Любезный друг сильно сдал, ходил с клюкой, и борода его поседела. Задерживаться в городе он не смог и вынужден был покинуть гостеприимный дом вдовы Бакшт, не исполнив своих планов.

Появление провала на Пушкинской отвлекло Милицу Федоровну от привычных мыслей. Она даже запомнила, что ровно в три к ней должны были прийти пионеры. Им Милица Федоровна обещала рассказать о прошлом родного города. Задумала этот визит настойчивая соседка ее, Шурочка, девица интеллигентная, однако носящая короткие юбки. Милица Федоровна обещала показать пионерам альбом, в который ее знакомые еще до революции записывали мысли и стихотворения.

Шурочку Милица Федоровна разглядела среди людей, окруживших провал. На зрение госпожа Бакшт не жаловалась: грех жаловаться в таком возрасте.

Потом Милица Федоровна задремала, но сон был короток и непрочен. Нечто необъяснимое волновало ее. Нечто необъяснимое было связано с провалом. Ей привиделся Любезный друг, грозивший костлявым пальцем и повторявший: «Как на духу, Милица!»

Когда Милица Федоровна вновь открыла глаза, у провала уже командовала известная ей Елена Сергеевна Капельская, худая дама, работавшая в музее и приходившая лет десять—пятнадцать назад к Бакшт в поисках старых документов. Но Милице Федоровне не понравились сухость и некоторая резкость в обращении музейной дамы, и той пришлось уйти ни с чем. При этом воспоминании Милица Федоровна позволила улыбке чуть тронуть уголки ее сухих поджатых губ. Раньше губы были другими — и цветом, и полнотой. Но улыбка, та же улыбка, когда-то сводила с ума кавалергардов.

Тут Милицу Федоровну вновь сморила дремота. Она зевнула, смежила веки и отъехала на кресле в угол, в уютную полутьму у печки.

Сиамская кошка привычно прыгнула ей на колени. «В три часа придут... В три часа...» — сквозь дремоту думала Милица Федоровна, но так и не вспомнила, кто же придет в три часа, а вместо этого опять увидела Любезного друга, который был разгневан и суров. Взор его пронзал трепетную душу Милицы Федоровны и наэлектризовывал душный, застойный воздух в гостиной — единственной комнате, оставленной после революции госпоже Бакшт.

4

За те полчаса, что было открыто влиянию жаркого воздуха, подzemелье почти не проветрилось. Вековая прохлада наполняла его, как старое вино. Миша Стендаль оперся на протянутую из тьмы квадратную ладонь экскаваторщика, прижал к груди фотоаппарат и сиганул туда, в неизвестность.

В провале стояла тишина. Тяжелое дыхание людей металось по нему и глохло у невидимых стен.

В голубом овальном окне над головой обрисовывался круглый предмет, превышающий размером человеческую голову. Из предмета донесся голос:

— Ну как там?

Голос принадлежал маленькому директору ремконторы, которого так ловко поставила на место старуха Кастельская из музея. Предмет был соломенной шляпой, скрывавшей лицо Удалова.

— Тут ход есть, — ответил другой голос, в стороне, неподалеку от Миши.

По темноте елозил луч фонарика. Грубин начал исследования.

— Там ход... ход, — шелестом донеслись голоса в толпе наверху. Голоса были далеки и невнятные.

Миша Стендаль сделал шаг в сторону хода, но наткнулся на спину экскаваторщика. Спина была жесткая.

Глаза начали привыкать к темноте. В той стороне, куда двигался Грубин, она была гуще.

— Пошли, — сказал экскаваторщик.

Миша по-слепому протянул вперед руку, и через два шага пальцы уперлись во что-то — испугались, отдернулись, сжались в кулак.

— Тут стена, скользкая, — прошептал Миша. Шепот был приемлемее в темноте.

Толстые, надежные бревна поднимались вверх, под самый асфальт. Комната получалась длинная, потолок к углу провалился. Дальняя стена, у которой стоял Грубин и шарил лучом, была кирпичной. Кирпичи осели, пошли трещинами. Посреди стены — низенькая, перетянутая, как старый сундук, железными ржавыми полосами дверь.

Грубин уже изучил дверь: замка не было, кольцо кованое, но за него тяни не тяни — не поддается.

— Дай-ка мне, — сказал экскаваторщик.

— Нет, — возразил Миша Стендаль. — На это мы не имеем права. У нас нет открытого листа. Надо хотя бы сфотографировать.

Миша Стендаль читал незадолго до этого книгу про то, как была открыта в Египте гробница Тутанхамона. Там тоже были дверь и исследователи перед ней. И момент, вошедший в историю.

— Мы не на раскопках, — возразил Грубин. — Там, может, тоже земля. И конец нашему путешествию.

— Чего уж! — сказал Эрик. — Директорша велела посмотреть, так мы посмотрим. Все равно Удалов своего добьется. Засыплет, и поминай как звали — у него план.

Экскаваторщик присмотрелся к двери.

— Ты фонарь держи покрепче. Не дрожи рукой. Сюда, левее.

Он стал похож на хирурга. Грубин ассистировал ему. Миша Стендаль — студент-практикант, человек без пользы делу.

— Она внутрь открывается, — сказал экскаваторщик. Нашел место, то самое, единственное, в которое надо было упереться плечом, и нажал.

Дверь заскрипела жутко, ушла в темноту, кирпичи зашуршали, оседая, и экскаваторщик — береженого Бог бережет — прыгнул назад, чуть не сбив Мишу с ног. Фонарь погас — видно, Грубин отпустил кнопку, — в подвале возникла грозная тишина, и все были оглушены звоном в ушах.

— Что случилось? — спросил голос сверху. Голос был близок до странности. Вроде бы за эти минуты трое ис-

следователей ушли далеко от людей, а тут, в трех метрах, Удалов задает вопросы голосом тревожным, но обычным.

— Полный порядок, — сказал экскаваторщик. Он бодрился и о прыжке своем уже позабыл. — Свети прямо, — приказал он.

Грубин послушался и посветил.

Экскаваторщик закрыл спиной большую часть двери — всматривался, а Миша Стендаль почувствовал обиду. Он был наиболее исторически образован и морально чувствовал себя вправе руководить поисками. Но экскаваторщик этого не чувствовал, и как-то случилось, что впереди был он. Миша даже сделал шаг, хотел оттеснить экскаваторщика и дать какое-нибудь пусть зряшное, но указание. Тут экскаваторщик обернулся и посмотрел на Мишу. Глаз его, в который попал луч фонаря, засветился желто и недобро.

Миша ощутил внутреннее стеснение и приостановил дыхание. Там, за дверью, могли таиться сундуки с золотом и жемчужными ожерельями, серебряные кубки, украшенные сценами княжеской охоты на буй-туров, булатные мечи-кладенцы и скелет неудачливого грабителя — глазницы черепа черные, пустые... А экскаваторщик сейчас выхватит острый, чуть зазубренный от частого употребления кинжал и вонзит под сердце Стендалю.

Экскаваторщик отнял у Грубина фонарь: так ему было удобнее.

— Тоже комната, товарищи, — сказал он.

Скорчившись вдвое, он перешагнул высокий порог и пропал во тьме.

Грубин с Мишей стояли и ждали.

Изнутри голос произнес:

— Давайте за мной. Не оступитесь.

Вторая комната оказалась меньше первой. Луч фонаря, не успев достаточно расшириться, уперся желтым блюдцем в противоположную стену, порезав по пути светлым лезвием странные предметы и, что совсем непонятно, осветив пыльные гнутые стекла — бутылки, колбы и крупные сосуды темного стекла. Луч метался и позволял глазам по частям обозреть комнату — кирпичную, сводчатую, длинный стол посреди, — а дальний конец комнаты обвален и видится мешаниной кирпичей и железа.

— Типография, — определил Грубин. Помолчал. Подумал. — Может, здесь печаталась «Искра». Или даже «Колокол».

— Печатного станка нету, — резонно заметил экскаваторщик.

— Отойдите, — сказал Миша. — Ничего не трогайте. У меня вспышка. Сделаем кадры.

Послушались. В руках у Миши была техника. Его спутники технику уважали.

Миша долго копался, готовил в темноте аппарат к действию. Эрик помогал, светил начавшим тускнеть фонариком. Потом вспыхнула лампа. Еще раз.

— Всё? — спросил экскаваторщик.

— Всё, — кивнул Стендаль.

— На свет вынуть придется, — сказал Эрик. Он вернул фонарь Грубину, подхватил бутылку покрупнее и понес к выходу.

— Какого времени подвал? — спросил Грубин.

— Трудно сказать, — ответил Миша. — Вернее всего, не очень старый.

— Жаль, — произнес Грубин. — Второе расстройство за день.

— А первое?..

— Первое, когда думал, что землетрясение началось. Так вы уверены, товарищ Стендаль?

— Посуда довольно современная. И книги...

Миша подошел к столу, распахнул книгу в кожаном переплете.

— Ну, скоро? — спросил Эрик. — Там уже заждались.

— Наверху посмотрим, — решил Грубин. Подхватил еще одну бутылку и колбу.

Миша шел сзади с книгами в руках.

Шляпа Удалова отпрянула от провала. Зажмурившись от дневного, неистового сияния, Эрик протянул ему бутылку. Миша стоял в трех шагах сзади. Столб света, спускавшийся в провал, показался ему вещественным и упругим. Экскаваторщик, озаренный светом, был подобен скульптуре человека, стремящегося к звездам. Бутылка надежно покоилась у него на ладонях.

Вместо шляпы в провал спустились сухие руки Елены Сергеевны. Она приняла бутылку. Миша поднял вверх тяжелые фолианты.

— Вот так-то, — проговорил некто в толпе осуждающе. — А он засыпать хотел.

Удалов сделал вид, что не слышит. Он взял у Стендаля книги и положил их на асфальт. Рядом уже стояла бутылка, обросшая плесенью. Сквозь разрывы плесени проглядывала черная жидкость. Другие сосуды тоже встали рядом.

Удалову было холодно. Он даже застегнул верхнюю пуговицу синей шелковой рубашки. Удалова мучила совесть. Когда он вызвал экскаватор для засыпки провала, он действовал в интересах родного города. Его буйное воображение уже подсказывало страшные картины, торопившие к принятию мер и будившие энергию. Одна картина представляла собой автобус с пассажирами, едущий по Пушкинской улице. Автобус ухнул в провал, и только задний мост торчит наружу. А рядом иностранный корреспондент щелкает неустанно своим аппаратом, и потом в обкоме или даже в ЦК смотрят на фото в иностранной газете и говорят: «Ну уж этот Удалов! Довел-таки до ручки городское хозяйство в своем древнем городе!» И качают головами.

Была другая картина — куда более трагичная. Малое дитя в школьном передничке бежит с прыгалками по мостовой. И вокруг летают бабочки и певчие птицы. И ребенок смеется. И даже Удалов, наблюдающий за этой картиной, смеется. И вдруг — черной пастью провал. И отдаленный крик ребенка. И только осиротевшие прыгалки на растерзанном трещинами асфальте. И мать, несчастная мать ребенка, которая кричит: «Ничего мне не надо! Дайте мне только Удалова! Дайте его мне, я разорву его на части!..»

Пока не приехал экскаватор, Удалов неустанно боролся со своим воображением и все оглядывался, не бежит ли ребенок с прыгалками, не виден ли иностранный корреспондент, которому здесь делать нечего.

Удалов верил, что в провале ничего не обнаружится. Сколько их было на его памяти, и ничего не обнаруживалось. Он и причуды Кастельской не принял всерьез. Просто не стал воевать с общественностью. Накладно. Все равно засыплем. Все провалы — и тот, у архиерейского дома, и тот, что был на строительстве бани, и тот, у мясокомбината, — все они вызывали оживление в районном музее, даже в области. Но Удалову и городским властям никакой радости — провал не запланируешь. В провале есть что-то постыдное для хозяй-

ственного работника — стихия мелкого порядка, пакостная стихия.

Теперь у ямы стояли бутылки. И книги. И были они не только прошлым — будущим тоже. Будущим, в котором имя Удалова будут склонять работники культуры вплоть до Вологды и корить за узкоглядство. Он даже слово такое знал — «узкоглядство». Так что надо было спасти положение и руководить.

— Много там добра? — спросил Удалов, приподнимая шляпу и показывая щенячий лоб с залысинками.

— Целая лаборатория, — ответил из-под земли экскаваторщик, который уже забыл о своей первоначальной задаче — переметнулся.

— Стоит законсервировать находку, — отозвался Миша из-за спины экскаваторщика. — Пригласить специалистов из области.

— Ошибка, — трезво рассудил Удалов. — Специалисты у нас не хуже областных. У нас есть, товарищи, Кастельская!

Последнее слово он произнес громко, будто ждал аплодисментов. И удивительное дело — есть такая особенная интонация, которую знают люди, поднаторевшие в речах, и эта интонация заставляет присутствующих сложить ладони одна к другой и бессознательно шлепнуть ими.

При слове «Кастельская» в толпе раздались аплодисменты.

Удалов потаенно улыбнулся. Он овладел толпой. Положение спасено. Подвал будет засыпан.

Елена Сергеевна в любом другом случае на такой ход не поддалась бы. Отшутилась бы, съязвила — она это умела делать. Но тут, пока стояла и ждала, что найдут, пока смотрела на принесенные вещи, поняла — нет смысла начинать войну с Удаловым. Вещи были не бог весть какими древними.

— Сейчас мы, товарищи, под наблюдением Елены Сергеевны спасем культурные ценности и отправим их в музей. Правильно?

— Правильно, — сказали слушатели.

— Ну, где у нас культурная ценность номер один?

Корнелий посмотрел на большую бутылку и поймал себя на жгучем желании наподдать ногой по ценности номер один. Даже захотелось сказать народу, что все эти штуки — дореволюционная самогонная мастерская. Но Удалов сдержался.

Исследователи подземелья, прослушав речь Удалова, пошли снова в дальнюю комнату выносить остальные вещи. Удалов послал гонцов в универмаг за оберточной бумагой. Елена Сергеевна присела на корточки и подняла одну из книг. Осторожно, поддев ногтем, открыла ржавые застёжки переплета и перевернула первый лист.

Зрители склонились над книгой и шевелили в два десятка губ, разбирая ее название.

5

Милица Федоровна проснулась. Ее томило предчувствие. В виске по-молодому тревожила-билась жилка. Что-то произошло за минуты сна. Каретные часы Павла Буре показывали три. Альбом в сафьяновом переплете лежал на столе, был приготовлен для чего-то. Сквозь стекло, с улицы, прилетали обрывки голосов. Надо было вернуться к окну. Тогда мысли проснутся, как проснулось тело, и все встанет на свои места. Потревоженная кошка удивилась резвости движений хозяйки. Портреты знакомых, акварели и желтые фотографии взирали на Милицу Федоровну равнодушно или враждебно. Одни умерли давно, другие не простили госпоже Бакшт завидного долголетия.

Розовая подушечка ждала на подоконнике. Милица Федоровна уперла острый локоток и выглянула между горшками. На улице мало что изменилось. Толпа поредела. Перед Еленой Сергеевной Кастельской стояли на асфальте какие-то предметы и бутылки старинного вида. Сама же музейная дама на корточках, в непристойной возрасту позе, листала трепаную книгу.

Значит, подвал не пуст. В подвале оказались находки. Милица Федоровна заставила себя задуматься. В мозгу вздрогнули склеротические сосуды, живее побежала кровь, и по дому разнесся тихий треск — будто заводили бронзовым ключиком старые часы.

Куда вел ход из того подвала? Ведь не с улицы заходили в него?.. К отцу Серафиму? Нет, дом его, пока не сгорел, стоял в глубине, за кустами персидской сирени. Может, в дом, соседний с бакштовским, по той же стороне? И того быть не могло — там испокон веку был лабаз. Мо-

жет, во флигель? Там были зеленые ставни с прорезями в виде сердец. И что-то еще связано с флигелем...

— Милица! — Мужской голос возник от двери, голос знакомый и вечно молодой. — Не пугайтесь. Вы узнаете меня?

— Я не пугаюсь, друг мой, — ответила Милица Федоровна, стараясь обернуться. Ответила степенно и тихо. — Я отвыкла пугаться. Подойдите к свету.

Старик подошел поближе к окну. Он тяжело опирался на суковатую палку из самшита. Борода седая, в желть, недавно подстрижена. Грубый запах одеколона «Шипр», запах дешевой парикмахерской, разнесся по комнате, чужой другим, обжившимся здесь запахам. Те, родные — нафталиновый, ванильный, шерстяной, камфарный, — толкали пришельца, гнали его, но шипровый нагло занял самую середину комнаты.

— Простите, Милица, — сказал старик. — Я сейчас из парикмахерской.

— Давно у нас, Любезный друг? — спросила Милица Федоровна. Она протянула старику тонкую, изящную, хоть и опухшую подагрически в суставах руку.

Старик оперся покрепче о палку, нагнулся и поцеловал пальцы.

— Сдал я, — сознался он, распрямляясь. — Сильно сдал.

— Садитесь, Любезный друг, — предложила Милица Федоровна. — Там стул есть.

— Спасибо. Я с черного хода пришел. Задами. Не хотел встречать людей.

— Надолго к нам?

— Не скажу, Милица. Сам не знаю. Если то дело, что ранее не совершил, удастся — может, задержусь. А то помирать придется.

— Не говорите о смерти, — запротестовала Милица. — Она может услышать. Мы слишком слабо связаны с жизнью. Нить тонка.

— Пустое, — проговорил Любезный друг. — Вами, Милица, движет любопытство. Это значит — вы еще живы.

— Там странное, — объяснила Милица Федоровна. — Провалилась мостовая. Волнуются, бегают.

— Суета сует, — заметил старик. — Сколько я вас не видел? Лет пятьдесят.

— Вы опять за свое.

— Я и прям неделикатен. И жизнь меня ожесточила. Пятьдесят лет — большой срок.

Милице Федоровне не хотелось расспрашивать гостя о том, что произошло с ним за эти годы. Для нее они протекли однообразно. Одиноко. Иногда голодно. Последнее время — лучше. Соседи выхлопотали старухе пенсию. Нет, лучше не расспрашивать. Пусть будет встреча, хоть и долгожданная, без времени, вне его пут и шагов.

Старик осмотрелся. Портреты узнали его. Он их признал тоже. Кивнул вежливо. Те в ответ закивали, взмахнули бакенбардами, бородами, усами, многократно улыбнулись знаменитой улыбкой Милицы, пожали обнаженными плечами, качнули локонами и кудрями...

Милица смотрела на него, узнавала то, что уже скрылось под сетью морщин. Предчувствия и сны указывали верно — Любезный друг пришел.

— Откройте форточку, — попросила Милица, стесняясь своей немощи. — Мне душно. А встаю редко. Весьма редко.

Старик встал, подошел к окну. Был он высок. Взглянул, открывая форточку, на улицу, вниз, увидел дыру в асфальте и книги рядом. И бутылки с ретортами.

— О боже! — воскликнул он. Воскликнул, как человек, к которому смерть пришла за час до свадьбы.

Старик вцепился в раму, и узловатые пальцы заметно побелели. Ноги не держали его.

— Что с вами? — спросила Милица, не поняв причины смятения. — Вам плохо?

Старик не смотрел на нее.

— Ничего, — ответил он. — Это пройдет. Все пройдет.

— Кстати, — проговорила успокоенная Милица Федоровна, которой знакомы по себе были приступы слабости и удушья, — куда бы мог вести ход из этого подвала?

— Куда?

— Ну конечно. Я сначала подумала — не в дом ли отца Серафима? Вы помните отца Серафима? Он страшно пил, когда дом у него сгорел. Нет, думаю, не туда. Тот дом в глубине стоял. Еще колонны были покрашены под мрамор. И лабаз рядом. Зачем лабазу такой подвал?.. Может, в лабаз?

— Не в лабаз, — прохрипел старик. — Не в лабаз. Какой еще лабаз? Ход к вам шел во флигель. Господи, несчастье-то какое.

«Правильно, — резонно подумала Милица Федоровна. — Конечно, выход из подвала должен быть под флигелем». Но она такого не помнит. Совсем не помнит. Запомняла. А может, и не знала о подвале.

А Любезный друг сердился. Глаза его увеличивались, росли и гневались. И он взлетел под потолок, и оттуда грозил сухим пальцем, и говорил беззвучно...

Это Милице Федоровне уже снилось. Она задремала. Старик не взлетал и не грозил пальцем. Он стоял, приклонившись лбом к стеклу, и тяжело стонал.

6

Елена Сергеевна задерживалась. Шурочка отвечала на Ванины вопросы, и было это подобно клубку — ниточка тянулась, вопрос за вопросом, и смысла в них не заключалось. За беготней Шурочка чуть не забыла — обещала с пионерами пойти на экскурсию к старухе Бакшт.

Кукушка нехотя выползла из деревянных ходиков и два раза скрипнула, не раскрывая клюва. На третий раз ее не хватило. Стрелки стояли на трех без пяти. А Елены Сергеевны все не было.

В магазине Шурочку отпустили после обеда. Там не хватает. Но пионеры ждут.

— Пошли погуляем, Ванечка, — сказала Шура, подлизываясь. (Ванечка мог и не пожелать.) — Может, бабушку найдем:

Шурочка убедила Ваню надеть панаму. Ваня потащил за собой танк на спичечных коробках — согласился гулять на таких условиях.

На мосту через Грязнуху Шурочку с Ваней обогнали знакомые из речного техникума. Дюжие мальчишки на велосипедах. Ехали с купания и потому были бодры. Увидев Шурочку, стали делать вид, что Ваня — ее сын, отчего очень развеселились. Шурочка обиделась на грубые шутки, Ваня испугался, захотел вниз к речке — посидеть на берегу. Он бил каблуками по бульжникам и упирался. Речникам надоело шутить на жару, они нажали на педали. Один отстал, обернулся, сказал, что купил два билета в кино, на девять, и будет ждать. Шурочка почти не слушала. Она уговаривала Ваню.

— Ванечка, — говорила она, — пойдём к бабушке. Я тебе конфетку дам, «Золотой ключик».

— Нельзя мне конфеты... — канючил Ваня. — Я хочу ананас. У меня коренной зуб болит...

— А мы сейчас посмотрим твой зуб, — слышался добрый голос сзади. — И может, даже вырвем его с корнем.

Провизор Савич поравнялся с ними. Он возвращался с обеда в аптеку.

— Я за Елену Сергеевну посидеть взялась, — сказала Шурочка. — А она не идет.

Савич посмотрел на внука Елены Сергеевны и пожалел, что нет с собой конфеты или другого предмета, которые обычно дарят детям. У него детей не было, а могли бы быть внуки.

— Я хочу золотую рыбку поймать, — сообщил Ваня, не испугавшись доктора.

— Золотая рыбка достаётся трудом, мальчик, — произнес Савич. Он не умел говорить с детьми.

— Я буду с трудом, — согласился Ваня.

Шурочка воспользовалась разговором и сдвинула Ваню с места. Савич шел рядом и старался по-свойски говорить с ребенком, но отвечал невпопад. Провизор в это время думал о жизни, которая не удалась.

От снесенных торговых рядов осталась башня с часами. Сначала ее использовали как каланчу, а потом пристроили четырехэтажный дом для исполкомовцев и прикрепили электрические часы, что висят на столбах в больших городах, — круглые и неточные. Часы показывали десять минут четвертого.

— Ой! — испугалась Шурочка. — Нас пионеры ждут. Мы побежали...

Ваня бежать согласился: Савич ему надоел. Шурочка с Ваней побежали к школе, и за ними по пустой горячей мостовой запрыгал танк, сделанный из тома «Современника» и спичечных коробков. Один из коробков вскоре оторвался и остался лежать на мостовой. Провизор поднял его. Повертел рассеянно в пальцах. На коробке было изображено дерево без листьев и написано: «Себялюбивый человек засыхает, словно одинокое бесплодное дерево. Тургенев».

Шурочка увлекла Ваню в переулок. У новой кирпичной школы стоял дуб. Дуб был очень стар. Завуч школы любил

повторять древнее предание о том, как землепроходец Бархатов, перед тем как уйти открывать левые притоки Амура, посадил дуб в родном городе. Завуч сам это предание и выдумал. Новому директору музея оно нравилось. Он надеялся найти ему документальное подтверждение.

В тени дуба маялись шесть пионеров из исторического кружка. Летом кружок не занимался, но Шурочка разыскала его активных членов, оставшихся в городе, и уговорила пойти к старухе Бакшт.

Стояла жара, и пионеры беспокоились. Они любили историю, но им хотелось купаться.

Золотая челка Шурочки Родионовой прилипла ко лбу. Рядом семенил дошкольник.

Пионеры зашевелились и достали записные книжки.

— Пошли, ребята, — сказала Шурочка, — а то опоздаем.

Пионеры нехотя выползли на солнцепек.

Путь их лежал мимо провала, и потому начало экскурсии пришлось отложить еще на несколько минут. Пионеры влились в толпу у ямы, через минуту были уже в курсе всех событий, и Шурочка, даже если захотела бы увести их в дом к Бакшт, не смогла бы этого сделать.

Удалов под наблюдением Елены Сергеевны заворачивал в оберточную бумагу принесенные вещи. Эрик с Грубыным вынимали из подземелья последние предметы, Миша Стендаль принимал их, складывал на асфальт.

Пахло одеколоном «Шипр». Запах испускал высокий костлявый старик с желтоватой, недавно подстриженной бородой. Старик нервничал, ломал корявые пальцы.

Провизор Никита Савич, обогнавший Шурочку, увидел Ваню и вернул ему спичечный коробок.

— Баба, — сказал Ваня, — пошли домой.

— Ты что тут делаешь? — удивилась Елена Сергеевна. — Где Шурочка?

— Я здесь, — откликнулась Шурочка. — Я беспокоиться начала, куда вы пропали, но потом пошла с Ваней и вспомнила: у меня экскурсия и пионеры ждут, и мы пошли в школу и зашли к вам.

Ваня тем временем заинтересовался дыркой в земле, подошел поближе, нагнулся и свалился в провал. Толпа ахнула.

Но с Ваней ничего страшного не случилось. В этот момент кверху поднимался стул. Ваня встретился с ним на

полпути, упал на него и через несколько секунд уже вернулся на поверхность.

Однако его падение послужило завязкой других событий.

К провалу бросились провизор Савич, старик, пахнувший одеколоном «Шипр», Миша Стендаль и Удалов, который понял, что его видение оказалось вещим. Четверо столкнулись над провалом и помешали друг другу подхватить ребенка. Удалов, самый несчастливый, натолкнулся на старика, потерял равновесие и кулем свалился вниз.

В замешательстве, вызванном возвращением Вани и исчезновением Удалова, старик с палкой неожиданно подхватил одну из бутылей, отбросил самшитовую палку и, взметывая колени, побежал по улице.

Елена Сергеевна прижимала к груди ничуть не испуганного Ваню. Она этого не видела.

Провизор Савич хотел было крикнуть: «Стой!» — но счел неудобным. Только Миша Стендаль, быстро сообразивший, что к чему, бросился вслед. Старик нырнул за угол.

За углом был двор. Во дворе стояла бутылка. Старик прислонился к стенке. Он дышал редко, втягивая воздух, как чай — с хлюпаньем.

— Возьмите, — сказал он. — Я пошутил. Только не разбейте.

Стендаль все-таки сделал шаг к нему, не к бутылке. Бутылка сама не уйдет.

— Не трогайте меня, — произнес старик строго. — Возьмите бутылку и идите обратно.

В глазах старика вспыхнули яростные огни, и Стендаль не посмел слушаться.

Он обнял бутылку, тяжелую и согревшуюся под солнцем. Повернулся и шагнул за угол. И встретил остальных преследователей. Он шел быстро, решительно, и никто не подумал, что преступник не задержан. Люди послушно последовали за бутылкой. Так и вернулись к провалу.

Тем временем Грубин и экскаваторщик вытащили Удалова, у которого была повреждена рука. Первую помощь ему оказали в аптеке.

Добычу понесли в музей. Идти недалеко, и помощников достаточно: впереди шла Елена Сергеевна, вела за руку Ваню и несла одну из книг, потоньше прочих, порастрепаннее. За ней Миша Стендаль с двумя бутылками. Темная

жидкость полоскалась в них и раскачивала Мишу. Фотоаппарат бился между бутылками и стучал в грудь.

Потом шли пионеры с Шурочкой во главе. Каждому досталось по находке. Последним шел экскаваторщик Эрик и нес стул.

Музей был заперт по случаю выходного дня. Но сторожиха вышла с ключами — она хранила верность старому директору, хотя и дотошной, но образованной.

Елена Сергеевна прошла прямо в кабинет директора. Там всё и сложили частично на пол, частично на кожаный диван для посетителей из области.

Когда все ушли, Елена Сергеевна уложила Ваню на диван, подвинув находки, а сама провела еще час, проглядывая книги и разбирая надписи на бумажках, приклеенных к бутылкам костяным клеем. Потом две малые бутылки заперла в сейф, а с собой взяла потрепанную тетрадку.

Ваня все время хныкал, требовал мороженого. Елена Сергеевна была задумчива, вспоминала прочитанное, недоуменно покачивала головой.

Удалову Савич наложил шины и спросил, дойдет ли он сам до больницы сделать рентген. Но Удалову стало совсем худо. Он лежал в комнате, где делают лекарства. Обе молоденькие помощницы Савича ему сочувствовали, и одна принесла воды, другая приготовила шприц — сделать обезболивающий укол. Но Удалова это внимание не трогало. Его мучило от аптекарского запаха, который ни девушки, ни провизор не замечали, привыкли. Грубин рассматривал химикалии, запоминая на будущее, что есть в наличии: может, когда-нибудь пригодится.

Савич позвонил по телефону, и приехала «скорая помощь». Приехала с опозданием — пришлось объезжать по переулкам: провал мешал движению.

Удалов все порывался отдать распоряжения, но голос ему отказывал. Ему казалось, что он говорит, но окружающие слышали только невнятные стоны и послушно кивали, чтобы успокоить больного. Корнелию, отуманенному уколом и дурнотой, чудилось, как не засыпанный вовремя провал начинает осыпаться с краев и поглощать дома. Вот уполз внутрь универмаг, и через черный ход выскакивают продавщицы во главе с Вандой Казимировной. И пытаются спасти некоторые товары из ювелирного отдела. За универмагом —

Корнелий увидел это явственно — уползает в глубь земли церковь Параскевы Пятницы (слава богу, что хоть покрасить не успел), архивные материалы, сметенные катаклизмом, вырываются из узких окон и взлетают белыми лебедями в гусярское небо. А навстречу архиву в пропасть едет речной техникум. Толстостенные монастырские здания сопротивляются земному тяготению, гнутся на краю. Дюжие мальчишки, взявшись за канаты, стараются помочь своим общежитиям и классным комнатам, но все без толку — как нитки, рвутся канаты, бегут врассыпную мальчишки, и монастырь, вплоть до золотых куполов, проваливается в бездну.

Тут Корнелий Удалов потерял сознание. Грубин проводил носилки с Удаловым до «скорой помощи», попрощался с провизором и его помощницами, велел врачам активнее бороться за жизнь и здоровье больного, потом пошел домой.

Первое дело было самым тяжелым — рассказать жене соседа о беде.

Грубин постучал к ней в дверь.

— Ну как? — спросила Ксения Удалова, не оборачиваясь. Она была занята у плиты, готовила обед. — Обменяли?

— Корнелий в больницу попал, — без подготовки сказал Грубин. — Да!

Жена Корнелия уронила кусок мяса мимо кастрюли, прямо в помойное ведро.

— Что с ним? Я не переживу, — прошептала она.

— Ничего страшного, — смягчил удар Грубин, — руку вывихнул. Максимум — трещина в кости.

Жена Корнелия смотрела на Грубина круглыми злыми глазами — не верила.

— А почему домой не пришел? — спросила она.

— Ему в больницу пришлось идти. Может срастись неправильно. Но врачи обещают — все обойдется.

Жена Корнелия все не верила. Она сняла фартук, бросила на пол, и фартук мягко опустился вниз, храня форму ее объемистого живота. Она наступала на Грубина, как пума, у которой хотят отнять котенка, будто Грубин во всем виноват. Мысли ее были сложными. С одной стороны, она не верила Грубину, думала, что хочет успокоить, а в самом деле Удалову плохо, очень плохо. Но тут же, зная мужа, она предполагала заговор: пребывание Удалова в пивной или,

того хуже, в вытрезвителе. Такого с Удаловым не случилось, но случиться должно было обязательно в силу его невезучести.

— Где он? — требовала она.

И Грубин не верил глазам своим. Еще вчера вечером была она добра к нему, стучалась в холостяцкую комнату, звала пить чай.

— В городской больнице, — сказал Грубин быстро, мотнул шевелюрой, шмыгнул к себе, двери захлопнул и прислушался — не рвется ли?

Не рвалась. Выскочила во двор и побежала к больнице. Грубин снял черный пиджак, постоял немного, держа его на вытянутой руке. От пиджака веяло жаром, исходил пар. В шкафу скреблись.

— погоди. — Грубин положил проветренный пиджак на аквариум. Достал ключик, отворил шкаф.

Ворон вышел на пол, застучал когтями, разминаясь, расправил крылья, поглядел зло на аквариум и по-куриному протрусил к старому кожаному креслу с вылезавшими пружинами.

Кресло, как и многое другое в комнате Грубина, досталось ему почти задаром, через лавку вторсырья, которой он заведовал. Любая вещь, кроме микроскопа, стоявшая, лежавшая либо валявшаяся в углу, была добыта им по случаю и могла похвастаться длительной историей.

Взять, к примеру, кресло. Пружины его были сломаны от излишнего пользования, торчали опасно. Один подлокотник был начисто лишен кожи, второй — цел. Очевидно, владелец любил опираться на локоть. Еще были два пореза на сиденье, будто кто-то вспарывал кресло саблей, да сквозные отверстия в спинке. Может быть, стреляли в спину сидевшему. Картину дополняли всевозможные пятна, от чернильных до яичных, разбросанные в различных местах.

Ворон метко вспрыгнул на кресло, чтобы не напороться на обломок пружины, нахохлился.

Ворон был обижен недоверием.

— Хочешь погулять? — спросил Грубин.

Он подошел к окошку и открыл его.

Ворон еще с минуту крепился, обижался. Потом прыгнул на подоконник. И улетел.

— Ну ладно. — Грубин заткнул за пояс голубую майку. Идти на рынок, открывать лавку, принимать от населения бутылки и вторичное сырье не хотелось. День вышел увлекательный.

Грубин поднял ногу, повозил ею о другую, стаскивая ботинок. Повторил операцию со вторым ботинком. Со двора в комнату плыли истома и медовый запах лип. Грубин улегся на кровать с никелированными шарами на спинке, но спать не стал — смотрел, как на захламленном верстаке крутится, поскрипывает вечный двигатель. Маленький, опытная модель. Двигатель крутился второй месяц, только в плохую погоду отсыревал, и его приходилось тогда подталкивать рукой.

Грубин был доволен жизнью. Она ничего не требовала от него, но оставляла время для невинных удовольствий и рукоделий.

7

Шурочка подвела пионеров к комнате Милицы Федоровны Бакшт. С ними увязался Миша Стендаль. Пришлось и его взять. Постучала осторожно. Знала, что у старухи слух хороший. Если не спит, откроет. Прислушалась. Ей показалось: за дверью голоса, шепот, шаги. Потом стихло.

— Сейчас, — сказала за дверью Бакшт. — Входите.

Все в комнате как прежде: та же застойность замкнутого воздуха, те же акварели и гравюра на выцветших обоях, банки с дремучими цветами на подоконнике, в углу фикус в расползшейся кадке. Милица Федоровна сидит за круглым столом. На скатерти, темно-зеленой, чуть тронутой молью, альбом в красном сафьяновом переплете с золотыми застежками в виде львиных голов.

Милица Федоровна выглядела странно. Она будто потеряла долю своей царственности, обмякла, сломалась. Редкие белоснежные волосы, сквозь которые просвечивала розовая сухая кожа, чуть растрепались на висках, чего никогда ранее не было. Пергаментные щеки были в пятнах, темных, почти красных.

— Извините, — сказала Шурочка. — Мы к вам пришли, как договаривались. Вы нам рассказать обещали.

— Помню. — Бакшт кивнула. — Пусть дети войдут.

Дети вошли, поздоровались. Старуху Бакшт они раньше не видели и удивились, что бывают такие старые люди. Голова Милицы Федоровны совсем ушла в плечи, руки раскинулись и лежали на столе будто чужие, неживые. Нос спустился к верхней губе, и даже на нем были глубокие морщины. Только глаза, большие, серые, в темных ресницах, разнились от остального.

— Садитесь, — предложила Милица Федоровна. — Ведите себя тихо и не курите.

— Не курю, — сказал Стендаль, потому что Шурочка посмотрела на него строго.

— Я не могу уделить вам время, коего вы бы желали, — продолжала старуха. — Посмотрите мой альбом. Подойдите к столу, не робейте.

В комнате произошло движение, воздух качнулся, запахи шафрана, камфары, ванили перемешались между собой, и к ним прибавился выскочивший из-за ширмы запах одеколона «Шипр».

Стендаль потянул носом, посмотрел на ширму. Из-под нее были видны носки мужских сапог. Знакомые носки. Сапоги принадлежали старику похитителю. Но Миша ничего резкого предпринимать не стал. Пока дети склонялись над альбомом, начал незаметно передвигаться к ширме.

— На этой фотографии, — говорила размеренно старуха, — изображена я в форме сестры милосердия.

— До революции? — спросил рыженький пионер.

— Да, в Севастополе.

Значение этих слов ускользнуло от пионеров. Шурочка удивилась. Она этот альбом раньше не видела. Средних лет женщина в длинном белом платье и наколке на голове стояла на фоне мешков с песком, окружавших старинную пушку. По обе стороны ее — офицеры в высоких фуражках. Лицо одного было чем-то знакомо...

— Кто это? — спросила Шурочка.

— Один знакомый. Не помню уж сейчас, как его звали, — сказала Бакшт. — Кажется, Левочкой.

Стендаль продолжал движение к ширме. Он наступал на носки и только потом опускал пятки. Пока его движение не было замечено.

— А тут стихи поэта Полонского. Вы, очевидно, не знаете такого. Это был отличный поэт. Сам государь император высоко о нем отзывался. Стихи были посвящены хозяйке дома.

Милица Федоровна начала читать их на память, и пионеры следили за ней по тексту. Читала она правильно.

До ширмы оставалось метра полтора. Носки зашевелились и отступили вглубь. Облезлая серая кошка выскочила из-под ширмы и бросилась на грудь Стендалю. Миша от неожиданности отскочил. Чуть не свалил фикус.

— Господи! Что происходит? — закричала молодым голосом Милица Федоровна.

— Кошка, — объяснил Стендаль.

— Вернитесь немедленно сюда, — велела Милица Федоровна. — В ином случае я буду вынуждена указать всем на дверь.

— Я ничего, — смутился Стендаль. — Мне показалось.

— Миша! — строго произнесла Шурочка.

В комнате наступил мир. Стендаль вернулся к столу.

Он тоже стал смотреть альбом, но глазом косил на ширму. Кошка улеглась старухе на колени и тоже косила глаза — на Мишу. Как бы угрожала.

— А теперь обратимся к моей молодости, — предложила Бакшт. Она торопилась, волновалась. Говорила громко.

На следующей странице была нарисована акварелью девушка в платье с глубоким вырезом на груди.

— Это я, — сказала Милица Федоровна. — В бытность мою в Санкт-Петербурге. А эти стихи написал мне в альбом Александр Сергеевич Пушкин. Он танцевал со мной на балу у Вяземских.

Пионеры, Шурочка и Стендаль замерли как пораженные громом. Старуха сказала эти слова так просто, что не оставалось места для недоверия. Страница была испещрена быстрыми летучими буквами. И внизу была подпись: «Пушкинъ».

В этот момент из-за ширмы быстро вышел старик с желтоватой бородой и, в два шага достигнув двери, исчез за нею, унеся с собой настойчивый одеколонный запах. Никто не заметил его. Даже Стендаль. Только сямская кошка проводила его разными глазами: один — красный, другой — голубой.

Вечер, пожалев измученный жарой и происшествиями город, выполз из-за синего леса, отогнал солнце к горизонту и принялся играть красками заката. Пыль отсвечивала розовым, дома порозовели, зазолотились стекла. Лишь провал оставался черным на сизом асфальте. Вокруг уже было надежное ограждение: веревки на столбиках. Все смягчилось — и воздух, и люди. Кто шел в кино или просто погулять, останавливались у провала, распространяли различные слухи о сказочных находках, сделанных в нем.

Рассказывали об одном экскаваторщике, унесшем втихомолку золотую цепь в два пуда весом, и хвалились знакомством с ним. Указывали на следователя, что гулял с женой по Пушкинской, уверяли, что не гуляет, а выслеживает. Экскаваторщику сильно завидовали, но надеялись, что его поймают и дадут по заслугам.

Удалов лежал у окна в небольшой палате. Боль в руке утихла. Грубин угадал — оказалась трещина. Хоть в этом повезло. Обещали завтра отпустить домой. Прибегала жена. Сначала беспокоилась, сердилась, потом оттаяла, принесла из дома пирог с капустой. Перед уходом постояла у окна, подержала мужа за здоровую руку.

Прибегал сын Максимка, приводил друзей из школы, хвастался отцом в больничном окошке.

Проходившие люди кивали, здоровались. Удалову внимание надоело, он отодвинулся от окна, подогнув ноги и переложив подушку на середину кровати. Он не знал, что его имя также склоняют в связи с сокровищем. Одни говорили, что Удалов пострадал, задерживая человека с золотой цепью.

Другие — что старался убежать вместе с преступником для дележа добычи, но оступился.

Пришел к провалу и провизор Савич. Посмотрел в непроглядную глубину и решил все-таки зайти в гости к Елене. Давно не был. Домой ему идти не хотелось.

Пока Савич добрался до Кастельской, наступили сумерки. Первые фонари зажелтели по улицам. В окне Елены горел свет. Она читала. Савич вдруг оробел.

Напротив, у автобусной остановки, стояла скамейка — чугунные ножки в виде лап. Савич сел, сделал вид, что

поджидает автобус, а сам повторял мысленно речь, которую произнес бы, если бы набрался храбрости и вошел к Елене.

Он сказал бы: «Елена, сорок лет назад мы не закончили разговора. Я понимаю, дело прошлое, время необратимо. Где-то на перекрестке мы избрали не ту дорогу. Но если, Елена, ошибку нельзя исправить, в ней стоит хотя бы признаться».

Темнело медленно, и небо на западе было зеленым. Дюжий мальчик из речного техникума не дождался Шурочку на девятичасовой сеанс, продал лишний билет и пошел один. И пил с горя лимонад в буфете.

Удалов поужинал без аппетита и задремал, обдумывая один план.

Старухе Милице Федоровне Бакшт не спалось. Она достала трость, с которой выходила в собес или на рынок, накинула кашемировую шаль с розами темно-красного цвета и пошла погулять. По пути раздумывала, не совершила ли ошибки, показав автограф Пушкина пионерам. Но дело шло о ее женской чести — Любезному другу надо было уйти незамеченным.

Грубин проснулся, покормил рыбок, потушил свет и отправился проведать соседа, Корнелия Удалова.

Ванда Казимировна, директор универмага и супруга Савича, съела в одиночестве остывший ужин, взгрустнула и стала мучиться ревностью.

Совсем стемнело. Над лесами собралась гроза, и зарницы вырывались из-за гребенки деревьев, будто злоумышленник сигналил фонарем.

Удалов шептался с Грубиным, стоявшим под окном больницы. Удалов решил убежать и ждал удобного момента. На завтра ему вновь собирались делать рентген и процедуры — он их боялся. Было и другое соображение. Кончался квартал — надо срочно покончить с провалом и другими недостатками. Удалов сильно рассчитывал на премию.

Сторожиха музея проверила, заперты ли все двери-окна. Посидела на лавочке под отцветшим кустом сирени, но комары скоро прогнали ее в дом. Она вздохнула, перекрестилась на здание городского архива и ушла.

На реке было тихо, и ее лента с черными полосками заснувших барж была чуть светлее синего неба.

Во двор музея вошел старик с тяжелой палкой. Запах одеколona отпугивал комаров, те кружили, кричали комариными тонкими голосами, сердились на старика, но сесты не осмеливались. Старик медленно поднялся по лестнице на крыльцо, не спешил, утихомиривая скрип ступенек. Прислушался у двери, рассеянно водя пальцем по стеклянной вывеске «Городской музей».

Из парка долетало буханье барабана — играли вальс «На сопках Маньчжурии». Никого.

Старик вынул из кармана отмычку и принялся елозить ею в солидном музейном замке. Замок долго сопротивлялся — старый был, надежный, — но поддался, оглушительно щелкнул. От замочного звука заахали, замельтешили окрестные собаки. Старик поглядел на дверь сторожки — нет, сторожиха не беспокоилась. Старик снял замок, положил осторожно на перила и потянул на себя дверь, обшитую коленкором. Тянул и ждал скрипа. При скрипе замирал, потом снова на полвершка оттягивал дверь на себя. Наконец образовалась щель. Старик просунул вперед палку, потом сам проскользнул внутрь с ловкостью, неожиданной для своего возраста. Прикрыл за собой дверь. Прислонился к ней широкой сгорбленной спиной и долго хрипел — отдыхал от волнения.

Сначала старик сделал ошибку — отправился в музейные фонды. Он знал расположение комнат. В темноте спустился вниз, в полуподвал, поработал отмычкой над фондовой металлической дверью — торопился и потратил на открывание минуты три. Анфилада фондовых комнат тонула во тьме. Старик вынул из кармана тонкий, с авторучку, фонарик и, прикрывая его ладонью от окон, медленно прошел по комнатам.

Портреты уездных помещиков в золотых багетах глядели со стен, разрозненные гарнитуры, впритык друг к другу, заполняли комнаты. В шкафах таились выцветшие сарафаны, купеческие платья и мундиры городских. Керосиновые лампы с бронзовыми и фарфоровыми подставками тянули к потолкам пыльные фитили, и давно остановившиеся позолоченные часы — пастух и пастушка — поблескивали под случайно упавшим лучом фонарика.

В фондах не было того, что искал старик. Он вышел, закрыл за собой дверь — запирать не стал: времени нет — и остановился в задумчивости. Куда они могли все спрятать?

Потом крякнул: как же раньше не догадался? И поспешил, постукивая палкой, в кабинет директора на втором этаже.

На этот раз он не ошибся. Три бутылки и колба стояли на столе, рядом с макетом памятника землепроходцам. И две книги. Еще книги и пустые реторты лежали на черном кожаном диване.

Движения старика приобрели силу и уверенность. Он ощупывал бутылки, светил им фонариком в бока, угадывая жидкость по цвету. Одну бутылку раскупорил и понюхал. Сморщился, как от доброго табаку, чихнул и заткнул снова резиновой пробкой. Перебрал книги на диване. Одну реторту, с порошком на дне, положил осторожно за пазуху. Еще раз пересмотрел бутылки и книги.

Никак не мог найти чего-то крайне нужного, ценного, ради чего пришел сюда в такой час.

Старик тяжело вздохнул и остановился в задумчивости у сейфа. Сейф вызывал в нем подозрения. Двух бутылок не хватало. Старик с минуту постоял, раздумывая: почему пропали именно те две бутылки? Ему вдруг захотелось, чтобы их в сейфе не оказалось, ибо если они отделены от остальных, значит, кто-то разгадал, хотя бы частично, его секрет.

Сейф сдался через двадцать минут. На верхней полке его лежали музейные важные дела, ведомости членских взносов, печать и менее нужные бумаги. На нижней полке — две небольшие бутылки. Старик угадал, и правильность догадки его не обрадовала. Тем более что отсутствовала одна вещь, наличие которой было необходимо для успеха предприятия. И он начал догадываться, куда она могла деться.

Старик медленно и грустно спустился по лестнице, утопив бутылки в обширных карманах. Забыл, что находится в музее нелегально, широко распахнул входную дверь. Дверь взвизгнула петлями. Старик не слышал визга. Он думал. Дверь гулко захлопнулась. Внизу под лестницей поджидала перепуганная сторожиха, прижав к губам милицейский свисток.

Старик не сразу заметил сторожиху. Из задумчивости его вывел свист, короткий, захлебнувшийся, — сторожиха оробела и не смогла толком дунуть. Рука дрожала, свисток молотил по зубам.

— Ты что здесь делаешь? — спросил старик, все еще думая о другом. — Ты зачем здесь? — повторил он с пристрастием.

— Батюшки! — Сторожиха отступила назад, топча музейную клумбу. — Туда же нельзя. Музей закрыт.

— А я в музей не собираюсь, — возразил старик. Он пришел в себя, вспомнил, где он и почему здесь.

— Батюшки! — повторила сторожиха. — Неужто это вы? По голосу узнала. Дитем была, а по голосу узнала.

— Обозналась, — сказал старик. — Я приезжий. Хотел с достопримечательностями ознакомиться. Хожу. Смотрю.

— Да чего же от меня скрывать? — обиделась сторожиха. — Я хоть и дитем была, но помню, как сейчас помню.

— Ладно, — кивнул старик. Он уже спустился по лестнице и стоял на дорожке, высясь над сторожихой. Карманы оттопыривались, и жидкость явственно булькала в бутылках.

Сторожиха, смущенная встречей, растерянная, уже не злилась. С горечью решила, что старик пьет и спиртное носит в карманах.

— Может, переночевать негде? — спросила она.

Старик помягчел.

— Не беспокойся, старая, — сказал он. — Лето сейчас. Комар меня не берет. Добро всякое кто сегодня приносил в музей?

— Старая директорша. Елена Сергеевна. Они потом еще долго здесь просидели.

— Чего с собой унесла?

— С внуком она была, с Ваней. На пенсии она теперь.

— Книжка была у нее? Старая.

— Она зачастую с книжками ходит.

— Она уходила — книжка была у нее?

— Была, была. Конечно была, как не быть книжке.

— Давно ушла?

— Еще светло было...

— Куда пошла?

— Домой к себе, на Слободскую...

9

Удалов уже совсем собрался бежать из больницы, но тут кончился девятичасовой сеанс в кино, по улице пошли люди, с разговорами и смехом. Зажигали спички, прикуривали.

Луны не было — из-за леса натянуло грозовые тучи. Грубин прижался к стене. Удалов присел за подоконником. В палате уже было темно, свет выключен, больные спят.

— Миновали, — прошептал наконец Грубин, давая сигнал.

Последним прошел киномеханик, звеня ключами от кинобудки.

Можно было начинать бегство. Удалову очень хотелось, чтобы прошло оно незаметно и благополучно. Если его поймут сейчас и вернут, будет немало смеха и издевательских разговоров. Но утра ждать нельзя. Утром в больнице наберется много врачей и персонала. Не отпустят. Удалов оперся на здоровую руку и сел на подоконник.

Сзади скрипнула дверь. Сестра. Удалов зажмурился и прыгнул вниз, в руки Грубину. Больную руку держал кверху, чтобы не повредить. Так и замерли под окном скульптурной группой.

Перед носом Корнелия шевелились грубинские пышные волосы. Удалов зажмурился, ожидая сестринского крика. И ему уже чудилось, как зажигаются во всех больничных окнах огни, как начинают суетиться по коридорам нянечки и медсестры и все кричат: «Убежал! Убежал! Обманул доверие!»

— Ай! — простонал Корнелий.

Грубин ткнул ему головой в рот, чтобы хранил молчание.

В палате было тихо. Может, сестра не заметила, что одного пациента не хватает. А может, и не сестра это была, а кто-нибудь из ходячих больных пошел в коридор. Корнелий тяжело вздохнул, обмяк и попросил:

— Подожди минутку, передохну. Я все-таки больной человек.

И тут они услышали тяжелые неровные шаги. Шаги приближались неумолимо и сурово, будто передвигается не человек, а памятник. По самой середине улицы, не скрываясь, прошел высокий старик с палкой. Прошел, неровно и скупно освещенный редкими фонарями, и только тень его еще некоторое время удлинялась и покачивала головой у ног Удалова.

Остался запах одеколона, странное бульканье, исходившее от старика, да постук палки.

— Подозрительный старик, — сказал Удалов шепотом. Старика он испугался и потому теперь хотел его унижить. — У провала вертелся, помнишь? Меня в пропасть толкнул.

— Ты сам толкнулся. Нечего уж... — отозвался справедливый Грубин.

— И не извинился, — добавил Удалов. — Человека довел до больницы, до травмы, а не извинился. Травма моя бытовая, и по бюллетеню платить не будут. Надо с него взыскать.

— Кончай, Корнелий, — увещевал Грубин. — Чего возмешь со старика.

— Я ему иск вчиню, — решил Удалов. Теперь он понял, кто во всем виноват.

Удалов вскочил и, неся впереди больную руку, как ручной пулемет, мелко побежал по улице вслед за стариком. Бежал негромко: ему хотелось узнать, где живет старик, но говорить с ним сейчас, на темной улице, не стоило. У старика палка. А Удалов вне закона. Беглец.

Грубин вздохнул и догнал Корнелия. Он шел рядом и отговаривал. Намекал, что такая погоня может отразиться на здоровье. Удалов отмахивался. От друга и от злых комаров.

Шурочка уже три раза сказала Стендалю, что ей пора домой, но не уходила. Ей и в самом деле пора было домой. Стендаль отвечал: «Нет, посидим еще». Он неоднократно ходил на угол, где стояла мороженщица, и приносил Шурочке эскимо. И снова разговаривал о поэзии, чудесных совпадениях, планах на будущее, преимуществах журналистской жизни, маме, оставшейся в Ленинграде, любви к животным, долголетию и все прерывал себя вопросом: «Посидим еще?»

Шурочке было чуть зябко от предчувствий, но, когда стало совсем поздно, она встала и сказала:

— Я пошла. Мама будет ругаться.

— Завтра вы свободны? — спросил Стендаль.

— Не знаю, — ответила Шурочка. — Ты меня не провожай.

Она боялась, что дюжие мальчишки из техникума увидят Стендаля с ней и побьют Мишу.

И тут раздались шаги. Шаги были тяжелые, с палочным пристуком. По улице, направляясь к мосту через Грязнуху,

шел старик с палкой. Знакомый запах одеколона сопровождал его.

Стендаль почувствовал, как все внутри его напряжилось. Старик был тайной. В нем было нечто зловещее.

— Идем, — сказал Стендаль. — Этого человека упускать нельзя.

Милица Федоровна Бакшт в задумчивости гуляла куда дольше, чем положено в ее возрасте. Попала даже на Слободу, чего не случилось уже лет тридцать. Она брела домой в ночи, пора бы спать, слабые ноги онемели, и проносившиеся с ревом автобусы пугали, заставляли прижиматься к стенам домов. Может, уже и не дойти до дома, до фикуса и шафранной полутьмы. Кошка послушно семенила сзади, стараясь не отставать, и глаза ее горели тускло, как в тумане.

Крупная женщина обогнала Милицу Федоровну, но не посмотрела в ее сторону. Женщину Милица Федоровна знала плохо — видела раза два из окна, когда та выходила из универмага.

Савич узнал жену по походке. Когда-то этот перезвон каблучков его пленял, казался легким, элегантным. Потом прошло — осталось умение угадать издали, среагировать. И сейчас среагировал. Понял, что жена мучается ревностью, разыскивает его. В два прыжка перемахнул через улицу и спрятался за калиткой во дворе Кастельской. Ванда Казимировна задержалась перед окном, заглянула, увидела, что Кастельская одна. Сидит за столом, читает. Савича там нет. Успокоилась и пошла дальше, к мосту, медленнее, как бы прогуливаясь.

Савич собрался было вернуться на улицу, но только сделал движение, как снова послышались шаги. С двух сторон. Одни — тихие, шаркающие, будто человек не двигается с места, а устало вытирает ноги о шершавый половик. Другие — тяжелые, уверенные. Савич остался в тени. Калитка дернулась под ударом, распахнулась. Задрожал заборчик. Высокий старик с палкой ворвался во двор, чуть не задел Савича плечом, обогнул дом и — раз-два-три! — взгромоздился по ступенькам к двери. Постучал.

Савич выпрямился. Старика он где-то видел. Старик ему не понравился. Было в нем нечто агрессивное, угрожающее Елене. Савич хотел подойти к старику, задать во-

прос, но удержался, боялся попасть в неудобное положение: сам-то он что здесь делает?

Пока Савич колебался, произошли другие события. Во-первых, дверь к Елене открылась, и старик, не спрашивая разрешения, шагнул внутрь. Во-вторых, в калитку вбежал молодой человек в очках. Он тащил за руку очаровательную Шурочку Родионову, подчиненную Ванды. Молодые люди остановились, не зная, куда идти дальше. Тут же перед калиткой обозначились еще две фигуры: одна держала перед собой вытянутую вперед белую толстую руку; вторая была высока, и лохматая ее голова под светом уличного фонаря казалась головой Медузы горгоны. Удалов заметался перед калиткой, а Грубин вытянул жилистую шею, заглянул в окно Кастельской и сказал:

— Он там.

Удалов тут же устремился во двор, обогнал, не видя ничего перед собой, Шурочку с ее спутником и принялся барабанить в дверь.

— Что-нибудь случилось? — спросил Савич, выйдя из темноты.

— Не знаю, — искренне ответил Грубин. — Может быть.

— Я ж тебе говорил, — сказал Миша Стендаль Шурочке и тоже подошел к крыльцу.

Первым вбежал в комнату Удалов. Хотел даже поздороваться, но слова застряли в горле. Старик прижал Елену Сергеевну в углу и старался отнять у нее растрепанную тетрадь в кожаной обложке. Елена Сергеевна прижимала тетрадь к груди обеими руками, молчала, смотрела на старика пронзительным взором.

— Ах ты!.. — сказал Удалов. Он выставил вперед загипсованную руку и с размаху ткнул ею старика в спину.

Старик сопротивлялся.

На помощь Удалову подоспел Савич: им двигал страх за судьбу некогда любимой женщины. Старик охал, рычал, но не сдавался. Уже и Грубин, и Удалов, и Стендаль, даже Шурочка отрывали его, тянули, а он все сопротивлялся, поддаваясь, правда, понемногу совместным усилиям противников.

Бой шел в пыхтении, вздохах, кряканье, но без слов. А слова прозвучали от двери.

— Прекратите! — произнес старческий голос. — Немедленно прекратите.

В дверях, опираясь на трость, стояла вконец утомленная Милица Федоровна Бакшт. У ног ее, сжавшись пантерой, присела старая сямская кошка.

Старик отпустил тетрадь и отступил под тяжестью насевших на него врагов. Повел плечами, стряхнул всех и как ни в чем не бывало сел на стул.

— Как дети, — сказала Милица Федоровна. — Дайте стул и мне. Я устала.

10

— Любезный друг, — начала Милица Федоровна, — вы вели себя недостойно. Вы позволили себе поднять руку на даму. Извинитесь.

— Прошу прощения, — проговорил старик смущенно.

Елена Сергеевна еще не пришла в себя. Прижимала к груди тетрадь, не садилась.

— Мой друг не имел в мыслях дурного, — продолжала Милица Федоровна. — Однако он взволнован возможной потерей.

— Мне он с самого начала не понравился, — заявил Удалов. — Милицию надо вызвать.

— Справимся, — успокоил Стендаль.

— Так разговора не получится, Елена Сергеевна, — сказал старик.

— Ну-ну, — возразил Удалов. Он был смел: с ним была общественность. — Я руку из-за вас сломал.

— Сам прыгнул, — заметил старик без уважения.

— Любезный друг, — произнесла старуха Бакшт, — боюсь, что теперь поздно ставить условия.

Затем она обернулась к Удалову и Стендалю.

— Мой друг не повторит прискорбных поступков. Я ручаюсь. — В голосе ее звучала нестарушечья твердость.

Удалову стало неловко. Он потупился. Стендаль хотел возразить, но Шурочка дернула его за рукав.

— Я полагаю, — продолжала Бакшт, — что наступило время обо всем рассказать.

— Да, стоит объясниться, — согласилась Елена Сергеевна.

Она положила злополучную тетрадь на стол, на видное место.

— Что вы знаете? — спросил старик у Елены Сергеевны.
— То, что написано здесь.

Старик кивнул. Оперся широкими ладонями о набалдашник палки. Был он очень стар. Неправдоподобно стар.

— Ладно, — сказал он. — Суть дела в том, что я родился в тысяча шестьсот третьем году.

Удалов хихикнул. Засмеялся негромко, поглаживая курчавые ростки вокруг лысины, Савич. Заразился смехом, прыснул Стендаль. Широко улыбался Грубин. Шурочка тоже улыбнулась, но осеклась, согнала улыбку, вспомнила альбом старухи Бакшт.

Сама Бакшт не смеялась.

Ванда Казимировна заглянула в окно, увидела мужа веселым, в компании. Это переполнило чашу ее терпения. Она вошла в дом. Она была в гневе. Топнула мускулистой ногой, прерывая веселье, и спросила, обращаясь большей частью к мужу:

— Смеетесь? Веселитесь?

Савич опал с лица. Хотел встать, извиниться, хотя и не был виноват. Но и тут порядок навела старуха Бакшт.

Она сказала громко и строго:

— Кто хочет смеяться, идите в синематограф. А вы, мадам, садитесь и не мешайте разговору.

Удивительно, но всем расхотелось смеяться. И Ванда Казимировна села на свободный стул рядом с Шурочкой и притихла.

Старик будто ждал этой паузы. Он произнес размеренно:

— Я родился в тысяча шестьсот третьем году.

На этот раз никто его не перебил, никто не улыбнулся. Стало ясно, что старик не врет. Что он в самом деле родился так давно, что он — чудо природы, уникал, судьба которого таинственным и чудесным образом связана с провалом на Пушкинской улице.

— Отец мой был беден. Мать умерла от родов. Жили мы здесь, в городе Великий Гусяр, на Вологодской улице. Отец был сапожником, крестили меня в Никольской церкви, что и поныне возвышается на углу улиц Красногвардейской и Мира. Окрестили Алмазом. Ныне имя редкое и неизвестное.

Старик закашлялся. Кашлял долго, сотрясал большое, видно, совсем уже пустое внутри тело.

— Испить не найдется, Елена Сергеевна? — спросил старик.

Шурочка сбегала на кухню, принесла стакан холодного молока. Старик выпил молоко, вытер не спеша усы синим платком.

— Мальчиком отдали меня в услужение купцу Томиле Перфирьеву, человеку скаредному, нечистому на руку. Бил он меня нещадно. Но рос я ребенком сильным, хотя мясо видал лишь по большим церковным праздникам. Помню, были слухи о поляках, которые взяли Москву. До нас поляки, правда, не добрались, но было великое смятение.

Старик говорил медленно, стараясь вобрать в современные, понятные слушателям слова события семнадцатого века. Будто сам уже не очень верил в то, что были они. И сам себе казался лживым — что за дело этим людям до бестолкового шума базарной площади, до заикающегося дьяка с грамотой в руках, до затоптанной нищенки и тройного солнца — зловещего знамения! Было ли такое или подсмотрено в кино через триста лет?

— Кому скучно, может уйти, не настаиваю, — сказал вдруг зло старик. Ему почудились насмешки на лицах.

Никто не ответил. Провизор Савич понимал, что надо требовать доказательств, потому что иначе получается кошмар. Нереальность подчеркивалась тем, что в одной комнате, впервые за много лет, оказались Ванда и Елена.

Старик молчал, смотрел пронзительно, и утихали скрип стульев, шевеление, перегляды.

— Уличил я как-то хозяина в обмере, и это случилось на людях. Шрамы эти до сего дня не совсем сгладились — избил он меня. Ничего, отдышался, но кличку приобрел — Битый. Так звали. Получается — Алмаз Битый. Правда, я имя неоднократно менял, и в советском паспорте написано Битов. Но это не так важно. Подрос я, убежал из Великого Гусляра, и начались мои многолетние странствия. Сначала пристал я к торговым людям, что шли в Сибирь. Молодой я еще был и многое принял на себя. Если рассказывать, получится длинный роман со многими приключениями.

Дошел я с казаками до земли камчатской, бывал и в Индии, а когда вернулся в Россию, было мне уже под пятьдесят, обладал я некоторой известностью как отважный и

склонный к правде человек, и если кто из вас имеет доступ к архивам, то сможет найти там, коли уцелели после многих пожаров, столбцы, в которых упомянуто о моих делах и походах. Было вокруг угнетение и чванство, обиды и скорбь. И тогда я подался на юг, в Запорожскую Сечь. Стал я полковником запорожского войска и думал, что завершу жизнь в походах и боях, но случилось однажды такое событие.

Старец Алмаз прервал речь, помолчал с полминуты.

Слушатели заинтересовались, поддались гипнозу сухих фраз, за которыми вставали события, правдивые потому, что говорилось о них так кратко и сдержанно.

— Вам такого имени, как Брюховецкий, Ивашка Брюховецкий, слышать не приходилось? И вам, Елена Сергеевна? Это понятно. Человек этот канул в Лету и известен только историкам-специалистам. А ведь в мое время имя его на Сечи, да и во всей Руси, было весьма знаменитым. Для людей он был гетманом запорожским, для меня прямым начальником.

Вызывает этот Брюховецкий меня к себе и говорит: «Есть к тебе, Алмаз Федотович, тайное и срочное дело. Порадовал меня царь грамотой, велел охрану выслать, старца Мелетия встретить и до безопасных мест проводить. Я-то людей послал, да они пощипали того старца, все, что при нем было — шесть возов да грамоты заморские, — себе взяли. Теперь царь гневается. Где, спрашивает, награбленное? Второй день у меня подьячий Тайного приказа Порфирий Оловенников сидит, списки награбленного показывает, требует вернуть. Грозит. Выручай, Алмаз. Что делать?» Я сразу понял: юлит Ивашка Брюховецкий, потому как не иначе грабители с ним щедро поделились. А расставаться с добром кому захочется. Я и спрашиваю: «Грамотки где? Вряд ли царь стал Оловенникова, хитрого человека, к тебе посылать из-за шести возов. Грамотки покажи». Брюховецкий поотнекивался — вроде не знает, где грамоты, слыхом не слыхивал. Потом вспомнил вроде, принес. Я попросил разобраться. Брюховецкий спорить не стал. Сказал только — с утра призовет, чтобы все было ясно. И вернулся я к себе домой...

«По-моему, я встречала эту фамилию — Брюховецкий», — думала Елена Сергеевна. Разогнала воздух перед лицом — надымили курильщики.

Стендалю стало скучно. Он вертелся на стуле, шуметь не осмеливался, кидал взгляды на Шурочку. Удалов баюкал руку — видно, ныла. Грубин слушал внимательно — представлял спесивого гетмана, у которого под дверью сидит московский подьячий из приказа Тайных дел.

— Я позвал одного писаря, грека, не помню, как его звали. С ним мы грамотки разобрали. И были они любопытные — в них восточные патриархи признавали власть Алексея Михайловича беспредельной. А Никона, русского патриарха, ставили ниже царя. Грамоты были куда как важны — подьячий не зря тратил время. Царь хотел с Никоном покончить, да не смел своей властью патриаршего сана лишить. Послов в Иерусалим, в Антиохию слал, тамошних патриархов задабривал, помощи просил. Был среди бумаг один список — очень меня заинтересовал. Список был с грамоты самого Никона. Честил в ней Никон царя и бояр, звал к правде, жаловался на произвол царский, грозил войной. Очень эта грамота соответствовала моему душевному состоянию — я много лет справедливости искал, и вот она, писцами переписанная, справедливость, великим человеком высказанная, который против царя и бояр идет. Я тогда в патриаршей политике не разбирался, решил — буду жив, увижу старца, попрошу, чтобы направил меня на путь истинный.

Утром пришел к Ивашке Брюховецкому и советую ему: «Ты, — говорю, — отдай чего-то из взятого, пустяк отдай. Но вот эти четыре грамоты, патриархами написанные, обязательно возврати. И от тебя царь отступится. Скажи, все у казаков забрал, в церковь сложил, а церковь возьми и сгори». Ивашка меня пытается: «А обойдется ли?» — «Обойдется», — говорю.

Так Брюховецкий и сделал. Подьячий, как увидел патриаршие грамотки, в лице цветом восстановился — за этим и ехал.

Старик разговорился, голос окреп; он взмахивал палкой, словно булавой либо саблей, забыл о слушателях — не до них было. События обрастали плотью, пыльные имена превращались в людей.

— Я стремился в Москву. Но попал туда только года через два-три, когда уже к Москве подъезжали через Грузию, по Волге, царем созванные восточные патриархи, чтобы судить Никона. Брюховецкий тогда в Москву поехал, к царю

на поклон. И удалось мне через подставных людей с Никоном связь установить. В то время грозила ему ссылка простым монахом-чернецом в северный монастырь, но старик не сдавался, борьбу конченной не считал. По-современному говоря, были у него еще большие связи в верхах. За них держался. А с другой стороны, обратил свое внимание к народу. Может, и не от большой любви — а что делать? Бой-то проигран. Меня Никон пригрел в одном монастыре, старцем Сергием называли. Но саблю я еще в руках держать мог. Сидение в монастыре томило меня, хотя Никон обнадеживал: надвигаются, говорил, времена. Послужишь ты еще, Алмаз, правому делу.

Вы уж потерпите, — сказал вдруг старик миролюбиво Стендалю, который вынул записную книжку и что-то свое стал писать в ней. — Мне недолго осталось. Сейчас к делу перейду. Без этого, что рассказал, вам моя позиция и судьба останутся неясными.

— Я ничего, я конспектирую, — смутился Стендаль и закрыл книжечку.

— С юга, с Волги, пришли вести: поднялся Стенька Разин. Он Долгорукому смерть брата своего Ивана простить не мог. Смелый был человек. И хоть Прозоровский, астраханский воевода, ему прощение за старые дела от царского имени высказал, он все равно по Волге пошел, царя решил скинуть. Как на подворье у нас об этом заговорили, понял я: не сегодня завтра меня к Никону призовут. Был тогда Никон простым монахом, опозоренный, в Ферапонтовом монастыре, в наших вологодских местах заточен. Но в монастыре его знали, опасались, что он мог еще властью пользоваться. Призвал меня, сказал: «Ты, казак Алмаз, иди к Степану Тимофеевичу на Волгу. Без меня, — говорит, — Степану с царем не совладать. Он сам это знает. Слышал я, есть среди его стругов один, черным бархатом обит, и пустил Степан слух, что в этом струге я плыву. Так поезжай туда, посмотри, вроде как мой посол будешь». Благословил меня Никон, и ушел я на Волгу. Я и в Астрахани был, когда Прозоровского с раската кинули, и Царицын брал, и под Симбирском с войском стоял. Все было. Только, конечно, рясу-то скинул и, хоть звали меня по-прежнему старцем Сергием, дрался я по-казачьи. Тогда-то с Милицей я и познакомился.

Алмаз указал узловатым пальцем на старушку, дремавшую в углу с кошкой на коленях.

Все послушно обернулись к ней.

— Была она тогда и сейчас есть — персидская княжна, про которую известную песню сложили. Будто ее Степан Тимофеевич за борт в Волгу кидал.

— Ой! — удивилась Шурочка Родионова. — Я думала, что это — сказка.

— Не будите ее, — сказал Алмаз. Да никто и не собирался будить Милицу Федоровну. — В песне говорится, что Степан Тимофеевич ее за борт кинул, так неправда это. Грозился, клялся даже, чтобы ревнивых казаков успокоить. Но ведь не бандитом он был. Был он к тому времени государственным деятелем, армию вел за собой.

Инцидент, правда, был, признаю. Я тогда на том же струге, что и Степан, находился. Мы спорили с ним сильно. Расхождения у нас были. А тут пришли некоторые руководители. Сказали: Симбирск скоро, там законная супруга ожидает; нехорошо, коли с княжной появитесь, для морального состояния войск. И Степан Тимофеевич согласился. Девка по-русски ни слова не знала. Только глазами вертела, казаков с ума сводила. Степан выругался, велел ее мне, как человеку надежному, взять ночью, перевезти на черный никоновский струг. Там она и была. А в Симбирске мы ее в доме одном поселили. И ты, кудрявый, не скалься. Если все будет как надо, завтра вы ее не узнаете. Первая красавица в Персии она была. Первой красавицей и здесь будет.

Старик умирался, перевел дыхание. Воздух проходил в легкие тяжело, громко. Старик вынул пачку «Беломора», закурил.

Вокруг заговорили, но слова были будничные, никто о рассказанном не упоминал, не знал еще, как и что надо будет сказать.

Шурочка принесла напиток Ванде Казимировне. Елена накинула шаль на плечи Милице Федоровне, чтобы та не замерзла.

За окном были тишь, темень, прохлада. Собака вдали брехала лениво, сонно. Будто комар ее укусил, вот и отругивала его.

— Дальше рассказывать — одна печаль, — сказал старик. — Восстание, как вы знаете, было подавлено. В Арза-

маше князь Долгорукий двести виселиц поставил. На каждой по полсотне людей погибло. Вот и считайте... Но меня при том не было. Я с двумя сотнями казаков на север пошел, к Ферапонтову монастырю. Узнал меня Никон, обрадовался, да поосторожничал. Мы его уговаривали: возьмем Кириллов монастырь — там казна большая, пушки — и на Волгу, на помощь Степану спешить надо. Да не осмелился Никон. Остался... А нам возвращаться поздно было. К тому времени Степана с Фролом уже в Москву везли. Казаков я отпустил — пусть каждый как может счастья ищет. А сам хотел в лес уйти. Да был один, князь Самойла Шайсупов, приставленный к Никону царем... У Шайсупова соглядатаи, всюду свои люди. Донесли. Поймали меня неподалеку от монастыря, заковали — и в Москву, как самого опасного государева преступника. Я царю — как подарок. Если сознаюсь — конец Никону, что на наш приход да на зазывные речи не донес. Никона и так уже в крепость, в Кириллов монастырь, в строгость перевели. А мои показания были бы ему могильным камнем. Привезли меня в Москву, и тут случилось непредвиденное происшествие, которое к сегодняшнему дню имеет отношение.

11

Руки Сергию завязывали подле кистей веревками, обшитыми войлоком, ноги стягивали ремнями и поднимали тело на воздух. Палач наступал ногой на конец ремня, тянул, разрывал тело, суставы выворачивались из рук, и потом палач бил по спине кнутом изредка, в час ударов тридцать, и от каждого удара будто ножом вырезана полоса. Разжигали железные клещи на красном, хватали за ребра...

Старец Сергей от наветов отказывался. Фрола Разина, его признавшего, встретил глазами пустыми, а чернецам, которые его у бывшего патриарха Никона видели входящим и выходящим, противные слова говорил. Старец Сергей силен еще, но после пыток сдал, голова болталась, язык распух, и говорить он не мог.

Алексей Михайлович, мучаясь одышкой и страхами, перешел ночью из дворца в подвал Тайного приказа. Нес с

собой бумажку, на которой собственной рукой записал вопросы для старца.

«За что вселенских Стенька побить хотел? Они по правде ли извергли Никона и что он им приказывал?» — повторял про себя государь слова записки. «О Кореле. Грамоту от него за Никоновой печатью к царскому величеству шлют из-за рубежа». Это о шведах. Шведы ненадежны, вредны, Котошихина, беглого бунтовщика, спрятали, печатные дворы держат, в курантах про вора Стеньку печатают и ложные известия о Никоне сообщают. Старец знать про это должен.

Дьяк Данило Полянский шел сзади, на полшага, держал свечу, чтобы государю не удариться головой о притолоку. В переходе было смрадно, вонюче, стрелец у дверей в пыточную засуетился, открывал, пятился, и оттого государю было еще тошнее. Полянский сказывал, что старец Сергей молчит. Худо. А еще людишки, верные вроде, твердят, что Сергей не Сергей вовсе, не старец, а казачий полковник.

Ступеньки в подвал склизкие, грязные, могли бы и помыть, все-таки государь ходит, да не стал государь говорить Полянскому, твердил слова вопросов, и слова улетали, запутывались в разных тревожных мыслях, и горело внутри, пекло — видно, напустили порчу немчины, лекари. Горько было царю на людскую неблагодарность, на вражду, местничество, злобу, наветы.

— Лестницы бы вымыли, — сказал вдруг государь Полянскому, хотя говорить уже раздумал.

Мимо камор шли в пыточную. За решетками шевелились тени, бледные руки лезли из тряпья, и цепи звенели, будто отбивали зубную дробь.

Старец Сергей висел на дыбе безжизненно. Седые волосы, в грязи и крови, колтуном торчали вбок, будто боярский сын набекрень надел шапку. Подьячий, что вел допрос, вскочил из-за стола, но царь в его сторону не посмотрел. Подошел к Сергию, заглянул в лицо. Палач, чтобы удобнее государю было, шустро отбежал, отпустил веревку, и Сергей ногами стал на пол, только ноги пошли в сторону — не держали.

— Что сказал? — спросил царь, глядя на старца, столь нужного для спокойствия и торжества власти.

— Молчит, — ответил подьячий тихо. Боялся царского гнева.

Язык Сергия, распухший, черный, вылезал изо рта, не помещался. Глаза закатились — не закрывались.

— Мне он живой нужен, — произнес вдруг царь обыкновенно, будто без гнева, а с тоской.

И даже Полянский дрожь почувствовал. Тишайший государь был весьма озабочен, и это многим могло стоить жизни.

— Пусть поутру его дохтур осмотрит, зелье даст. И не пытаться, пока сам не кончу.

Алмаза окатили водой, втащили бесчувственного в камору, кинули на пол. До утра дохтура звать не стали. Старик крепкий.

Алмазу казалось, что он в пустыне. Жарко и больно ногам, ободраным о камни. И озера лишь манят, а оказываются вихрями, бьющими по обожженной коже. Потом ласковая прохлада коснулась лба. Вода холодная — зубы ломило — сама влилась в рот. Стало легко и блаженно.

— Вам лучше? — спросил тихий нежный голос, будто прохлада в пустыне.

— Да, — ответил Алмаз. Открыл глаза.

В теле была боль, ломота, но была она не так важна, и голова стала яснее. Голос звучал где-то внутри, будто кто-то пальчиком гладил по темени. Рядом, на куче прелой соломы, лежал маленький человек, ниц распростершись, и касался исхудалыми руками Алмаза, во тьме зрачки его светились по-кошачьи.

— Нечистая сила, — сказал Алмаз. — Изыди.

— Тише, — произнес голос в голове у Алмаза. И рот у маленького человека не открывался, сжат был, губы в струночку. Только глаза зеленою светятся. — Тише, — голос покоил, нежил, — услышат — придут. Снова казнить примутся. Я добра желаю. Немощен я, измучен, ноги переломаны.

Темь в каморе стояла, но Алмаз увидал: ноги соседа на соломе распластались, неживы. Кровь изо рта запеклась на щеке. У Алмаза страх миновал. Язык тяжел, но ворочается.

— Пей, — беззвучно сказал сосед, протянул ладошку, а в ней вода, как на листе роса. Не было зла и порчи в малом человеке.

Алмаз наклонил голову, слизал росу.

— На дыбе был? — спросил сосед.

— Не жить мне, — отозвался Алмаз. — Сам государь поутру примется.

— Бунтовщик ты? Со Стенькой разбойничал?

— Не важно, — ответил Алмаз. Было в нем подозрение, не дьяками ли тайными человек подставлен.

— Не опасайся, — сказал человек. — Я твои мысли знаю. Считаю, что дохтур я. Из фрязинской земли. В колдовстве меня обвинили. Огнем пытали, ноги ломали. Я секрет знаю, как уйти отсюда, да ног нет.

Алмаз долгую жизнь прожил, многого нагладелся. Дохтур так дохтур. На фрязинских землях, на немецких чудес много. И сам Алмаз до Индии ходил, Турцию видел, но в чудеса само собой верил.

— Ты мне о себе расскажи, — молил сосед. — Хоть не словами. Думай — я пойму.

Зеленоватые глаза заглядывали в душу, высматривали, что скрыл; а скрыл Алмаз в рассказе немного, лишь то, что касалось патриарха Никона. Это пускай сосед читает сам — нечистой ли силой, просто колдовством.

Порой сосед просил повторить, подробности выпрашивал, интересовался, будто не обречен, как и Алмаз, на неминуемую смерть. Доволен оказался. Говорил, что надежда в нем появилась, повезло ему, что сосед Алмаз. Не надеялся уже, веру потерял. Смерть близка.

Бежать из Тайного приказа некуда, это Алмаз понимал. Никто отсюда не скрылся еще. Может, малый человек ума лишился? А может, слово знает?

— Нет, — возразил сосед. — Слова не знаю. Но вижу сквозь стены. Как ни пытай, не отвечу, не понять тебе.

Алмаз не спорил. Секретные и странные вещи признавал, но сам колдунов и тайных людей бежал. Может, и сквозь стены зрит человек. Дано ему.

— Здесь стена в одном месте тонка, — сообщил человек. — В один кирпич. Дверь заложена. В старые времена ход был в другое подземелье, но, видно, после пожара забыли, замуровали. Под Кремлем в разных местах ходы и подвалы вырыты, многие и не найдешь. Давно здесь государи живут, а государям надо тайны иметь, тайники и пыточные места.

За решеткой прошел стрелец. Заглянул в темноту, ничего не увидел. Окликнул:

— Старец Сергей, а старец Сергей, живой ты?

Алмаз промычал нераздельно, простонал.

— Живой, — определил стрелец. — С утра дохтура приведут. Равно как к боярину. — Стрелец рассмеялся. — Как к боярину, — повторил. Пошел дальше.

— Как же мы кирпичи разберем? — спросил Алмаз.

— Тише, не говори языком, — прозвучал как бы внутри головы голос соседа. — Ты думай, я все угадаю.

— Тяжко, привычки нет.

— Я кирпичи еще со вчера расшатал. Ты меня вытащишь, понесешь. Кирпичи на место положишь. Может, не сразу спохватятся.

— Согласен я, — сказал Алмаз, потому что был человеком трезвым и понимал: не убежишь ночью — новые пытки, а там и смерть, покажется она благостной, долгожданной, как невеста.

— Жди, — услышал он голос внутри.

Человек, опираясь на локти, поволочил безжизненное тело к дальней стене, и от боли его, что передавалась нечаянно Алмазу, мутило, ибо ложилась она на боль Алмаза.

— Сюда ползи, только не шуми, — был приказ оттуда.

И Алмаз подобрался, рукой нащупал тело рядом. Тот подхватил руку, поднес к стене. Один кирпич уже вынут был. Второй шатался.

— Ты сильнее, — слышал Алмаз мысли. — Вынимай их. Раствор старый, крошится. Я перекладывать буду.

Снова прошел стрелец, топотал сапогами: озяб в подвале.

— Караула ждет, — объяснил ему сосед. — Думает о том, как бы согреться. Думает, что ты за ночь отойдешь, дохтура не надо будет. И тебе легче. Добрый человек.

Алмаз кивнул, согласился.

Алмаз кирпичи вынимал из стены, сосед перекладывал их в сторону. Ощупал дыру — узка, но пробраться можно. Сосед подтолкнул в спину: давай, мол, — угадал, о чем Алмаз подумал. Алмаз прополз в дыру. Оттуда шел холод и мрак, пыточные камеры Тайного приказа рядом с ним теплым раем казались. Руки уперлись в ледяную жижу. Плечи схватило болью, сил не было тело протащить. Человек сзади подталкивал, да был немощен, без пользы помогал. Свое дыхание Алмаз слышал — как отдается хрипом по длинному невидимому ходу, шумит, словно домовой в печи.

— Давай, давай еще, поднатужься, немного осталось. Там воля!..

Слова человека, уговоры в голосе стучали, как кровь, и Алмаз елозил руками по жиже, тянул непослушное тело свое, и оно перевесило, голова упала в вонь и лед, и от того прибавилось силы — от отвращения и жути. Отдохнул самую малость, выпростал из дыры ноги и приподнялся, чтобы лицо отворотить от жижи.

— Меня возьми, не забудь, — умолял человек.

Но Алмаз и не помышлял оставить в беде товарища, тот ему дорогу к воле показал, а Алмаз никогда людей не предавал. И видно, человек угадал его мысли, затих и ждал покорно, пока Алмаз, отдохнувши, протянет к нему в дыру руки и вытянет, немощного, бессильного, невесомого, в черный ход.

Алмаз поднялся во весь рост, морщась от боли и злобы на свои непослушные члены. Свод был низок, пришлось пригнуться, и холодные капли падали ожогами на израненную спину. Человека Алмаз взял на руки, словно младенца; на закорках нести не мог, хоть сподручнее, — поротая спина саднила. Через несколько шагов переложил было под мышку, чтобы рукой одной впереди шарить. Да это и не нужно оказалось — человек подсказывал, куда идти, где поворачивать, словно кошка во тьме дорогу различал, и Алмаз уже не удивлялся — сил не было на думы: слушался, шел, спотыкался, скользил по грязи.

Прошли подземную палату, потолок вверх ушел, распрямиться можно. Рукой сбоку ощупал — ящики, ларцы, сундуки. Видно, богатства затерянные.

— Нет, — сказал человек, — это книги, столбцы, грамоты. Старые. От царя Ивана Васильича остались.

— Не слыхал, чтобы царь книгами баловался.

— Интересовался. Тут большие богатства спрятаны. Государственные тайны. Их многие уже ищут, да не найти. Ходы с земли не видны.

Далеко сзади, усиленный ходами, будто боевыми трубами, пришел шум, сбивался в кучу, разделялся на голоса.

— Нас хватились, — сообщил человек. — Теперь не найдут. Пока решатся в ходы сунуться да пока по ним проплутают, мы далеко будем.

Вышли они населенным летучими мышами и крысами, полузаваленным мусором подземным ходом, что кончался на

том берегу Москвы-реки, у Кадашевской слободы. Куча бревен да камни — все, что осталось от часовенки, — скрывали древний ход. Рассветало. Мальчишка гнал из ночного коней, а навстречу, чуть видная в тумане, шла баба с ведрами к озерку у Болота. Слева были сады, и там перекликались сторожа — берегли царское добро. Из тумана вылезали, словно копья, колокольни кадашевских церквей. Было мирно, и даже собаки не лаяли, не беспокоили людей в такую обычную ночь.

— Пойдем берегом, — сказал человек. — Знаю, где лодка.

Тут только Алмаз увидел толком спутника. Боль в нем, избитом и истерзанном, была великая. Сквозь рубище смотрели кровоподтеки и синяки, руки были исцарапаны, словно кто-то с них кожу сдергивал, да и на лице целы были одни глаза. Глаза под утренней синевой потеряли кошачий блеск и нутряной свет — были синими, словно воздух, и бездонными, и была в них мысль и мука.

— Ты уж потерпи, — попросил человек. — Донеси меня.

— Неужто, — отозвался Алмаз и даже улыбнулся: подумал, что и сам, видно, страшен и непотребен.

— Что правда, то правда, — подтвердил человек.

Алмаз уже привычно взял его под мышку — перебитые ноги болтались почти до земли, рассекали высокую прибрежную траву.

Лодка была в положенном месте. Человек снова прав. И весла, забытые либо нарочно оставленные, лежали в уключинах.

Через час добрались до леса, а там пролежали весь день, упрятав в камышах лодку.

Алмаз набрал ягод, сыроежек — поел; спутник от всего отказался, только пил воду, но не из реки, как Алмаз, а из своих ладоней, как в Тайном приказе, когда поил этой водой-росой своего соседа.

Потом снова они шли, обходили деревни, шли и ночью и лишь ко второму утру, чуть живые, добрались до яра, в котором стояло, прикрытое пожелтевшими ветками, нечто невиданное, схожее со стругом либо ковчегом, и Алмаз тогда оробел и лишился чувств от бессилия и конца пути.

Очнулся Алмаз внутри ковчеха, на мягкой постели, при солнечном свете, хоть и был ковчег без окон. Был Алмаз гол и намазан снадобьями и зельями. Спутник его, в иное переодетый, ковылял вокруг на самодельных костылях, посме-

ивался тонкими губами, бормотал по-своему, был рад, уговаривал Алмаза, что он не нечистая сила, а странник. Но Алмаз слушал плохо, тяжело — его тело отказывалось жить и переносить такие муки, была его горячка, и разум мутился.

— Что ж, — услышал он в последний раз, — придется прибегнуть к особым мерам.

Может, и так сказал странник — снова было забытье, словно глубокий сон, и во сне надо было удержаться за борт ладьи, а не удержишься — унесет волжская волна, ударит о крутой утес. Но Алмаз удержался, и, когда очнулся вновь, все в том же ковчеге, человек сказал ему:

— Опасался я, что сердце твое не выдержит. Но ты сильный человек, выдержало сердце.

Был человек уже без костылей, бегал резво. Видно, немало времени прошло.

— Нет, — улыбнулся он, опять мысль Алмаза угадал, — один день всего прошел. Погляди на себя.

Человек протянул Алмазу круглое зеркало, и на Алмаза глянуло молодое лицо, чем-то знакомое, чем-то чужое, и подумал сначала Алмаз, что это портрет, писанный лик, но человек все смеялся и велел в зеркало смотреть.

И тогда Алмаз понял, что стал молодым...

— ...Ну вот и все, — закончил старик и снова потянулся к пачке за папирсой. — Он улетел к своим. Я тогда понятия не имел, кто он такой, что такое, откуда. Объяснение воспринял для себя самое простое — дух, вернее всего, Божий посланник. Оставил он мне все снадобья, которыми мне молодость вернул, взял с меня клятву, что тайну сохранию, ибо рано еще людям о таком знать. И улетел. Еще велел пользоваться зельем, ждать его, обещал через сто лет вернуться и меня обязательно найти. Я больше ста лет ждал. Не вернулся он. Может, что случилось. Может, прилетит еще. Один раз я нарушил его завет. Был в Симбирске, разыскал подругу свою Милицу и вернул ей молодость. А с тех пор как себя молодил, так и к ней приезжал, где бы она ни была. И всё. Хотите казните меня за скрытность, хотите — хвалите. Но скоро триста лет будет, а ведь даже Милица по сей день не знала, почему с ней волшебство такое происходит. Думала, моя заслуга. А уж какая там.

Старик замолчал. Устал. Возвращались в двадцатый век слушатели, переглядывались, качали головами, и не было недоверия. Уж очень странная история. Да и зачем старику ночью рассказывать сказки людям, которые в сказки давно не верят.

Милица все дремала на кресле, кошка — на коленях. Голова склонилась к морщинистым рукам.

— Если так, то пришельцы — не миф, — произнес Стендаль.

Он первым нарушил тишину, что наступает после окончания длинного доклада, прежде чем слушатели соберутся с мыслями, начнут посылать на трибуну записки с вопросами.

— Ну что же теперь? Дадите мне выпить мою долю? — спросил старик. — Я все как на духу рассказал. Мне молодость не для шуток, для дела нужна. И за Милицу прошу. Она мне верит.

— Я и не спала, — проговорила вдруг Милица Федоровна. — И все, что Любезный друг здесь говорил, могу клятвенно подтвердить. Мы с Любезным другом монополию на напиток не желаем. Правда?

Старик кивнул.

— Может, кто-нибудь из присутствующих здесь дам и кавалеров захочет присоединиться к нам?

12

Человеку свойственно совершать ошибки. И раскаиваться в них.

И чем дольше он живет, тем больше накапливается этих ошибок и тем горше сознание того, что далеко не все из них можно исправить.

Как только человек осознает, что есть связь между причиной и следствием, он догадывается, что не надо было пожирать разом коробку шоколадных конфет, растянул бы удовольствие на два дня и живот бы не болел. Это ошибка еще дошкольная. А помните, как вы засиделись у телевизора, глядя уже известный мультфильм, не выучили стихотворение Некрасова, получили двойку и лишились похода в зоопарк. Казалось бы, пустяк, а помнишь об этом всю жизнь.

Дальше — хуже. Накапливается неисправимость глупых слов, легкомысленных поступков, упущенных возможностей и несостоявшихся свиданий. И в какой-то момент все эти ошибки складываются в жизнь, которая пошла по неверному пути.

А где тот перекресток, где тот поворот на жизненной дороге, после которого неправильное течение жизни стало необратимым? Где тот проклятый момент, после которого уже ничего нельзя исправить?

Некоторые даже и не догадываются, что совершили роковую ошибку, другие — догадываются, но смиряются и стараются отыскать утешение в том, что еще осталось. Но есть люди, которые всю жизнь маются, вновь и вновь возвращаясь к роковому моменту и втуне изыскивая возможность исправить неисправимое. Нелюбимая жена уже родила тебе троих сорванцов, а любимая, но покинутая Таня живет с ненавистным ей Васей, и вы лишь раскланиваетесь на улице, так и не простив друг друга. Друг Иванов, решивший плюнуть на теплое и спокойное место и шагнувший в новое, ненадежное дело, уже стал министром или академиком, а ты так и сидишь на этом теплом месте. По радио рассказывают о боксере Н., который только что с триумфом вернулся из дальней зарубежной поездки, ввергнув там в нокаут известного всем Билли Джонса, а ты вспоминаешь, как бросил боксерскую секцию, где подавал куда больше надежд, чем Н., бросил, потому что поленился ездить через весь город на двух трамваях.

И вот из всех жизненных разочарований и ошибок вырастают великие и пустые слова: «Если бы...»

Вот если бы я женился на любимой, но не имевшей жилплощади Тане!

Вот если бы я вместе с другом Ивановым пожертвовал зарплатой и премиальными ради интересной работы!

Вот если бы я не бросил секцию бокса!

Вот если бы...

Миллион лет назад первый питекантроп превратился в человека. Прожил свою относительно короткую жизнь и перед смертью сказал:

— Вот если бы начать жизнь сначала.

С этого и пошло.

Короли и рыцари, епископы и землепашцы, писатели и художники неустанно и безрезультатно твердили волшебные слова: «Если бы...»

По мере роста культурного уровня человечества оно изобрело буквы и начало писать книги. И если приглядеться к истории мировой литературы, окажется, что значительная часть ее посвящена той же проклятой проблеме: «Если бы...»

Некий доктор Фауст даже продал свою бессмертную душу ради молодости. А Дориан Грей возложил старение на собственный портрет. Если заглянуть поглубже, то окажется, что даже древний мифологический персонаж Гильгамеш занимался поисками эликсира молодости. И лишь чешский писатель Чапек эту проблему разрешил положительно, описав биографию дамы, которая, пользуясь средством Макропулоса, прожила, не старея, лет шестьсот. Но ведь это все художественная литература, фантастика, вымысел. А вот если бы. И представьте себе ситуацию. В небольшом городке поздним вечером несколькими самым обыкновенным людям, прожившим большую часть жизни и неудовлетворенным тем, как они ее прожили, предлагают воспользоваться случаем и начать все сначала.

Разумеется, никто, кроме наивного Грубина, всерьез слова старика не принял. Не было для этого никаких оснований. И, отвергнув нелепую возможность, улыбнувшись и глубоко вздохнув, наши герои готовы были уже разойтись по домам. Но никто не разошелся.

«Это чепуха, — подумал каждый. — Это совершенно невероятная чепуха».

И именно крайняя нелепость чепухи сводила с ума. Если бы старик предложил, допустим, разгладить морщины на челе или излечить от гастрита, все бы поняли — простой знахарь, мошенник. Но ни один знахарь не посмеет предложить молодость. Даром, за компанию с ним. Никакого псевдонаучного объяснения, кроме дикой истории о космическом пришельце и царе Алексее Михайловиче, старик не предложил. И ни на чем не настаивал. Сам спешил принять.

И пока тикали минуты, пока люди старались переварить и как-то увязать со своим жизненным опытом происходящие события, в каждом просыпался и начинал стучаться, просясь на волю, проклятый вопрос: «А что, если бы...»

И была долгая пауза.

Ее прервал старик Алмаз. Неожиданно и даже громко он сказал:

— Итак, средство состоит из трех частей. Порошок у меня в кармане. Растворитель в бутылках, что я взял в музее. Добавки состояются из разных снадобий, и рецепт на это заключен в тетради.

Старик Алмаз взял тетрадь со стола и помахал ею как веером: становилось душно от многолюдного взволнованного дыхания.

Елена Сергеевна постукивала по столу ногтями, старалась разогнать внутреннее смятение, звон в ушах. Сквозь тугую, вязкий воздух пробился к ней внимательный взгляд. Подняла голову, встретила глазами с Савичем и поняла, что он не ее видит, а видит сейчас Леночку Кастельскую, которую любил так неудачно. И Елена Сергеевна поняла, что Савич скажет «да». В нем это «если бы» ворошилось долгие годы, спать не давало.

Елена Сергеевна чуть перевела взгляд, посмотрела на Ванду Казимировну. Но странно, та смотрела не на мужа, а в синь за окном. Улыбалась своим потаенным мыслям. И Елена Сергеевна вспомнила, какой яркой, крепкой была Ванда, пока не расползлась от малоподвижной жизни и обильной пищи.

— Формально вы не имеете права на пользование находкой. Она — собственность музея, — сказал Миша Стендаль. — Тем более что вы совершили кражу. У государства.

— И это карается, — вмешался Удалов.

— Уже говорили, — сказала старуха Бакшт. — Не ведите себя как российские либералы. Они всегда много говорили в земстве и в дворянском собрании. Ничего из этого не получилось.

Елена Сергеевна пыталась угадать в старухе черты прекрасной персиянки, но, конечно, не угадала — старческая маска была надежна, крепка и непрозрачна.

— Нет, так не пойдет, — возразил Стендаль. — Необходимо подключить власти и общественные организации.

— Правильно, — согласился Удалов, недовольный тем, что его сравнили с царским либералом. — Что скажут в райкоме? В Академии наук? Потом уж в централизованном порядке будет распределение...

— Сколько времени это займет? — невежливо перебил его старик.

— Сколько надо.

— Год?

— Может, и год. Может, и два.

— Нельзя. У меня дела. Милице тоже ждать негоже. Помрет.

Милица прискорбно склонила голову, кивнула согласно.

— Чепуху говорите, товарищ Удалов, — вмешался Савич, которому хотелось верить в эликсир. — Вы что думаете, придете в райком или даже в Академию наук и скажете: в этой банке находится эликсир молодости, полученный одним вашим знакомым в семнадцатом веке от марсианского путешественника. А знаете, что вам скажут?

— Температуру скажут измерить! — хихикнула Шурочка Родионова. Вообще-то она молчала, робела, но тут представила себе Удалова с градусником и осмелилась.

— Если бы ко мне пришел такой человек, — сказал Савич, — я бы его постарался немедленно изолировать.

Удалов услышал слово «изолировать» и замолчал. Лучше промолчать. В любом случае он свое возражение высказал. Надо будет — вспомнят.

Грубин не удержался, вскочил, принялся шагать по комнате, перешагивая через ноги и стулья.

— Русские врачи, — сказал он, — прививали себе чуму. Умирали. В плохих условиях. Нам же никто умирать не предлагает. Зато перед наукой и человечеством можем оказаться героями.

Голос Грубина возвысился и оборвался. Он пальцами, рыжими от частого курения, старался застегнуть верхнюю пуговицу пиджака, скрыть голубую майку — ощущал разницей между высокими словами и своим обликом.

— Это не смешно, — сказал Савич хмыкнувшему Удалову.

— К научным организациям мы обратиться не можем, — продолжал, собравшись с духом, Грубин. — Над нами начнут смеяться, если не хуже. Отказаться от опыта мы не имеем права. По крайней мере, я не имею права. Откажемся — бутылки либо затеряются в музее, либо товарищ Алмаз Битый поставит опыт сам по себе, и мы ничего не узнаем.

— Если получится, — произнес Савич, которому хотелось верить, — то мы придем к ученым не с пустыми руками.

— С метриками и паспортами, — добавил Грубин, — в которых наш возраст не соответствует действительному.

— Кошмар какой-то! — сказала Ванда Казимировна. — А если это яд?

— Первым буду я, — ответил старик Алмаз.

— И я, — поддержала Милица Федоровна. — Для меня это не в первый раз.

— Мы никого не заставляем, — сказал Грубин. — Только желающие. Остальные будут контрольными.

— Разрешите мне, — поднял руку Миша Стендаль. — А что будет, если я соглашусь участвовать?

— Младенцем станешь, — сказала Шурочка Родионова. — И я тоже. Увезут нас в колясках.

— А действует сразу? — спросил Удалов. Он не хотел выделяться, но думал о возвращении домой, к супруге.

— Нет, действует не сразу, — объяснил Алмаз. — Действует по-разному, но пока организмом не впитается, несколько часов пройдет. К утру ясно станет. Каждый вернется к расцвету физической сущности. Потому молодым пользы нет. Только добро переводить.

Алмаз почувствовал, что общее мнение склоняется в его пользу. Человеческое любопытство, страсть к новому, проклятое «если бы», нежелание оказаться трусливее других — все эти причины способствовали стариновским идеям. И он поспешил поставить на середину стола бутылку, и велел Елене принести стаканы, другую посуду и ложку столовую, и еще спросил соли, обычной, мелкого помола, и мелу или извести, а сам листал тетрадь, вспоминал — спешил, пока кто-нибудь из людей не спохватился, не высказал насмешки, так как насмешка в таких случаях страшнее хулы и сомнения. Стоит кому-то решить, что сказочность затеи никак не вяжется с тихой комнатой и временем, в котором живут эти люди, и тогда отберут бутылки, отнесут их в музей, положат в сейф. А если так, погибнет дело, ради которого проделал Любезный друг столь долгий путь, да и жизнь его, от которой мало осталось, вскоре завершится. Этого допускать было нельзя, потому что старик, прожив на свете свои первые триста лет, только-только начал входить во вкус человеческого существования.

Пока шли приготовления, и были они обыденны, как приготовления к чаю, начались тихие разговоры — по двое, по трое. Иногда раздавался смешок, но он был без издевки, нервный, подавленный.

Алмаз Федотович отсыпал в миску весь порошок, чтобы на всех хватило. Потом откупорил бутылки с растворителем, слил содержимое в одну, примерился и плеснул в миску темной жидкости. Начал столовой ложкой размешивать порошок, тщательно, деловито и умело, доставая рукой из кармана штанов пакетики и свертки.

— Это всё добавки, — пояснил он, — купил в аптеке. Ничего сложного, даже аспирин есть — для усиления эффекта.

— Потом надо будет все зафиксировать для передачи ученым, — напомнил Грубин.

— Не забудем, — согласился старик, для которого общение с учеными оставалось далеким и не очень реальным. Одна мысль занимала его — только бы успеть приготовить все, выпить, а дальше как судьбе угодно.

— Лист бумаги попрошу, — сказал Грубин Елене Сергеевне. — Начнем запись опыта. Никто не возражает?

— Зачем это? — спросил Удалов.

— Передадим в компетентные органы.

— А если кто не желает?

— Тогда оставайтесь как есть. Нам наблюдатели тоже нужны.

Удалов хотел еще что-то сказать, но Грубин не дал ему слова — остановил поднятой ладонью, взял лист, шариковую ручку и написал крупными буквами: «12 июля 1979 года. Г. Великий Гуслияр Вологодской области. Участники эксперимента по омоложению организма».

Написал себя первым:

«1) Грубин Александр Евдокимович, 1935 года рождения».

Затем следовал старик Алмаз:

«2) Битый Алмаз Федотович, 1603 года рождения, 3) Бакшт Милица Федоровна».

— Вы когда родились?

— Пишите приблизительно, — сказала Милица Федоровна. — В паспорте написан 1872 год, но это неправда. Пишите — середина XVII века.

Грубин написал: «Середина XVII в.».

В действиях Грубина была уверенность, деловитость, и потому все без шуток, а как положено ответили на вопросы.

И таблица выглядела так: «4) Кастельская Елена Сергеевна, 1918 г. рожд., 5) Удалов Корнелий Иванович, 1933, 6) Савич Никита Николаевич, 1919, 7) Савич Ванда Казимировна, 1923, 8) Родионова Александра Николаевна, 1960, 9) Стендаль Михаил Артурович, 1956».

— Итого девять человек, — заключил Грубин. — Делю условно на две группы. Первая — те, кто участвует в эксперименте. Номера с первого по седьмой. Вторая — контрольная. Для сравнения.

— Простите, — сказал Миша. — Я тоже хочу попробовать.

— Количество эликсира ограничено, — отрезал Грубин. — Я категорически возражаю.

В глазах Грубина зажегся священный огонь подвижника, свет Галилея и Бруно. Он руководил экспериментом, и Удалову очень хотелось оказаться в контрольной группе. Изменения в старом друге были непонятны и пугали.

— Вы готовы? — спросил Грубина Алмаз, поворачиваясь к нему всем телом и взмахивая листком, как знаменем. — Можно разливать? — Старик сильно притомился от волнения и физических напряжений. Его заметно шатало.

— Помочь? — спросила Елена Сергеевна и, не дожидаясь ответа, разлила жидкость из миски по стаканам и чашкам.

Семь сосудов стояли тесно посреди стола, и кто-то должен был первым протянуть руку.

Старик размашисто перекрестился, что противоречило научному эксперименту, но возражений не вызвало, провел рукой над скоплением чашек и выбрал себе голубую с золотым ободком.

— Ну, — сказал он, внимательно оглядев остальных, — с Богом.

Зажмурился, вылил содержимое чашки в себя, и кадык от глотков заходил под дряблой кожей, а жидкость булькала. Потом поставил пустую чашку на стол, перевел дух, сказал хрипло:

— Хорошее зелье. Елена, воды дай — запить.

И сразу тишина в комнате, возникшая, когда старик взял чашку со стола, окончилась, все зашевелились и потянулись к столу, к стаканам, будто в них было налито шампанское...

Следующим поднял чашку Грубин. Понюхал, шевельнул ноздрями, покосился на часы. Старик поднес чашку Милице Федоровне, и та, кивнув, словно получила стакан обычной воды, стала пить маленькими осторожными глотками.

Грубин выпил быстро, почти залпом.

— Ну и как? — спросил Удалов. Он держал чашку здоровой рукой, на весу.

— Ничего особенного, — ответил Грубин. Поставил чашку на стол и тут же стал записывать, повторяя вслух: — Опыт начат в 23 часа 54 минуты. Порядок приема средства следующий. Номер один — Битый Алмаз, номер два — Бакшт Милица, номер три — Грубин Александр. — Он поднял голову и строго приказал другу: — Ну!

Удалов все не решался. Странное видение посетило его. Ему казалось, что он находится на большой площади, края которой теряются в тумане. Перед ним стоят бесконечным рядом старики и старухи — ветераны труда и войны, абхазские долгожители, пенсионеры из разных республик. И все эти люди глядят на Удалова с надеждой и настойчивостью. Тут же и Грубин, который медленно катит громадную бочку, стоящую на тележке. А Шурочка Родионова держит в руках поднос с небольшими рюмками. Серебряным черпаком Грубин разливает из бочки зелье по рюмочкам. Удалов берет рюмочки с подноса и медленно шествует вдоль строя стариков. Каждый пенсионер, получив рюмочку, говорит: «Спасибо, товарищ Удалов» — и выпивает зелье.

Мгновенная трансформация происходит с выпившим. Разглаживаются морщины, выпрямляется стан, густеют волосы, и неистовым сверканием наполняются глаза. И вот уже молод пенсионер и готов к новым трудам и подвигам. Но еще много желающих впереди — тысячи и тысячи ждут приближения Корнелия. Рука немеет от усталости. А надо всех обеспечить зельем, потому что все достойны.

— Корнелий, — донесся, словно сквозь туман, голос Грубина, — расплескаешь.

Корнелий пришел в себя. Рука с чашкой дрогнула и рискованно наклонилась. Удалов смущенно улыбнулся.

— Я задумался.

— О чем? Время идет.

— Надо Ксении отнести. А то как же получится — я молодой, а она в годах останется?

— Разберемся, — ответил Грубин. — Я тебя уже отметил. Как принявшего.

— Закусить бы, — попытался оттянуть пугающий момент Удалов, но понял — невозможно. И быстро выпил то, что было в чашке.

Зелье было горьковатым, невкусным, правда, на спиртовой основе.

Савич поднял чашку со стола и мысленно уговаривал Елену тоже выпить, не раздумать. И, не смея сказать о том вслух, не спускал с Елены взгляда.

Этот взгляд, разумеется, перехватила Ванда Казимировна, которая умела угадывать взгляды мужа. До того момента она сомневалась, участвовать ли в этом дурацком распитии, так как долгая хозяйственная деятельность научила ее не верить в чудеса. Но взгляд Савича выдал его с головой и родил сомнения. Скорее это были сомнения в собственном здравом смысле, который питался упорядоченностью Вселенной. Но если Вселенная допускает глупости в виде космических пришельцев, здравый смысл начинает шататься. История с зельем была невероятна, но, в принципе, не более невероятна, чем привоз в универмаг тысячи пар мексиканских сапог со шпорами. Поэтому проблема, стоявшая перед Вандой Казимировной, была лишь проблемой выбора: что опаснее — испортить себе желудок неизвестным пойлом или отдать в руки разлучницы Елены горячо любимого Савича, собственность не менее ценную, чем финский спальный гарнитур «Нельсон».

И Ванда Казимировна, морщась, выпила это пойло до дна, обогнав и Савича, и, уж конечно, Елену, которую она всегда обгоняла, а потом, уже победив и не глядя на них, пошла на кухню смыть водой неприятный привкус во рту.

— Ну, Лена, — произнес Савич негромко, потому что неловко было на виду у всех подгонять к молодости Елену Сергеевну, но на помощь неожиданно пришел старик Алмаз.

— Директорша, — сказал он добродушно, — неужели тебе не хочется снова по лужам пробежать, на траве поваляться? Молодая была, наверное, не сомневалась?

— Зачем все это? — спросила Елена Сергеевна, словно просыпаясь.

И тут все чуть не испортила простодушная Шурочка, которая воскликнула:

— Вы же мне подружкой будете, то есть ровесницей. Это так интересно.

И Елена Сергеевна отставила поднесенную было ко рту чашку.

— Я не так сказала? — испугалась Шурочка.

— Ты все правильно сказала.

— Елена Сергеевна, вы нас задерживаете, — напомнил Грубин.

— Уж полночь, — добавил Удалов. — Пустой бутылочки не найдется? Я бы Ксюше отлил.

Он поднялся и сам пошел на кухню, в дверях столкнулся с Вандой Казимировной. Та увидела, что и Савич, и Елена Сергеевна так и не выпили зелья.

— Никитушка, — удивилась Ванда Казимировна, — ты что же, решил меня одну оставить? Ведь я тебя брошу. На что мне старик? — И засмеялась.

И тогда Савич отхлебнул, стараясь ни на кого не смотреть, словно совершал какое-то предательство. Профессионально отметил возможные компоненты снадобья и потому еще более разуверился в его действительности. И может, не стал бы допивать, но тут увидел, что Алмаз крупными шагами подошел к Елене, сам взял ее чашку, поднес ей к губам, как маленькому ребенку. Вот-вот скажет: «За маму, за папу...» Вместо этого Алмаз произнес, улыбаясь почти лукаво:

— Выполни мою личную просьбу. Я ведь тоже хочу с тобой завтра на равных увидеться. Сделай милость, не откажи.

И был старик убедителен настолько, что Елена улыбнулась в ответ. В ее улыбке Савич увидел то, чего не заметил никто, — то давнее прошлое, ту легкость милого доброжелательства, умение согласиться на неприятное, чтобы другому было приятно. И Савич, видя, как Елена пьет зелье, с облегчением, камень с плеч, одним глотком допил, что было в чашке.

Вошел Удалов с пыльной бутылкой из-под фруктовой воды «Буратино», отлил туда зелья из кастрюли сколько оставалось. Начал затыкать бумажкой.

— Все, — проговорил Грубин. — Эксперимент закончен.

И тут заскрипели, зажужжали, готовясь к бою, старые настенные, темного дерева часы.

— Ноль ноль три, — сказал Грубин с последним ударом и занес свои слова на бумагу.

— Ура! — вдруг провозгласил Савич, ощутивший подъем сил. Он покосился на Ванду. Та только улыбнулась. — Ура!!! — опять крикнул Савич так громко, что Елена Сергеевна невольно шикнула на него:

— Потихе, Ваню разбудишь.

От крика очнулась Бакштина кошка. Она дремала у ног хозяйки, старчески шмыгая носом. Кошка открыла глаза, один — голубой, другой — красный, метнулась между ног собравшихся и, чтобы вырваться, спастись, прыгнула вверх, плюхнулась на стол, заметалась по скатерти, опрокидывая пустые стаканы и чашки, толкнула бутылку с оставшейся жидкостью.

Бутылка рухнула на пол, сверкнула и разлетелась в зеленые осколки.

— Обормоты! — только и смог сказать старик.

Кошка спрыгнула со стола, села рядом с лужей, поводя кончиком хвоста, а затем начала лакать черную жидкость.

— Все, — сказал Грубин и утерся рукавом пиджака.

— Как же теперь? — спросила Шурочка. — А нельзя восстановить?

— Если бы можно, все молодыми ходили бы, — ответил старик. — У нас такой техники еще нет.

— А по чему будете восстанавливать? — спросил Грубин Шурочку, будто она была во всем виновата. — По пробке?

— Тем более возрастет ваша ценность для науки, — сказал Миша Стендаль, защищая Шурочку. — Вас будут изучать в Москве.

Миша совсем разуверился в событиях. Даже кошка показалась ему частью большого розыгрыша.

— У вас порошок остался, — напомнил Грубин старику, без особой, правда, надежды.

— Порошок — дело второе, — ответил тот. — Одним порошком молод не будешь. Пошли, что ли? Утро уже скоро.

...Ночь завершалась. На востоке, в промежутке между колокольнями и домами, небо уже принялось светлеть, на-

ливаться живой, прозрачной синевой, и звезды помельче таяли в этой синеве. По дворам звучно и гулко перекликались петухи, и уж совсем из фантастического далека, из-за реки, принесся звон колокольчика — выгоняли коров.

Предутренний сон города был крепок и безмятежен. Скрип калитки, тихие голоса не мешали сну, не прерывали его, а лишь подчеркивали его глубину.

Елена Сергеевна стояла у окна и слушала, как исчезали, удаляясь, звуки. Четкие каблучки Шурочки; неровная, будто рваная, поступь Грубина; почти неслышные шаги Милицы; звучное, долгое, как стариковский кашель, шарканье подошв Алмаза; деликатный, мягкий шаг Удалова; переплетение шагов Савича и его жены.

Шаги расходились в разные стороны, удалялись, глохли. Еще несколько минут, как отдаленный барабан, доносился постук стариковской палки. И — тихо. Предутренний сон города крепок и безмятежен.

14

Удалов поднял руку к звонку, но замешкался. Появилось опасение. Он покопался в карманах пижамы, раздобыл черный бумажник. В нем, в отделении, лежало круглое зеркальце. Удалов подышал на зеркальце, потер его о штанину и долго себя разглядывал. Свет на лестнице был слабый, в пятнадцать свечей. Удалову казалось, что он заметно помолодел.

Удалов думал, дышал, возился у своей двери.

Жена Удалова, спавшая чутко и одиноко, пробудилась от шорохов и заподозрила злоумышленников. Она подошла босиком к двери, прислушалась и спросила в дверную скважину:

— Кто там?

Удалов от неожиданности уронил зеркальце.

— Я, — сказал он. Хотя сознаваться не хотелось.

— Кто «я»? — спросила жена. Она голоса мужа не узнала, полагая, что он надежно прикован к больничной койке.

— Корнелий, — ответил Удалов и смутился, будто ночью позволил себе побеспокоить чужих людей. В нем зародилась отчужденность от старого мира.

Жена охнула и раскрыла дверь. Тут же увидела на полу осколки зеркала. Осколки блестели, как рассыпанное бриллиантовое ожерелье.

— Кто тебя провожал? — произнесла она строго. Она мужу не доверяла.

— Я сам. — Корнелий огорчился. — Плохая примета. Зеркало разбилось.

— Ты, значит, под утро стоишь себе на лестнице и смотришься в зеркало? Любуешься? Хорош гусь. А я тебе должна верить?

— Не кричи, пожалуйста, — сказал Удалов. — Максимку разбудишь.

— Максимка спит, наплакавшись без отца. Одна я. Жена правдиво всхлипнула.

— Важное задание, — попытался остановить ее Удалов. — Меня даже из больницы выпустили. Опыт проводили.

— Опыт? Ночью? Предупреждала меня мама — за Корнелия не выходи! Намаешься! Не послушалась я, дура.

— Ксюша, дай в дом войти.

— Зачем тебе в дом? Нечего тебе дома делать.

— Опыт мы проводили. Уникальный опыт. Омоложивались.

— Значит, омоложивался?

— Я принял и тебе принес. Видишь? — Удалов здоровой рукой вытащил из кармана пижамы заткнутую бумажкой бутылку из-под фруктовой воды «Буратино».

— Издеваешься? — Чуткий нос Ксении уловил легкий запах спиртного, доносившийся то ли от Удалова, то ли от бутылки, в которой вздрагивала темная жидкость. — Я тебе ужин грею, в больницу бегу, переживаю, а он, видите ли, омоложиваться наострился. С кем омоложивался, мерзавец?

— Там целая группа была, — оправдывался Удалов громким шепотом. — Коллектив. Ты не всех знаешь. У Грубина спроси.

— И Грубин твой туда же! Ему что, его дело холостяцкое. А у тебя семья. — Ксения сделала паузу, которая вселила в Удалова надежду на прощение, но надежды оказались ложными. — Была семья да нет!

И с этими словами Ксения хотела закрыть дверь. Удалов успел вставить ногу в шлепанце, чтобы осталась щель. Ноге было больно.

— Ксюша, — зашептал он быстро, — ты тоже молодой станешь. Гарантирую. Марсианское средство. Мы в Москву поедem, на испытания.

Ксения ловко ударила носком по ноге Удалова, выбила преграду и захлопнула дверь. Дверь была нетолстая, и Удалов слышал сквозь нее, как громко дышит жена.

— Ксюша, — сказал он, — если ты возражаешь, я без тебя в Москву поеду. Мне только переодеться.

Ксения всхлипнула.

— Пойми же, неудобно в пижаме в Академию наук.

— Академия наук! — В эти слова Ксения вложила все свое возмущение моральным падением Корнелия. — Туда только в пижаме и ходят!

— Еще не поздно, — гнул свое Удалов. — Мы будем бегать по лужам и плести венки, ты слышишь?

— Уйди! — загремел из-за двери голос Ксении. В нем было столько гнева, что Удалов понял — прощения не будет. — Уезжай с ней в Академию наук, на Черноморское побережье. Уходи, а то я так закричу, что весь дом проснетcя!

И Удалов, сжимая в руке бутылку с Ксюшиной долей зелья, быстро на цыпочках сбежал с лестницы. Он знал, что Ксения, скажи он еще слово, выполнит свою угрозу.

А Ксения, стоявшая, прижав к двери ухо, услышала, как удаляются шаги Корнелия. Кляня мужа, Ксения полагала, что он будет покорно стоять у двери. А он ушел. Значит, все ее подозрения были оправданны. И, задыхаясь от боли и обиды, она кинулась в комнату, растворила шкаф и стала выхватывать оттуда носильные вещи Корнелия. Потом отворила окно.

Удалов остановился в нерешительности.

Будь ситуация иной, он бы вел себя по правилам. Вымаливал прощение. Но жизнь изменилась, и в ней появились перспективы. Ксения этих перспектив не поняла и оказалась по большому счету недостойна молодости. «Ну и пожалуйста, — думал Удалов, — стану молодым, разведусь с Ксенией, сына отберу, будет он мне как младший брат. Снимем комнату, будем жить дружно, женимся. К примеру, на Шурочке Родионовой. Характер у нее хороший, мирный».

И в этот момент из окна второго этажа на него начали сыпаться вещи.

Удалову попало ботинком по голове. Белыми птицами летали рубашки, черным орлом спускался сверху пиджак, тускло сверкающим снарядом пролетел возле уха портфель и, не взорвавшись, ударился о траву. Копьем пронзила темноту любимая удочка.

Последним аккордом прозвучало рыдание Ксении. Хлопнуло, закрываясь, окно. Удалов был изгнан из дома. Навсегда.

Что-то надо было предпринять.

Удалов хотел было собрать с земли вещи, но мешала бутылка, зажатая в руке.

Выкидывать ее было неразумно. В ней находилось ценное лекарство. На спиртовой основе. Удалов подумал, что, когда раздавали чашки, ему вроде бы досталась самая маленькая. Он вытащил бумажную затычку и выпил зелье. Так надежнее.

Удалов выкинул бутылку в крапиву и негромко сказал: — Тебе предлагали, ты отказалась, — имея в виду Ксению.

Затем собрал в охапку вещи, пиджак и брюки повесил на загипсованную руку и побрел со двора.

Рубикон был перейден. Но что за местность лежит за ним, было неизвестно.

Хотелось уйти подальше от дома, туда, где его поймут. К Грубину нельзя. Грубин будет смеяться. В больницу тоже нельзя, там Ксения подняла панику и будут неприятные разговоры. Оставалась Елена Сергеевна, бывшая учительница. Она все знает, она должна понять.

По голубой-рассветной улице брел Корнелий Удалов в полосатой больничной пижаме. Он искал убежища.

15

Елена Сергеевна устроила Удалова в маленькой комнатке, где выросли ее дети, где сейчас спал Ваня. Она поставила ему раскладушку, и Удалов непрерывно благодарил ее, конфузился и не знал, куда деть развешанные на гипсовой руке носильные вещи.

За время бега по городу Удалов как-то забыл о надвигающемся омоложении. Он находился в состоянии востор-

женном и нервном, но причиной тому были, скорее всего, уход от жены и бессонная ночь.

— Я ничего, — говорил он. — Вы не беспокойтесь, мне одеяла не надо и простыни не надо, я по-солдатски, как Суворов. Вы сами идите спать, уже утро скоро. Я-то на бюллетене. Мне и подушки не надо.

А сам думал, что следовало бы захватить из дома простыни. Бог знает сколько еще придется ночевать по чужим углам. Но и эта, казалось бы, печальная мысль наполняла его грудь щекотным чувством мужской свободы.

Елена Сергеевна не послушалась Удалова. Постелила простыню и дала одеяло, подушку с наволочкой. И ушла.

Удалов, лишь голова его коснулась подушки, заснул праведным сном и залиvisto всхрапывал, отчего Елена Сергеевна заснуть никак не могла.

Елена Сергеевна понимала, что в ее жизни появилась возможность помолодеть. Физически помолодеть. Как умная и образованная женщина, она даже представляла себе, как это произойдет, что с ней случится. Очевидно, состав старика стимулирует работу желез внутренней секреции. Значит, в оптимальном варианте разгладятся морщины, усилится кровообращение и так далее. Елена Сергеевна старалась остаться на сугубо научной почве, обойтись без чудес и сомнительных марсиан. Но было страшно. Хотя бы потому, что диалектически каждому действию соответствует противодействие. За омоложение организму придется расплачиваться. Но чем? Не сократят ли любители экспериментов себе жизнь, вместо того чтобы продлить ее? Все-таки правильно, что медики сначала все опыты ставят на мышах.

Удалов разнообразно похрапывал и бормотал во сне. Кстати, когда произойдет омоложение? Старик сказал: проснетесь другими людьми. Мучителен ли этот процесс?

Елене Сергеевне захотелось убедиться в том, что еще ничего не произошло. Она босиком подошла к шкафу, зажгла лампу на столе рядом и присмотрелась. Никаких изменений. Правда, покраснели веки, но это потому, что день был долог и утомителен.

Елена Сергеевна потушила свет, вернулась на кровать. И постаралась заснуть. За окном уже почти рассвело, и часа через три проснется Ваня.

Ей показалось, что она так и не спала. На мгновение провалилась в темноту, а уже Ваня трясет ее за плечо:

— Баба, вставай!

Елена Сергеевна не открывала глаз. Знала, что Ваня сейчас протопает в сени, где стоит горшок, и засядет там минут на десять. За эти минуты надо окончательно проснуться, встать, накинуть халат и вымыться. И еще зажечь плиту.

Елена Сергеевна мысленно проделала все утренние дела, и тут же, по мере того как просыпался мозг, очнулись другие мысли, вылезли на поверхность.

Существовала необходимость посмотреть в зеркало. Подойти к шкафу и посмотреть в зеркало. Почему? Ах да, старик, сказочные истории, разбитая бутылка. Елена Сергеевна сбросила одеяло, села. Шкаф с зеркалом стоял неудобно, боком, зеркало казалось узкой щелью, голубой от неба, отраженного в нем.

Надо было встать и сделать два шага. И оказалось, что это трудно. Даже странно. И, глядя не отрываясь на голубую щель, Елена Сергеевна сделала эти два шага.

В том невероятном, даже ужасном, что произошло с Еленой Сергеевной, пока она спала, не было никакой науки, никакого ровным счетом гормонального воздействия. И не разглаживались морщины, и не усиливалось кровообращение. А было чудо, антинаучное, необъяснимое, от которого никуда не денешься и которое влечет за собой множество осложнений, неприятностей и тяжелых объяснений. Первой неприятностью, думала Елена Сергеевна, глядя в зеркало, узнавая себя, знакомясь с собой заново, станет встреча с Ваней, который в любой момент может выйти из сеней. Ребенок остался без бабушки. Кто она ему теперь? Мать? Нет, она слишком молода для матери. Сестра? Елена Сергеевна провела рукой по лицу, дивясь забытому ощущению свежести и нежности своей кожи.

Ваня вошел в комнату и подбежал к Елене Сергеевне. Остановился, положил медленно и задумчиво в рот палец и замер.

Замерла и Елена Сергеевна. Она ощущала глубокий стыд перед внуком. Она мечтала о том, чтобы чудо кончилось и она проснулась. Это был тот сон, прерывать который очень жалко, но прервать необходимо для блага других. Елена Сергеевна больно ущипнула себя за ухо.

Ваня заметил ее движение и сказал, не вынимая пальца изо рта:

— Какая ты сегодня красивая, бабушка! Даже молодая. А чего щиплешься?

— Милый! — воскликнула Елена Сергеевна. — Узнал меня!

— Конечно узнал, — басом ответил Ваня, — ты же в бабушкином халате.

Она схватила Ваню, прижала к себе — каким легким он стал за ночь! Подняла к потолку и закружилась с ним по комнате.

Ваня хохотал, радовался и, чтобы использовать бабушкино хорошее настроение, кричал сверху:

— Ты мне купи велосипед!.. Ты мне купишь велосипед?

Развевался в кружении старенький халат. Елена Сергеевна крепко и легко переступала сухими стройными ногами, пушистые молодые волосы закрывали глаза, взвихряясь от движения.

Опустив Ваню на пол, Елена Сергеевна вспомнила вдруг, что у нее в доме гость — Удалов. Спит еще, наверное, подумала она. Каков он? Елена осторожно приоткрыла дверь в маленькую комнату.

Кровать была смята. Одеяло свесилось на пол. Пиджак висел на спинке стула. Сброшенным коконом лежал на полу белый гипсовый цилиндр — оболочка сломанной руки.

Удалова не было.

16

Старуха Бакшт задремала, не раздеваясь, в кресле. Это было вредно в ее возрасте, но она не хотела упустить возвращение молодости. Она совсем запомнила прошлое омоложение, а будет ли еще одно, не знала.

Дремота была нервной, с провалами, разрозненными снами и возвращением к полутьме комнаты, тусклой лампе под абажуром с кистями.

Беспокоилась кошка, царапала ширму...

Случилось все незаметно. Казалось, на минуту прикрыла глаза и в бысролетном кошмаре полетела вниз, к далекой земле, домикам с острыми крышами, открыла гла-

за, чтобы прервать страшный полет, и встретила в зеркале взгляд двадцатилетней красавицы Милицы. И было неудобно в тесном старушечьем платье. Жало в груди и в бедрах, и было стыдно за это платье и за собственную недавнюю старость.

— Господи, — сказала Милица Бакшт, — как я хороша!

И она одним прыжком — тело повиновалось, летело — достала дверь, накинула крючок, чтобы кто не вошел, и, торопясь, смеясь и плача, сдернула, разорвала старушечьи обноски, зашвырнула высокие, раздутые суставами ботинки за ширму, сорвала с волос нелепый чепец. И встала перед зеркалом, нагая, прекрасная.

Помолодевшая, неузнаваемая кошка вскочила на стол и тоже любовалась и собой, и хозяйкой.

Милица Федоровна Бакшт сказала ей тягучим, страстным шепотом:

— Вот такой любил меня Александр Сергеевич. Саша Пушкин.

Стало душно, и мешали устоявшиеся запахи. На цыпочках подбежала Милица к окну и растворила его. Взлетела пыль, и клочья желтой, ломкой бумаги, наклепленной бог весть когда на рамы, бабочками-капустницами расселись по комнате. Скрип окна был слышен далеко по рассветному городу, но никто не проснулся, и никто не увидел голубую от рассветного воздуха обнаженную красавицу в окне на втором этаже старого дома.

— Я помню чудное мгновенье... — пропела тихо Милица.

И замерла, ибо заглушенный чувствами и острыми ощущениями, но живучий голос старухи Бакшт проснулся в ней и обеспокоился, не простудится ли она с непривычки. Надо беречь себя. Еще столько лет впереди. Но беззаботная молодость взяла верх.

— Ничего, — сказала Милица самой себе. — Ничего сомной не случится. Мне же не сто лет. — Накинула халатик, засмеялась в голос и добавила: — Куда больше.

Захотелось есть. Где-то были коржики. Сухие уже. Милица распахнула буфет. Взвизгнула, возмущившись, дверь, привыкшая к деликатному обхождению.

С коржиком в кулаке красавица заснула, свернувшись клубком в мягком кресле. И не видела снов, потому что спала крепко и даже весело.

В ночь, описываемую в повести, все герои ее, как никогда прежде, ощутили власть зеркал. Верили они в то, что станут моложе, или относились к этому скептически, все равно старались от зеркал не отдаляться.

Грубин также извлек из-за шкафа зеркало, пыльное, сколотое на углу. Он зеркала презирал и никогда в них не смотрелся, даже при бритье и причесывании. Но все-таки Грубин был прежде всего исследователем, участником эксперимента и потому считал своим долгом этот эксперимент пронаблюдать.

До утра оставалось часа три, и следовало провести их на ногах, чтобы меньше клонило ко сну. Грубин подключил вечный двигатель к патефону — крутить ручку — и поставил пластинку. И патефон, и пластинки были старыми, добытыми на работе среди старья и утиля. Если бы не вечный двигатель, Грубин бы музыку и не слушал — уж очень утомительно прокручивать тугую патефонную ручку. Подбор пластинок также был случаен. Одна была старой и надтреснутой. На ней некогда популярные комики Бим и Бом рассказывали анекдоты. Про что, Грубин так и не узнал за шипением и треском. Была также песня «Из-за острова на стрежень» в исполнении Шаляпина, но без начала.

Под могучий бас певца Грубин принялся вырезать на рисовом зерне «Песнь о вещем Олеге». Он занимался этим натужным делом второй год и дошел лишь до третьей строфы. Он уже понял, что последним строкам места не хватит, но работу не прекращал, потому что был самолюбив и полагал себя способным превзойти любого умельца.

Работа шла медленно, под микроскопом. Грубин устал, но увлекся. Зеркало стояло прямо перед ним, чтобы можно было время от времени бросать на него взгляд в ожидании изменений.

В комнате было не шумно, но и не тихо. Приглушенно гремела пластинка. Грубин мурлыкал под нее различные песни, жужжала микродрель, ворон терся о скрипучую ножку стола, возились под кроватью мыши, сонно всплескивали золотые рыбки. Надвигался рассвет.

Грубин кончил изображать букву «х» в слове «волхвы», и тут что-то кольнуло в сердце, произошло мгновенное затуманивание сознания, дурнота. Почувствовав неладное, Грубин взглянул в зеркало. Он опоздал.

Он был уже молод. Худ по-прежнему, по-прежнему рас-трепан и дик глазами, но молод так, как не был уже лет двадцать пять.

— Дела... — сказал Грубин. — Волхвы проклятые...

Он был недоволен. Подготовленный эксперимент не удался.

Потом Грубин успокоился, пригляделся поближе и даже сам себе приглянулся.

— Так, — произнес он и уселся размышлять.

Грубин чувствовал себя сродни тому человеку, что выиграл по облигации десять тысяч рублей. Вот они, деньги, лежат, принесенные из сберкасс, толстая пачка из красных десятирублевок. Их слишком много, чтобы купить новый костюм или погасить задолженность по квартирной плате. Их так много, что вряд ли можно истратить сразу на какую-нибудь одну крайне ценную вещь. Правда, дома немало расходов, срочных и неотложных, на которые можно пустить часть выигрыша. Но в том-то и заключается психологическая каверза крутой суммы, что дробить ее на мелкие части унижительно и непристойно. Купить дом? Поехать в круиз вокруг Европы? А зачем новый дом? Зачем ему Европа? А что потом? И начинает охватывать безысходная жуть. Деньги давят, гнетут и порабощают свободного человека.

Двадцать пять лет жизни получил Грубин. Молодость получил Грубин. На что истратить эти свалившиеся с неба годы? Написать на рисовом зерне «Слово о полку Игореве»? И о том сообщат в журнале «Огонек»? Да, три года, пять лет можно истратить на такое занятие. И, только подумав об этом, Грубин ощутил всю его бессмысленность, да так явственно, что выхватил из-под микроскопа испи-санное зернышко и метко запустил им в открытую форточку. И нет зернышка. Склюют его куры, не прочтя написанного стихотворения. Что делать?

Еще два часа назад Грубин, не обладая молодостью, мог рассуждать спокойно и мудро: если он получит эти годы, то потратит их на творческую изобретательскую деятельность. Не будет ничего менять в образе жизни, лишь удлинит ее.

А сейчас, поглядывая в зеркало на двадцатилетнего косматого молодого человека, Грубин осознавал, что преступно предоставить жизни течь по старому руслу. Если жизнь дается человеку дважды, надо начать ее сызнава. И начать

красиво, гордо, с учетом всех совершенных когда-то ошибок. И подняться до высот. Правда, как он это сделает, Грубин не придумал, но томление, терзавшее его сердце, не позволяло дальше сидеть в пыльной комнате перед пыльным зеркалом. Надо действовать.

И Грубин начал свои действия с того, что открыл шкаф и вытащил оттуда чистую праздничную рубашку, запасную майку и полосатые носки. Одежда, употребляемая им ранее, казалась уже неприятной, а главное — нечистой. Удивительно, как Грубин мог не замечать этого раньше.

17

Савич проснулся не сразу.

Сон отступил, играя воображением. Чудилось, что он молод, крепок, строен и преследует по кустам кудрявую нимфу. Вот-вот он настигнет ее, пальцы уже дотронулись до атласной кожи. Нимфа оборачивается, совсем не страшась преследователя, даже улыбается и неожиданно для себя спотыкается о розовый куст, что позволяет Савичу дотянуться до ее плеч и схватить надежно, повелительно. Нимфа задыхается от беззвучного смеха, готова уже сдаться, и губы ее раскрываются для нежного поцелуя. Савич запутывает пальцы в густых кудрях нимфы и думает: на кого же похожа эта хозяйка сказочного леса? Ладно, потом разберемся, решает он и прижимает к себе трепещущее тело.

— Ай! — кричит нимфа пронзительно. — На помощь! Милиция!

И Савич немедленно проснулся.

Глаза его, открывшись, не сразу привыкли к рассветному полумраку в комнате, и потому ему показалось, что сон продолжается, потому что в его сильных руках билась, как золотая рыбка, прекрасная нимфа. Только дело происходило не в лесу, а в его собственной постели, что было еще удивительнее.

— Оставьте меня! — кричала прекрасная нимфа знакомым голосом.

Разумеется, Савич, будучи человеком воспитанным и мягким, прекратил обнимать нимфу и постарался сообразить, что же происходит:

— Хулиган! — кричала нимфа, путаясь в одеяле и стараясь соскочить с широкой постели.

И Савич понял — кричит и волнуется его собственная жена Ванда Казимировна, директор универмага, помолодевшая лет на сорок.

Его рука совершила короткое путешествие к собственной голове и обнаружила, что голова покрыта густыми встрепанными волосами. И другая рука метнулась к животу и обнаружила, что толстого, мягкого живота нет, а есть на том месте впадина.

И Савич сразу все вспомнил и осознал.

— Ванда, — сказал он, схватив нимфу за локоть и стараясь не допустить, чтобы она в одной ночной рубашке бежала за милицией. — Вандочка, это я, Никита. Мы с тобой стали молодыми.

Нимфа еще продолжала вырываться, сопротивляться, но сопротивление на глазах теряло силу, потому что Ванда Казимировна была женщиной быстрого, решительного ума — иначе не удержишься на посту директора универмага.

Она оглянулась и присмотрелась к Никите.

Она узнала его.

Она протянула руку к зеркалу с ручкой, что лежало на тумбочке у кровати, и посмотрелась в него.

— Так, — сказала она медленно. — Значит, не врал старик.

Савич любовался ее гибким, упругим, плотным телом. Именно эта девушка, уверенная в себе, яркая и властная, заставила его забыть скромную Елену.

— Так, — повторила Ванда Казимировна, и изящным движением рыси, выходящей на охоту, она соскочила с кровати, пробежала, стуча босыми пятками, к окну и опустила плотную штору, что забыли опустить вчера, после волнений сумасшедшей ночи.

Стало почти совсем темно.

— Ты что? — спросил Савич. — Зачем?

— Никитушка, — слышался совсем близко страстный шепот, — мальчик мой.

Горячие руки нимфы обвили шею Савича, пылающее девичье тело прижалось к нему.

— Ну что ты... — сказал Савич, понимая, что сходит с ума от вспыхнувшей страсти. — Разве можно так сразу...

Тщательно умытый холодной водой, с чищеными белыми зубами, в полосатых носках и свежей белой рубашке, шел Грубин по рассветным улицам Великого Гусяра и радовался прохладному воздуху, прозрачным облакам над рекой, гомону ранних птиц, скрипу телег, съезжавшихся на базар, и далекому гудку парохода.

Он не знал, куда и зачем идет. Он нес в себе секрет и радость, хотел поделиться ими с другими людьми, сделать нечто хорошее, что достойно отметило бы начало новой жизни.

Остановился у провала. Заглянул через загородку вглубь, в темноту, из которой возникла столь недавно его новая жизнь, и даже присвистнул, дивясь собственному везению. Не пошел бы Удалов в универмаг, не испугался бы одиночества, сидел бы Грубин сейчас дома и, ни о чем не подозревая, пил бы себе «Песнь о вещем Олеге». Грубину даже гадко стало от мысли, что существуют люди, грабящие себя и человечество столь бездарным способом. И он пожалел на мгновение, что не выкинул заодно и микроскоп, но потом сообразил: микроскоп его может пригодиться для дела. Для настоящего дела.

Окно во втором этаже было распахнуто, и на подоконнике среди горшков с цветами сидела элегантная сиамская кошка и умывалась.

— Милая, — сказал ей Грубин, — уж не Бакштин ли ты зверь?

Тут Грубина посетила мысль о том, что чудесное превращение произошло не только с ним одним. Ведь этой же ночью помолодели и его друг Удалов (а как же с его женой?), и Елена Сергеевна, и старуха Бакшт, которой он помог доплестись ночью до дому. И сзади, вспомнил он, семенила старая сиамская кошка. Теперь на подоконнике сидит молодая сиамская кошка, и также с разными глазами. Маловероятно, что в Великом Гусяре есть две сиамские кошки с разными глазами, тем более в одном доме.

— Кис-кис... — позвал Грубин. — А где твоя хозяйшкa? Кошка ничего не ответила.

Грубин искал, чем бы привлечь внимание старухи. Уж очень его терзало любопытство: что с нею произошло

за ночь, сколько лет ей удалось скинуть? А вдруг на нее и не подействовало? Грубину стало искренне жаль бабушку, находящуюся на пороге смерти.

Грубин подошел к стенду с вчерашней газетой, оторвал пол-листа, свернул в тугой комок и сильно запустил в открытое окошко.

Кошка сиганула в ужасе с подоконника, задев горшок с настурциями, горшок свалился внутрь и произвел значительный шум.

— Ах! — вскрикнул кто-то в комнате.

Грубину стало неловко и захотелось убежать, и он сделал бы это, если бы в окне не показалась прелестная, сказочной красоты девушка. Длинные волосы цвета воронова крыла спадали волнами на ее плечи, глаза были огромны и лучезарны, нос прям и короток, губы полны и смешливы.

— Ах! — воскликнула девушка, увидев, что с улицы на нее восторженно глазеет косматый молодой человек в белой рубашке. Она смущенно запахнула старенький халатик и вдруг захохотала звонко, не боясь разбудить всю улицу. — Глупец. — смеялась она. — Этот горшок простоял сто лет. Но мне его не жалко. Вы же Грубин. Поспешите ко мне в гости; и мы будем пить кофе.

— Бегу, — ответил Грубин, сделал стойку на руках и на руках же пошел через улицу к двери, потому что у него были сильные руки и когда-то он имел первый разряд по гимнастике.

Милица угощала гостя соленьями, коржиками, повидлами — кушаньями вкусными, домашними, старушечьими. Забывала, где что лежит, и смеялась над собой. Многолетние запахи комнаты умчались в открытое окно, будто только того и ждали.

В комнате было солнечно и прохладно.

— Сначала выкину всю эту рухлядь, — говорила Милица. — Вы мне поможете, Александр Евдокимович? Я давно собиралась, но, когда так стара и немощна, приходится мириться с вещами. Они с тобой старились и с тобой умрут. Теперь все иначе. Я неблагодарная, да?

— Почему же? — удивился Грубин. — У меня вообще никогда вещей не было. А это правда, что Степан Разин вас чуть не кинул в реку?

— Не помню. Только по рассказам Любезного друга. Я думаю, что не стал бы.

— Наверное, не хотел, — сказал Грубин, стесняясь в присутствии такой красавицы своей неприглядности и лохматого вида. — Его казаки заставили.

— Ревновали, — поддержала его Милица.

Она, проходя по комнате, не забывала поглядеть в зеркало. Очень себе нравилась.

Грубин отчистил ногтем застарелое пятно на брюках, отхлебнул крепкого кофе из старинной чашечки и заел коржиком. Есть он тоже стеснялся, но очень хотелось. Милица, как ящерка, за столом усидеть не могла. Она вскакивала, поправляла что-то в комнате, составляла на пол горшки с цветами, потом распахнула комод и вывалила на пол плаття, салопы, пальто, платки. На минуту комнату окутал нафталиновый чад, но его быстро вытянуло на улицу.

— Это выкинуть и это выкинуть, из этого еще что-то можно сделать. А когда откроются газетные киоски, вы мне купите модный журнал?

— Конечно, хоть сейчас пойду.

Грубина удивляло, что в Милице начисто нет прошлого. Будто она никогда не ходила в старухах. Сам он груз лет ощущал. Не сильно, но ощущал в душе. А Милица словно вчера родилась на свет.

— Я вам нравлюсь? — спросила она.

— Как? — Грубину давно никто не задавал таких вопросов.

— Я красивая? Я привлекательная женщина?

— Очень.

— Вы пейте кофе, я еще налью. Я за ширму пойду и примерю платье. Вы не возражаете?

Грубин не возражал. Он был в трансе, в загадочном сладком сне, в котором поят горячим кофе с коржиками.

Из-за ширмы Милица, роняя вещи и шурша материей, продолжала задавать вопросы:

— Александр Евдокимович, вы бывали в Москве?

— Вы меня Сашей зовите, — предложил Грубин. — А то неудобно.

— Очень мило, мне нравится этот современный стиль. А знаете, несмотря на то что мы с Александром Сергеевичем Пушкиным, поэтом, были очень близки, он всегда об-

ращался ко мне по имени-отчеству. Интересно, правда? И вас тоже Сашей зовут.

Грубин мысленно проклял себя за невоспитанность. Даже не так поразился знакомству Милицы Федоровны, ибо знакомство было давним и ничего удивительного при ее возрасте и красоте в этом не было.

— Надо будет, Милица Федоровна, — сказал он официальным, несколько обиженным голосом, — пойти к Елене Сергеевне. Посоветоваться.

— Правильно, Сашенька, — засмеялась серебряным голосом из-за ширмы Милица. — А вы меня будете называть Милой? Мне так больше нравится. Ведь мы живем в двадцатом веке.

— Конечно, — ответил Грубин.

Он продолжал еще обижаться, и это было приятно — обижаться на столь красивую женщину.

— Я только кое-что подгоню по себе. Ничего не годится, ну ровным счетом ничего. Потом поедем.

— Чего уж ехать. Десять минут пешком.

— А вы, Сашенька, инженер?

— Почему вы так решили? У меня образования не хватает. Я в конторе работаю.

Грубин говорил неправду, но эта неправда относилась к прошлому. Он знал, что с сегодняшнего дня он уже не руководит точкой по сбору вторичного сырья. Он скорее инженер, чем старьевщик. Прошрое было его личным делом. Ведь Мила тоже была старухой домохозяйкой. А это ушло.

Милица вышла из-за ширмы, неся на руках платье. Она разложила его на столе, оттеснив Грубина на самый край, достала ножницы и задумалась.

— От моды я отстала. Придется будить Шурочку.

— Да, Шурочка, — вспомнил Грубин. — Она за вас обрадуется.

19

Грубин остановился за дверью Родионовых, позади Милицы. Та позвонила.

— Они рано встают. Я знаю, — сказала Милица.

— Вам кого? — спросила, открыв, женщина средних лет, чертами лица и голосом весьма схожая с Шурочкой, из тех женщин, что сохраняют стать и крепость тела на долгие годы и умеют рожать таких же крепких детей. Более того, отлично умеют с ними обращаться, не создавая лишнего шума, волнений и не опасаясь сквозняков.

За ней стояли двое парнишек, также схожих с Шурочкой чертами лица.

— Вы к Шурочке? — спросила женщина. — Из магазина?

— Здравствуйте, — произнесла весело Милица. — Вы меня не узнаете?

— Может, видела, — согласилась Шурочкина мать. — Заходите, чего в коридоре стоять. Шурка вчера под утро прибежала. Я на нее сердитая.

— Спасибо. Мы на минутку. — Милице было радостно, что ее не узнали.

— Ваша дочь здорова? — спросил из полутьмы коридора Грубин.

— А что с ней станется? Шура! К тебе пришли!

Женщина уплыла по коридору, и за ней, как утята, зашлепали Шурочкины братья.

— Она меня не узнала! — объявила торжественно Милица Федоровна. — А я только позавчера у нее соль занимала.

Шурочка, заспанная, сердитая после домашнего выговора, выглянула в коридор, приняла при плохом освещении Милицу за одну из своих подруг и спросила:

— Ты чего ни свет ни заря? Я еще не проснулась.

— Не узнала! — воскликнула Милица. — И мама твоя не узнала. А его узнаешь? Пойдите сюда, Сашенька.

Грубин неловко ухмыльнулся и переступил раза два длинными ногами.

— Мамочки мои родные! — ахнула Шурочка. — Товарищ Грубин! Неужели в самом деле подействовало?

— Как видите, — ответил Грубин и повернулся медленно и нескладно, как у портного.

— А как остальные?

Шурочка говорила с Грубиным, а на Милицу даже не смотрела.

— Остальные? — Грубин хихикнул и подмигнул Милице. — Про всех не скажу, а вот одна твоя знакомая рядом стоит.

— Какая знакомая?

Шурочка наморщила лоб, поправила челку, приглядываясь пристально к Милице. Но все равно угадать не смогла.

— То ли меня разыгрываете, то ли я совсем душой стала.

— Я твоя соседка, Бакшт, — прошептала Милица. — И ты мне нужна. Как сверстница.

— Ой, мамочки! — вырвалось у Шурочки. — Этого быть не может, я сейчас умру, если вы меня не разыгрываете.

— Полно, душечка, — сказала Милица. — У меня на стенке висят акварели. Я там очень похожа. Пошли, время не ждет. Надо уходить, а я без платья. Не в салопе же мне ходить по улицам. Мне придется сообразить что-нибудь из обносков.

— Чудеса, да и только, — говорила Шурочка. — Пойдемте на свет.

Тут она от волнения совсем перестала выговаривать знаки препинания.

— Мы сейчас у меня какое-нибудь платье возьмем, — предложила она, входя в комнату с Бакшт и подводя ее к окну, чтобы разглядеть получше. — Конечно это вы и я отсюда вижу что на акварели это тоже вы но с товарищем Грубиным меньше изменений теперь наука сделает громадный шаг вперед и стариков вообще не будет а с платьем мы что-нибудь придумаем мое возьмете вы тут подождите а я утащу одно наверное подойдет чего возиться только чтобы мама не увидела.

И Шурочка испарилась, исчезла, только слова ее еще витали несколько секунд в комнате.

— Ну вот, — сказала Милица. — Разве она не прелесть?

— Вы обе прелесть, — ответил Грубин, смутился и подошел к окну.

Он вдруг вспомнил, что Мила как-никак персидская княжна и была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным.

20

Савич сидел за столом, слушая, как щебечет Ванда. Он уже все осознал и готов был себя убить. И Ванду, разумеется, тоже. Не прожив и часа молодым, он уже изме-

нил Елене вновь. И снова с Вандой. Как же это могло случиться?

Он же специально пил зелье для того, чтобы жизнь пошла по иному пути.

— Никитушка, — Ванда подкралась сзади и поцеловала его в затылок, — я так соскучилась по твоим кудрям, лет тридцать их не видала. Тебе кофе со сливками?

— Все равно, — сказал Савич.

— Сейчас гренки будут готовы. Ах ты мой донжуанчик! А я просыпаюсь — в кровати насильник. С ума можно сойти. А никому не расскажешь. Вот бы покойная мама смеялась!

Ванда носилась по комнате легко, как настоящая нимфа. Правда, теперь Савич уже понимал, что для нимфы она слишком крепка телом и широка в бедрах. Впрочем, кто их видел, этих нимф?

— Пей, мой мальчик. — Чашка кофе исходила ароматным паром, гренки были золотыми — и на них еще пузырилось масло. — Колбаски порезать?

«Какой нежной она может быть, — подумал Савич. — А я уже и забыл. Надо отдать Ванде должное, она меня любит. А какой стала Елена? Может, еще не поздно? Я ничего ей не скажу. В конце концов, ничего не произошло. Мы с Вандой официально расписаны, и она имеет право на супружеские отношения».

Оправдание было неубедительным.

Ванда уселась напротив, в халатике, волосы чернокрылой сумятицей над белым лбом, глаза сверкают, щеки розовые, словно намазаны румянами. И такая в ней была сила здоровья, такая бездна энергии. Глаза ее вдруг затуманились, грудь высоко поднялась, и голос стал низким и страстным.

— Мальчик мой, — произнесла она. — Иди ко мне.

«Съест, — подумал Савич, — ей только дай волю, она съест. А в моем возрасте это опасно для сердца. В каком возрасте? Что я несу?»

— Пора идти, — сказал Савич, стараясь не глядеть в глаза жены.

— Куда идти?

— К Елене Сергеевне. Ведь мы не одни были. С другими тоже произошло.

— А какое нам дело до других? — Ванда обежала стол, наклонилась над Савичем, губами щекотала ухо.

— Ванда, не сходи с ума, — остановил ее Савич. Так бы он сорок лет назад не сказал. Не имел жизненного опыта. — Мы с тобой в коллективе. В любую минуту они могут прийти сюда, чтобы проверить.

Ванда выпрямилась.

— Ой, Никитушка. Ты что имеешь в виду?

— Ты же понимаешь — надо осознать.

— Осознаю. К Елене спешишь?

— При чем тут Елена?

— А при том. Что я, не видела, как ты на нее вчера вечером глядел? Думал, я старой останусь, а вы с ней молоденькими — и сразу любовь закрутите. Что, разве не так? Я ваши шашни сразу раскусила.

— У меня таких мыслей и в помине не было.

Но слова прозвучали неубедительно. Савич был как школьник, отрицающий перед мамой очевидное прегрешение.

Ванда криво усмехнулась. Полные розовые губки сложились в презрительную гримасу.

— А я уж решила... я уж думала, что ты меня увидел и понял.

— Понял?

— Понял, что тебе от меня никуда не деться. Тогда я тебя почти не знала — девчонкой была. А сейчас я тебя как облупленного знаю. Не решишься ты ни на что. Даже если она красивее, чем раньше, стала.

— А чего я испугаюсь?

— Всего. Общественности. Моих когтей. Ответственности — всего испугаешься, мой зайчик.

— Ванда, ты забываешься. — Савич тоже поднялся: ему неудобно было спорить сидя. — Ты позволяешь себе инсинуации. Мы с тобой скоро сорок лет женаты, и я ни разу не давал тебе повода...

— Помолчи... Это я не давала тебе дать повод. И контроль над тобой стоил мне нервов и усилий. Каждую девочку в аптеке под контролем держала!

— Я и не подозревал, что ты так низко пала.

— Почему же низко? Я семью берегла. Я ведь тоже могла бы другого найти, получше тебя. Но я — человек твердый. Нашла — держу. Мужья, мой милый, на дороге не

валяются. Их надо хранить и беречь. Даже таких паршивеньких, как ты.

— Ванда!

Слова жены были обидны. Но Савич со всем своим многолетним опытом общения с Вандой вдруг понял, что дальнейшая перепалка не в его пользу. Он может услышать о себе совсем неприятные слова. А кому это хочется слышать?

— В сущности, мы ничего с тобой не знаем, — сказал он. — Возможно, средство подействовало только на нас. А остальные остались.

— Вряд ли, — усомнилась Ванда, но такая версия ей понравилась.

Она тут же направилась к шкафу одеваться.

— Да, это было бы смешно, — предположила Ванда, доставая платье.

— Это было бы смешно, — невесело повторил Савич, глядя, как жена надевает платье.

Платье было безнадежно, невероятно велико. Но Ванда не сразу заметила это, а подойдя к трюмо, стала примерять рыжий парик, который обычно носила, чтобы прикрыть поредевшие и поседевшие волосы. Парик никак не налезал на пышные молодые волосы, и Савич спросил:

— Ванда, зачем ты это делаешь?

— Что делаю?

— Тебе парик не нужен. У тебя теперь свои волосы лучше.

— Ага, — сказала Ванда рассеянно, продолжая натягивать парик.

— Чепуха какая-то, — удивился Савич. — Свою красоту прятать.

— Не красоту, — ответила Ванда. — Красота при мне останется.

Савич тоже достал свой костюм и стал думать, как его подогнать, — он ведь на человека вдвое более толстого.

Ванда кинула на мужа взгляд и расхохоталась.

— Мы тебе, Никитушка, джинсы купим.

— А пока?

— Пока? — Но Ванда уже смотрела в зеркало, рассуждая, что делать с ее платьем. Потом предложила: — Может, тебе подушку подложить?

Уже собирались уходить, как Милица ахнула:

— Самое главное забыла!

Она вытащила из комода шкатулку, встрясла из нее на стол всякую старую дребедень, среди дребедени отыскался толстый медный ключ.

— Сейчас будет сюрприз, — сказала она. — Господа, прошу следовать за мной.

Они пересекли двор и остановились перед вросшим в землю, покосившимся сараем, почти скрытым за кустами сирени.

— Сашенька, — попросила Милица, — откройте дверь. Я думаю, вам это будет очень интересно.

Грубин потрогал тяжелый ржавый замок. Замок лениво качнулся.

— Его давно не открывали? — спросил он.

— Как-то я сюда заглядывала, — ответила Милица. — После революции. Не помню уж зачем.

Ключ с трудом влез в скважину. Грубин нажал посильнее. Ключ повернулся.

— Не ожидал; — удивился Саша, вынимая дужку.

— Но он же был смазан, — сообщила Милица.

— А что там? — не выдержала Шурочка.

— Идите, — сказала Милица. — Я надеюсь, что всё в порядке.

Саша Грубин шагнул внутрь. Поднялась пыль, закружилась в солнечных лучах. Темные углы сарая были завалены мешками и ящиками. Середину занимало нечто большое, как автомобильный контейнер, покрытое серым брезентом.

— Смелее, Саша, — велела Милица. — Я себя чувствую Дедом Морозом.

Брезент оказался легким, сухим. Он послушно сполз с невероятного сооружения — белого, с красными кожаными сиденьями автомобиля. Большие на спицах колеса, схожие с велосипедными, несли грациозное, созданное с полным презрением к аэродинамике, но с оглядкой на карету тело машины. Множество чуть потускневших бронзовых и позолоченных деталей придавало машине совсем уж неправдоподобное ощущение старинного канделябра.

— Ой! — Шурочка прижала руки к груди. — Что это такое?

— Мой последний супруг, — сообщила Милица, — присяжный поверенный Бакшт, выписал мне это из Парижа. А полицейский исправник страшно возражал, потому что все свиньи и обыватели боялись. Даже у губернатора такого не было.

— Она бензиновая? — спросил Грубин, не в силах оторвать взора от совершенства нелепых линий этого мастодонта автомобильной истории.

— Нет. Вы видите этот котел? Он паровой. А сюда нужно класть дрова. У меня они есть, вон в том углу.

— Паровоз? — спросила Шурочка.

— И вы думаете, что она поедет? — спросил Грубин. — Она не поедет.

Ему очень хотелось, чтобы машина поехала.

— Сашенька, я пригласила вас сюда, — объяснила Милица, — именно потому, что вы единственный талант из моих знакомых. Я не ошибаюсь в людях.

— Да, Саша, — поддержала Милицу Шурочка, — у Милицы Федоровны большой жизненный опыт.

— Глупенькая, — сказала прекрасная персидская княжна, — при чем здесь жизненный опыт? Разве хоть одну женщину любили за жизненный опыт?

— Но ведь любовь — это не главное?

— Милая моя девочка, вы еще слишком мало прожили, чтобы так говорить. Сначала столкнитесь с любовью по-настоящему, а потом делайте выводы. Я убеждена, что лет через сто вы меня поймете. — И Милица рассмеялась, словно зазвенели колокольчики.

Грубин даже задохнулся от этого серебряного смеха.

— Трудитесь, Саша, — напомнила, отсмеявшись, Милица.

И Грубин продолжал трудиться. Он выяснил, как работает машина, загрузил котел, положил под него хорошо просохшие за сто лет поленца, разжег их, залил котел водой. Вскоре из высокой медной позолоченной трубы пыхнуло дымом, и еще через несколько минут старая, но совсем не состарившаяся паровая машина господина Бакшта медленно выехала из сарая. Девушки принялись протирать тряпками ее металлические части.

В багажном отделении Милица обнаружила черный цилиндр, который водрузила на голову Грубину, и деревянный ящик с дуэльными пистолетами, хищными и красивыми, как пантеры.

— Спрячьте их, — испугалась Шурочка. — А то они выстрелят.

— Они слишком стары, чтобы стрелять, — сказала Милица. — К тому же мой муж никогда их не заряжал.

— Вы не знаете, — настаивала Шурочка. — Если в первом действии на стене висит ружье, то в четвертом оно обязательно выстрелит.

— Ах, помню, — улыбнулась Милица. — Мне об этом говорил Чехов.

И Шурочка совсем не удивилась.

22

Елена Сергеевна убрала за ухо светлую прядь, прищурилась и отсыпала в кастрюлю ровно полстакана манки из синей квадратной банки с надписью «Сахар». Молоко вздыбилось, будто крупа жестоко обожгла его. Но Елена Сергеевна успела взболтнуть кашу серебряной ложкой, которую держала наготове.

Движения были вчерашними, привычными, и любопытно было глядеть на собственные руки. Они были знакомыми и чужими.

— Не нужна мне твоя каша, — сказал по привычке Ваня. — Ты посолить забыла, баба.

— А я и в самом деле забыла посолить, — засмеялась Елена Сергеевна.

В дверь постучали. Вошел незнакомый молодой человек большого роста. Он наполнял пиджак так туго, что в рукавах прорисовывались бицепсы и пуговицы с трудом удерживались в петлях.

— Простите, — произнес он знакомым глуховатым голосом. — Извините великодушно. У вас не заперто, и я себе позволил вторгнуться. Утро доброе. — Он по-хозяйски присел за стол, отодвинул масленку и сказал: — Чайку бы, Елена.

Елене Сергеевне пришлось несколько минут вглядываться в лицо гостя, прежде чем она догадалась, что это Алмаз Битый.

— Угадала? — спросил Алмаз. Он где-то раздобыл новые полуботинки и джинсы. — Как сказал, так и вышло. Проснулась и себя не узнала. И хороша, ей-богу, хороша. Не так хороша, как моя Милица, но пригожа. Теперь замуж тебя отдадим.

— Не шутите, — сказала Елена Сергеевна, указывая на замершего в изумлении Ваню. — В моем возрасте...

Алмаз засмеялся.

На улице послышался странный рокот. Заскрипели тормоза, закричал клаксон.

— Есть кто живой? — спросила, заглядывая в окно, чернокудрая красавица. — Ой, да вас не узнать! Мы к вам в гости. И на автомобиле.

23

— Вот и Милица! — произнес Алмаз, легко поднимаясь из-за стола. — Я же говорил, что хороша. Правда, Елена?

Елена не ответила. Среди вошедших увидела молодого Савича, и было это еще невероятнее собственной молодости. Будто уходил Никитка всего на неделю, не больше, была пустая размолвка и кончилась.

Вокруг, как на школьном балу, мелькали и дергались смеющиеся лица. Ванда хохотала громче других, притопывала, будто хотела пойти в пляс.

Грубин схватил Елену за руку, показывал другим, как свою невесту, уговаривал Шурочку познакомиться с бывшей учительницей, а Шурочка конфузилась, потому что знала — прочие куда старше ее и солиднее, просто сейчас притворяются равными ее возрасту.

Савич замер в углу, пялил глаза и шевелил губами, словно повторял: «Средь шумного бала, случайно». И когда Алмаз, подойдя к Елене, положил ей руку на плечо, Никита сморщился, как от зубной боли.

Елена заметила и улыбнулась.

— Я тебя, Лена, такой отлично помню, — сказала Ванда.

— И я тебя, — согласилась Елена. И подумала, что у Ванды склонность к полноте.

«Пройдет несколько лет — растолстеет, расплывется, станет сварливой... Ну и чепуха в голову лезет, — оборвала себя Елена. — Она же теперь все знает, будет следить за собой».

— Я тебе чай помогу поставить. Буду за мужика в доме, — предложил Алмаз.

— Хорошо, — согласилась Елена. Мелькнуло желание, чтобы вызвался помочь ей Савич.

Никита и вправду сделал движение к ней, но тут же кинул взгляд на Ванду, остался. Привычки, приобретенные за тридцать лет, были сильнее воспоминаний.

«Ну и бог с тобой, — подумала Елена, выходя в сени. — Всегда ты был тряпкой и, сколько ни дай тебе жизнью, тряпкой и останешься. И не нужен ты мне. Просто удивилась в первую минуту, как увидела».

Ваня помогал Елене с Алмазом разжечь самовар, задавал вопросы, почему все сегодня такие молодые и веселые.

Алмаз удивлялся, как ребенок всех узнал. Даже в прекрасной персидской княжне — старуху Милицу. Алмаз нравился Ване своими сказочными размерами и серьезным к нему, Ване, отношением.

Вежливо постучался и вошел в дом Миша Стендаль. Он был приглашен, респектабелен и немного похож на молодого Грибоедова, пришедшего просить руку княжны Чавчавадзе.

— Елена Сергеевна дома? — спросил он Елену Сергеевну.

Ваня восхитился невежеством гостя, ткнул пальцем бабушку в бедро и сказал:

— Дурак, бабу не узнал.

— Сенсация, — огорчился тихо Стендаль. — Сенсация века.

Он схватился за переносицу, будто хотел снять грибоедовское пенсне.

— Ох-хо! — рявкнул Алмаз. — Разве это сенсация? Вот в той комнате сенсация!

Стендаль поглядел на Алмаза как на отца Нины Чавчавадзе, давшего согласие на брак дочери с русским драматургом.

— И вы тоже? — спросил он.

— И я тоже. Иди-иди. И Шурочка там.

— А я камеру не взял, — огорчился Стендаль. — Вам уже сколько лет?

— Шура! — гаркнул Алмаз. — К тебе молодой человек!

Миша отступил к двери и приоткрыл ее. И сразу в кухню ворвался разноцветный водопад звуков. Мишу встретили как запоздавшего дорогого гостя на вечере встречи однокашников.

— Молодой человек! Молодой человек! — хохотала Милица. — Маска, я тебя знаю, теперь угадай, кто я.

— Покормить нас надо, — сказал Алмаз, прикрывая дверь за Мишей. — Такая орава. Картошка у тебя, Елена, есть?

— Сейчас принесу, — отозвалась Елена.

— Я сам, — сказал Алмаз. — Во мне сила играет.

Он достал из чулана мешок и выжал его раза три, как гирию, отчего Ваня зашелся в восторге.

Алмаз заглянул в большую комнату, прервал на минутку веселье, скомандовав:

— Михаил, возьми вот десятку и сходи, будь ласков, в магазин. Купишь колбасы и так далее к чаю. Остальным вроде бы не стоит излишне по улицам бродить. Чтобы без этой, без сенсации.

— Я с тобой пойду, — сказала Шурочка. — Ты что-нибудь не то купишь. Мужчины всегда не то покупают.

Грубин протянул Мише еще одну десятку.

— Щедрее покупай, — велел он. — «Белую головку», может, возьмешь. Все-таки праздник.

— Ни в коем случае, — запротестовала Шурочка. — Я уж прослежу, чтобы без этого.

В голосе ее прозвучали сухие, наверное, подслушанные неоднократно материнские интонации.

— Возьмите шампанского, — велела Елена Сергеевна.

— У меня есть деньги, — сказал Миша Грубину. — Не надо.

Шурочка с Мишей ушли, забрав все хозяйственные сумки, что нашлись в доме. Алмаз почистил картошку споро и привычно.

— Где вы так научились? — спросила Елена Сергеевна. — В армии?

— У меня была трудная жизнь. Как-нибудь расскажу. Где только я картошку не чистил.

Елене Сергеевне показалось, что за дверью засмеялся Савич.

Дверь на улицу была полуоткрыта. Шурочка с Мишей, убегая, не захлопнули. В щель проникали солнечные лучи, косым прямоугольником ложились на пол, и Елена отчетливо видела каждую щербинку на половицах.

Залетевшая с улицы оса кружилась, поблескивая крыльями, у самой двери, будто решала, углубиться ли ей в полутьму кухни или не стоит.

Вдруг оса взмыла вверх и пропала. Ее испугало движение за дверью. Освещенный прямоугольник на полу расширился, и солнце добралось до ног Елены.

В двери обозначился маленький силуэт. Против солнца никак не разглядишь, кто это пришел. Елена Сергеевна решила было, что кто-то из соседских детей, хотела подойти и не пустить в дом — ведь не было еще договорено, как вести себя.

Маленькая фигурка решительно шагнула от двери внутрь, солнце зазолотило на миг светлый мальчишеский хохолок на затылке. Ребенок сделал еще шаг и, вдруг размахнувшись, по-футбольному наподдал ногой в большом башмаке ведро с чищенной картошкой. Ведро опрокинулось. Наводнением хлынула по полу вода, утекая в щели. Картофелины покатались по углам.

— Как я тебе сейчас! — сказал угрожающе Ваня.

Но вошедший мальчик его не слушал. Он бегал по кухне и давил башмаками картофелины. Те с хрустом и скрипом лопались, превращались в белую кашу. Мальчик при этом озлобленно плакал, и, когда он попадал под солнечный луч, уши его малиновели.

— Кто отвечать будет? — вскрикивал мальчик, пытаясь говорить басом. — Кто отвечать будет?

Алмаз медленно поднялся во весь свой двухметровый рост, не спеша, точно и ловко протянул руку, взял ребенка за шиворот, поднял повыше и поднес к свету. Ребенок сучил башмаками и монотонно визжал.

— Поди-ка сюда, Елена, — позвал Алмаз, поворачивая пальцем свободной руки личико мальчика к солнцу. — Присмотришься.

Мальчик зашелся от плача, из широко открытого рта выскакивали отдельные невнятные, скорбные звуки, и розовый язычок мелко бился о зубы.

— Узнаешь? — спросил Алмаз. И когда Елена отрицательно покачала головой, сказал: — Прямо скандал получается. То ли я дозу не рассчитал, то ли организм у него особенный.

— Это Удалов? — предположила Елена, начиная угадывать в белобрысой головке тугое, щекастое мужское лицо.

— А кто отвечать будет? — бормотал мальчик, вертясь в руке Алмаза.

— Вы Корнелий? — спросила Елена, и вдруг ей стало смешно. Чтобы не рассмеяться некстати над человеческим горем, она закашлялась, прикрыла рукой лицо.

— Не узнаете? — плакал мальчик. — Меня теперь мать родная не узнает. Отпусти на пол, а то получишь! Кто отвечать будет? Я в милицию пойду!

Гнев мальчика был не страшен — уж очень тонка шея и велики полупрозрачные под солнцем уши.

— Грубин! — крикнул Алмаз. — Где твой грессбух? Записать надо.

— Это жестоко, Алмаз Федотович, — сказала Елена.

Грубин уже вошел. Стоял сзади. Вслед за ним, не согнав еще улыбок с лиц, вбежали остальные. И Удалов взрыдал, увидев, насколько молоды и здоровы все они.

— Не повезло Корнелию, — оценил Грубин.

Когда Корнелий говорил, что пойдет в милицию, угроза его не была пустой. В милицию он уже ходил.

24

Удалов проснулся оттого, что в глаз попал солнечный луч, проник сквозь сомкнутое веко, вселил тревогу и беспокойство.

Он открыл глаза и некоторое время лежал недвижно, глядел в требующий побелки потолок, пытался сообразить, где он, что с ним. Потом, будто кинолента прокрутилась назад, вспомнил прошлое — от прихода к Елене Сергеевне к ссоре с женой, рассказу старика и злосчастному провалу.

Он повернулся на бок, раскладушка скрипнула, зашаталась.

В углу, у кафельной печи, на маленькой кровати посапывал мальчик Ваня.

Удалов приподнял загипсованную руку, и, к его удивлению, гипс легко слетел с нее и упал на пол. Рука была маленькой. Тонкой! Детской! Немошной!

Сначала это показалось сном. Удалов зажмурился и открыл глаза снова, медленно, уговаривая себя не верить снам. Рука была на месте, такая же маленькая.

Удалов спрыгнул на пол, еле удержался на ногах. Со стороны могло показаться — он исполняет дикий танец: подносит к глазам и бросает в стороны руки и ноги, ощупывает конечности и тело и притом беззвучно завывает.

На самом деле Удалову было не до танцев — таким странным и нервным способом он осознавал трагедию, происшедшую с ним за ночь по вине старика и прочей компании.

Ваня забормотал во сне, и Корнелий в ужасе замер на одной ноге. Удаловым внезапно завладели страх, желание вырваться из замкнутого пространства, где его могут увидеть, удивиться, обнаружив вместо солидного мужчины белобрысого мальчика лет восьми. Разобраться можно будет после.

Детскому, неразвитому тельцу было зябко в спадающей с плеч майке и пижамных штанах, которые приходилось придерживать рукой, чтобы не потерять.

Удалов выгреб из-под кровати ботинки и утопил в них ноги. Ботинки были не в подъем тяжелы, и пришлось обмотать концы шнурков под коленками. Хуже всего было с полосатыми штанами. Подгибай их, не подгибай — они слишком обширны и смешны...

Чувство полного одиночества в этом мире овладело Корнелием.

Вновь зашебаршился в постельке Ваня. За стеной вздохнула во сне Кастельская.

Удалов подставил стул к окну, переполз на животе подоконник и ухнул в бурьян под окном...

Удалов долго и бесцельно брел по пустым, прохладным рассветным улицам Гуслияра. Когда его обгоняли грузовики или автобусы, прижимался к заборам, нырял в подъезды, калитки. Особо избегал пешеходов. Мысли были туман-

ными, злыми и неконкретными. Надо было кого-то привлечь, чтобы кто-то ответил и прекратил издевательство.

Наконец Удалов укрылся в сквере у церкви Параскевы Пятницы, в которой помещался районный архив. Он отдышался. Он сидел под кустами, невидный с улицы, и старался продумать образ действий. Проснувшиеся с солнцем трудолюбивые насекомые жужжали над ним и доверчиво садились на плечи и голову. Которых мог, Удалов давил. И думал.

Низко пролетел рейсовый Ан-2 на Вологду. Проехала с базара плохо смазанная телега — в мешках шевелились, повизгивали поросята.

Удалов думал. Можно было вернуться к Елене Сергеевне и пригрозить разоблачением. А вдруг они откажутся его признать? Было ли все подстроено? А если так, то зачем? Значит, был подстроен и провал? С далеко идущими целями? А может, все это — часть громадного заговора с участием марсиан? Началось с Удалова, а там начнут превращать в детей районных и даже областных работников, может, доберутся и до центральных органов? Если пригрозить разоблачением, они отрекутся или даже уничтожат нежелательного свидетеля. Кто будет разыскивать мальчика, у которого нет родителей и прописки? Ведь жена Ксения откажется угадать в нем супруга. Может, все же побежать в милицию? В таком виде?.. Вопросов было много, а ответов на них пока не было.

Удалов прихлопнул подлетевшую близко пчелу, и та перед смертью успела вогнать в ладонь жало. Ладонь распухла. Боль, передвигаясь по нервным волокнам, достигла мозга и превратилась на пути в слепой гнев. Гнев лишил возможности рассуждать и привел к решению неразумному: срочно сообщить куда следует, ударить в набат. Тогда они попляшут! У Удалова отняли самое дорогое — тело, которое придется нагуливать много лет, проходя унижительные и тоскливые ступеньки отрочества и юности.

Удалов резко поднялся, и пижамные штаны спали на землю. Он наклонился, чтобы подобрать их, и увидел, что по дорожке, совсем рядом, идет мальчик его же возраста, с оттопыренными ушами и кнопочным носом. На мальчике были синие штанишки до колен на синих помочах, в руках сачок для ловли насекомых. Мальчик был удивительно знаком.

Мальчик был Максимкой, родным сыном Корнелия Удалова.

— Максим! — сказал Удалов властно. — Поди-ка сюда. Голос предал Удалова — он был не властным. Он был тонким.

Максимка удивился и остановился.

— Поди-ка сюда, — повторил Удалов-старший.

Мальчик не видел отца за кустами, но в зовущем голосе звучали взрослые интонации, которых он не посмел слушаться. Оробев, Максимка сделал шаг к кустам.

Удалов вытянул руку навстречу сыну, ухватился за торчащий конец сачка и, перебирая руками по древку (ладонь болела и саднила), приблизился к мальчику, будто взобрался по канату.

— Ты чего здесь в такую рань делаешь? — спросил он, лишив сына возможности убежать.

— Бабочек ловить пошел, — ответил Максимка.

Если бы при этой сцене присутствовал сторонний наблюдатель, могущий при этом воспарить в воздухе, он увидел бы, как схожи дети, держащиеся за концы сачка.

Но наблюдателей не было.

— А мать где?

В душе Удалова проснулись семейные чувства. В воздухе ему чудился аромат утреннего кофе и шипение яичницы.

— Мать плачет, — сказал просто Максимка. — У нас отец сбежал.

— Да, — кивнул Удалов.

И тут только осознал, что сын его не принимает за отца, беседует как с однолеткой. И вообще, нет больше прежнего Удалова. Есть ничей ребенок. И вновь вскипел гнев. И ради удовлетворения его приходилось жертвовать сыном.

— Снимай штаны, — приказал он мальчику.

Не поддерживаемые более пижамные штаны Удалова опять упали, и он стоял перед пойманным сыном в длинной майке, подобной сарафану или ночной рубашке.

— Уйди, — сказал мальчик нерешительно своему двойнику. Его еще никогда не грабили, и он не знал, что полагается говорить в таких случаях.

Удалов-старший вздохнул и ударил сына по носу остреньким жестким кулачком. Нос сразу покраснел, увеличился в размере, и капля крови упала на белую рубашку.

— А я как же? — спросил мальчик, который понял, что штанишки придется отдать.

— Мои возьмишь. — Удалов показал себе под ноги. — Они большие. И трусы снимай.

— Без трусов нельзя, — отказался мальчик.

— Еще захотел? Забыл, как тебе от меня позавчера попало? Максимка удивился. Позавчера ему ни от кого, кроме отца, не попадало.

Белая рубашка доставала Максимке только до пупа, и он прикрылся поднятыми с земли, свернутыми в узел пижамными брюками.

— Из этих брюк мы тебе три пары сделаем, — пообещал подобрешший Удалов, натягивая синие штанишки. — А теперь беги. И скажи Ксении, чтоб не беспокоилась. Я вернусь. Ясно?

— Ясно, — ответил Максим, который ничего не понял. Прикрываясь спереди пижамными штанами, он побежал по улице, и его беленькие ягодицы жалобно вздрагивали на бегу, вызывая в отце горькое, сиротливое чувство.

25

Дежурный лейтенант посмотрел на женщину. Она робко облокотилась о деревянный шаткий барьер. Слезы оставили на щеках искрящиеся под солнечным светом соляные дорожки.

— Сына у меня ограбили, — сказала она. — Только что. И муж скрылся. Удалов. Из ремконторы. Среди бела дня, в сквере.

— Разберемся, — успокоил лейтенант. — Только попроси по порядку.

— У него рука сломанная, в гипсе, — объяснила женщина. Она смотрела на лейтенанта требовательно. По соляным руслам струились ручейки слез.

— У кого? — спросил лейтенант.

— У Корнелия. Вот фотокарточка. Я принесла.

Женщина протянула лейтенанту фотографию — любительскую, серую. Там угадывалась она сама в центре. Рядом были полный невыразительный мужчина и мальчик, похожий на него.

— Средь бела дня, — продолжала женщина. — Я как раз к вам собралась, соседи посоветовали. А тут прибегает Максимка, без штанов. Синие такие были, на помочах.

Женщина широким движением сеятеля выбросила на барьер светлые в полоску пижамные штаны.

Лейтенант посмотрел на нее как обреченный.

— Может, напишете? — спросил он. — Все по порядку. Где, кто, что, у кого отнял, кто куда сбежал — только по порядку и не волнуйтесь.

Говоря так, лейтенант подошел к графину с кипяченой водой, налил воды в граненый стакан, дал ей напиток.

Женщина пила, изливая выпитое слезами, писать отказывалась и все норовила рассказать лейтенанту яркие детали, упуская целое, ибо целое ей было уже известно.

Минут через десять лейтенант наконец понял, что два трагических события в жизни семьи Удаловых между собой не связаны. Муж пропал вечером, вернее, ночью; пришел из больницы, сослался на командировку и исчез в пижаме. Сына ограбили утром, только что, в скверике у Параскевы Пятницы, и ограбление было совершено малолетним преступником.

Разобравшись, лейтенант позвонил в больницу.

— Больной Удалов на излечении находится? — спросил он.

Подождал ответа, поблагодарил. Потом подумал и задал еще вопрос:

— А вы его выписывать не собирались?.. Ах так. Ночью? В двадцать три? Ясно.

Потом обратился к Удаловой.

— Правильно говорите, гражданка, — сказал он ей. — Ушел ваш супруг из больницы. В неизвестном направлении. Медперсонал предполагал, что домой. А вы думаете, что нет?

— Так и думаю, — ответила Удалова. — И еще сына ограбили. Оставили пижаму.

Лейтенант разложил пижамные штаны на столе.

— От взрослого человека, — показал он. — А вы говорите — ребенок.

— Я и сама не понимаю, — согласилась Удалова. — И мальчик такой правдивый. Тихий. Смирный. И штаны с помочами были. Синие. Вот как на этом.

Гражданка Удалова показала на мальчика в синих штанишках, вошедшего тем временем в помещение милиции и робко отпрянувшего к двери при виде Удаловой.

Ксения не узнала своего мужа. Не узнала она и штанов, принадлежавших ранее Максиму, ибо они пришлись Корнелию в самый раз.

— Так вы свою жалобу напишете? — спросил лейтенант.

— Напишу. Все как есть напишу, — сказала Ксения. — Только домой сбегаю и там напишу. Кормить сына надо.

При таком свидетельстве заботы жены о доме Корнелию захотелось плакать слезами раскаяния, но он удержался — не смел обратить на себя внимание.

— Тебе чего, мальчик? — спросил лейтенант, когда Удалова ушла писать заявление и кормить сына.

Удалов, почесывая ладонь, подошел к барьеру. Голова его белым курганчиком возвышалась над деревянными перилами, и ему пришлось стать на цыпочки, чтобы начать разговор с дежурным.

— Не тебе, а вам, — поправил Удалов. Когда себя не видел, как-то забывал о своих истинных размерах.

— Ну, вам, — не стал спорить лейтенант. — Говори, пацан.

— Дело государственной важности, — произнес Удалов и оробел.

— Молодец, — одобрил лейтенант. — Хорошо, когда дети о большом думают. Погляди, старшина, мы в его возрасте только футболом интересовались.

Старшина, сидевший в другом углу, согласился.

— Я поближе хочу, — сказал Удалов. — За барьер.

— Заходи, садись. И начинай, а то у меня дежурство кончается. Домой пора. Жена ждет, понимаешь?

Удалов это понимал. И кивнул сокрушенно.

Мальчик в слишком больших башмаках, завязанных, чтобы не упали, под коленками шнурками, вскарабкался на стул.

Лейтенант смотрел на мальчика с сочувствием. У него детей не было, но он их любил. И хоть дело мальчика касалось какой-нибудь малой несправедливости, обижать его лейтенант не хотел и слушал как взрослого.

— Существует заговор! — начал Удалов. — Я еще не знаю, кто его финансирует. Но может оказаться, что и не марсиане.

— Во дает! — Старшина поднялся со стула и подошел поближе.

— Шпиона видел? — ласково спросил лейтенант.

— Да вы послушайте! — воскликнул мальчик, и глаза его увлажнились. — Говорю, заговор. Я сам тому доказательство.

Лейтенант незаметно подмигнул старшине, но мальчик заметил это и сказал строго:

— Попрошу без подмигиваний, товарищ лейтенант. Они сейчас обсуждают дальнейшие планы. Со мной разделались, а что дальше, страшно подумать. Возможно, на очереди руководящие работники в районе и области.

— Во дает! — повторил старшина совсем тихо.

Он подумал, что жизнь ускоряет темпы, и если следить за прессой, то увидишь, что в западных странах психические заболевания приняли тревожный размах. Теперь подбираются к нам. А мальчика жалко.

— Ну а как тебя зовут, мальчик? — спросил лейтенант.

— Удалов, — ответил мальчик. — Корнелий Удалов. Мне сорок пять лет.

— Та-ак, — произнес лейтенант.

— Я женат, — продолжал Удалов, и лопухое личико порозовело. — У меня сын, Максимка, в школу ходит.

Тут Удалова посетили воспоминания о преступлении против собственного ребенка, и он еще ярче зарделся.

— Та-ак, — протянул лейтенант. — Тоже, значит, Удалов.

Неожиданно во взоре его появилась пронзительность.

И он спросил отрывисто:

— А штаны с тебя в парке сняли?

— Какие штаны?

— А мамаша твоя с жалобой приходила?

— Так она же меня не узнала! — взмолился Удалов. — Потому что я не сын, а муж. Только меня превратили в ребенка, в мальчика. Я про это и говорю. А вы не верите. Если бы я был сын, то меня бы она узнала. А я муж, и она меня не узнала. Понятно?

— Во дает! — в очередной раз удивился старшина и начал продвижение к двери, чтобы из другой комнаты позвонить в «скорую помощь».

— Ты лучше к его мамаше сходи. Она адрес оставила, — сказал лейтенант, понявший замысел старшины. — погоди, мальчика сначала в детскую комнату определим.

— Нет! — закричал Удалов. — Я этого не перенесу! У меня паспорт есть, только не с собой. Я вам такие детали из своей жизни расскажу! Я ремконторой руковожу!

Лейтенант печально потупился, чтобы не встречаться взглядом с заболевшим мальчиком. Ну что он мог сказать, кроме общих слов сочувствия? Да и эти слова могли еще более разволновать ребенка, считающего себя руководителем ремконторы Удаловым.

Старшина сделал шаг по направлению к мальчику, но тот с криками и плачем, с туманными угрозами дойти до Вологды и даже до Москвы соскочил со стула, затопал тяжелыми ботинками, вильнул между рук старшины, увернулся от броска лейтенанта и выскользнул за дверь, а затем скрылся от преследователей среди куч строительного мусора, накопленного во дворе реставрационных мастерских.

Научный склад мышления — явление редкое и не обязательно свойственное ученым. Он предусматривает внутреннюю объективность и желание добиться истины. Удалов не обладал этим складом, потому что стать мальчиком, когда внутренне подготовился к превращению в полного сил юношу, слишком обидно и стыдно. Поэтому воображение Удалова, богатое, но неорганизованное, подменило эксперимент заговором, и заговор этот рос по мере того, как запыхавшийся Корнелий передвигался по городу, распугивая кур и гусей. И чудилось Корнелию, что заговорщики в черных масках подкрадываются к системе водоснабжения и отравка проникает в воду, пиво, водку и даже в капли от насморка.

Просыпается утром страна, и обнаруживается — нет в ней больше взрослых людей. Лишь дети, путаясь в штанах и башмаках, выходят с плачем на улицы. Остановился транспорт — детские ножки не могут достать до тормозных педалей. Остановились станки — детские ручки не могут удержать тяжелую деталь. Плачет на углу мальчик — намеревался сегодня выходить на пенсию, а что теперь? Плачет девочка — собралась сегодня выйти замуж, а что теперь? Плачет другая девочка — завтра ее очередь

лететь в космос. Плачет второй мальчик — вчера только толкнул штангу весом в двести килограммов, а сегодня не поднять и двадцати.

Мальчик-милиционер двумя ручками силится поднять палочку-регулировочку. Девочка-балерина не может приподняться на носки. Мальчик-бас, оперный певец, пищит-пищит: «Сатана там правит бал!»

А враги хохочут, шепчутся: «Теперь вам не взобраться в танки и не защитить своей страны от врагов...»

И тут, по мере того как блекла и расплывалась страшная картина всеобщего помоложения, Удалова посетила новая мысль: «А вдруг уже началось? Вдруг я не единственная жертва старика? А что, если все — и Кастельская, и Шурочка Родионова, и друг Грубин, и даже подозрительная старуха Бакшт, — все они стали детьми и с плачем стучатся в дверь Кастельской?»

Новая мысль поразила Удалова своей простотой и очевидностью, подсказала путь дальнейших действий, столь нужный.

К дому Кастельской Удалов подкрадывался со всей осторожностью и к играющим на тротуаре детям приглядывался с опаской и надеждой — любой ребенок мог оказаться Еленой Сергеевной или Сашей Грубиным. Да и вообще детей в городе было очень много — больше, чем вчера. Это свое наблюдение Удалов также был склонен отнести за счет сговора старика с марсианами, а не за счет хорошей погоды, как это было на самом деле.

Но стоило Удалову войти в сени, как все иллюзии разлетелись. Пострадал лишь он.

26

Перед Удаловым стояла чашка с какао, батон, порезанный толсто и намазанный вологодским маслом. На тарелке посреди стола горкой возвышался колотый сахар. В кастрюле дымилась крупная картошка.

О Корнелии заботились, его жалели очаровательные женщины, угощали шампанским (из наперстка), мужчины легонько постукивали по плечу, шутили, сочувствовали. Здесь, по крайней мере, никто не ставил под сомнение дей-

ствительную сущность Удалова. Он весь сжался и чувствовал себя подобно одинокому разведчику в логове коварного врага. Каждый шаг грозил разоблачением. Удалов улыбался напряженно и сухо.

— И неужели никакого противоядия? — шептала Милица Грубину, тот глядел на Алмаза, Алмаз разводил под столом ладонями-лопатами.

Может, где-то на отдаленной звезде это противоядие давно испытано и продается в аптеках, а на Земле пока в нем необходимости нет. Алмаз Удалова особо не жалел — получил человек дополнительно десять лет жизни. Потом поймет, успокоится. Другому бы это счастье, спасение.

— В дозе ошибки не было? — спросил Грубин.

— Не было, — заверил Алмаз.

Грубин листал тетрадь, шевелил губами, снова спросил:

— А ошибиться вы не могли?

— Сколько всем, столько и ему, — сказал Алмаз.

— А если он сам? — спросила Шурочка.

— Я только свою чашку выпил, — проговорил быстро Удалов.

— «А косточку я выкинул в окошко», — весело процитировала Шурочка. Она быстро свыклась с тем, что Удалов — мальчик, и только. И общалась с ним как с мальчиком.

— Я ж говорю, что не пил. — Удалов внезапно заплакал. Убежал из-за стола, размазывая кулачками слезы.

Елена Сергеевна укоризненно поглядела на Шурочку, покачала головой.

Алмаз заметил это движение, ухмыльнулся: укоризна Елены Сергеевны была от прошлого, с нынешним девичьим обликом вязалась плохо.

— Я только Ксюшину бутылочку выпил. Маленькую. Она меня из дома выгнала! — крикнул Удалов от двери.

Грубин продолжал листать тетрадь старика. Его интересовал состав зелья, хотя из тетради, записанной множество лет назад, узнать что-либо было трудно.

Савич искоса поглядывал на Елену, порой приглаживал волосы так, будто гладил лысину. Савич был растерян, так как еще недавно, вчера ночью, дал овладеть собой иллюзии, что, как только он помолодеет, начнет жизнь снова, откажется от Ванды, придет к Елене и скажет ей: «Перед

нами новая жизнь, Леночка. Давай забудем обо всем, ведь мы нужны друг другу». Или что-то похожее.

Теперь же вновь наступили трудности. Сказать Елене? А Ванда? Ну кто мог подумать, что так произойдет? И кроме того, они ведь связаны законным браком. И Савич чувствовал раздражение против старика Алмаза, поставившего его в столь неловкое, двусмысленное положение.

А Елена тоже посматривала на Савича. Думала о другом. Думала о том, что превращение, происшедшее с ними, — обман. Не очевидный, но все-таки самый настоящий обман. Ведь никто из них, за исключением, может быть, старухи Милицы, почти впавшей в детство и потерявшей память, не стал молодым. Осталась память о прошлом, остались привычки, накопленные за много лет, остались разочарования, горести и радости — и никуда от них не деться, даже если тебе на вид лет восемь, как Удалову.

Вот сидит Савич. В глазах у него обида и растерянность. Но обида эта и растерянность несвойственны были Савичу-юноше. И возникли они давно, постепенно, от постоянного ощущения неудовлетворенности собой, своей работой, своей квартирой, характером своей жены. И даже жест, которым Савич поглаживает волосы, пришел с лысиной, с горестным недоверием к слишком быстрому и жестокому бегу времени.

Если сорок лет назад можно было сидеть вдвоем на лавочке, целоваться, глядеть в звездное небо, удивляться необыкновенности и новизне мира и своих чувств, то теперь этого сделать будет нельзя. Как ни обманывай себя, не избавишься от спрятанного под личиной юноши тучного, тяжело дышащего лысого провизора.

Омоложение было иллюзией, но вот насколько она нужна и зачем нужна, Елена еще не разобралась. Пока будущее пугало. И не столько необходимостью жить еще несколько десятков лет, сколько вытекающими из омоложения осложнениями житейскими.

— Семь человек приняли эликсир, — сказал деловито Грубин, хлопывая тетрадь. — Все здорово помолодели. Один даже слишком.

Удалов громко всхлипывал в маленькой комнате. Даже Ваня пожалел его, взял мяч и пошел туда, к грустному мальчику.

— Все-таки процент большой, — определил Савич.

— Но главное — эксперимент удачен. И это открывает перед человечеством большие перспективы. А на нас накладывает обязательства. Ведь бутылка-то разбилась.

— Нам вряд ли поверят, — сказал Савич. — Уж очень все невероятно.

— Обязательно поверят, — возразил Грубин. — Нас девять человек. У нас, в конце концов, есть документы, воспоминания, люди, которых мы можем представить в качестве свидетелей. Ведь мы-то, наше прошлое куда-то делись. Нет, придется признать.

— Не признают, — вмешался Удалов, вошедший тем временем в комнату, чтобы избавиться от общества Вани с мячиком. — Я правду скажу: я уже ходил в милицию. Не поверили. Чуть было маме не отдали, то есть моей жене. Пришлось бежать.

Удалов виновато поведал историю своих походов. Он уже понял, что стал жертвой ошибки, жертвой своего исключительно злокачественного невезения.

— Эх, Удалов, Удалов! — сказал наконец Грубин. — И когда ты станешь взрослым человеком?

— Лет через десять, — хихикнула Шурочка.

— Шурочка! — остановила ее Елена.

— Вам бы только издеваться, — пожаловался Удалов. — А я без работы остался и без семьи. Как мне исполнять свои обязанности, семью кормить, отчитываться перед руководящими органами?

— Да, — сказал Грубин. — Дело нелегкое. И в милицию теперь не пойдешь за помощью. Им Удаловы так голову закрутили — чуть что, сразу вызовут «скорую помощь» и санитаров со смиренной рубашкой. Да и другие органы, верно, предупреждены. Надо в Москву ехать. Прямо в Академию наук. Всем вместе.

— Уже? — спросила Милица. — Я хотела пожить в свое удовольствие.

— В Москве для этого возможностей больше, — бросил Алмаз. — Только уж обойдитесь без меня. Я потом подъеду. Вернуться надо к своим делам.

— Да как же так? Без вас научного объяснения не будет.

— А мое объяснение меньше всего на научное похоже.

— Что за дела, если не секрет? — заинтересовалась вдруг Елена.

— Спрашиваешь, будто я по крайней мере до министра за триста лет дослужился. Разочарую, милая. В Сибири я осел, в рыбной инспекции. Завод там один реку портит, химию пускает. Скоро уже и рыбы не останется, когда-нибудь, будет времени побольше, расскажу, какую я борьбу веду с ними четвертый год. Но возраст меня подводил, немощь старческая. Теперь уж я их замотаю. Попляшут. Главный инженер или фильтры поставит, или вместо меня на тот свет. Я человек крутой, жизнью обученный. Вот так.

Алмаз положил руку на плечо Елены, и та не возражала. Рука была тяжелая, горячая, уверенная. Савич отвернулся. Ему этот жест был неприятен.

— Учиться вам надо, Алмаз Федотович, — сказала Милица. — Тогда, может, и министром станете.

— Не исключено, — согласился Алмаз. — Но сначала я главного инженера допеку. И всех вас приглашу на уху. Добро?

Грубин опустил тем временем на колени и заглянул под стол. Он увидел, что в том месте, где на пол пролился эликсир, из досок за ночь поднялись ветки с зелеными листочками. Пол тоже помолодел.

— А в Москву ехать на какие деньги? — спросил Грубин из-под стола.

27

Никто уже не сомневался, что в Москву ехать надо. Слово такое появилось и овладело всеми: «надо». Жили люди, старели, занимались своими делами и никак не связывали свою судьбу с судьбами человечества. И даже когда соглашались на необычный эксперимент, делали это по самым различным причинам, опять же не связывая себя с человечеством.

Но когда обнаружилось, что таинственный эликсир и в самом деле действует, возвращает молодость, оказалось, что на людей свалилась ответственность, хотели они того или нет. Да и в самом деле, что будешь делать, если в руки тебе дается подобный секрет? Уедешь в другой город, чтобы тихо прожить жизнь еще раз?

Раньше Алмаз так и делал. Хоть и проживал очередную жизнь не тихо, а в смятении и бодрствовании, но к людям пойти, поделиться с ними тайной не мог, не смел — погубили бы его, отняли тайну, передрались бы за нее. Так предупреждал пришелец. Но то был один Алмаз. Теперь семь человек.

Слово «надо», коли оно не пришло извне, а родилось самостоятельно, складывается из весьма различных слов и мыслей, и нелегко порой определить его истоки. Грубин, например, с первого же момента рассматривал все как чисто научный эксперимент, так к нему и относился. Когда же помолодел и осознал тщету предыдущей жизни, то в нем проснулся настоящий ученый, для которого сущность открытия лежит в возможности его использования.

Удалов внес свою лепту в рождение необходимости, потому что был уверен, что в Москве хорошие врачи. Если придется к ним попасть, вылечат от младенчества, вернут в очевидный облик. Его «надо» было чисто эгоистическим.

Савич готов был ехать куда угодно — его ничто не удерживало в Гусяре. В аптеку путь закрыт — кому нужен юный провизор, который вчера был солидным мужчиной предпенсионного возраста? О том, чем он будет заниматься, Савич не думал — его главные проблемы были личными. Что делать с двумя девушками, на одной из которых за последние сорок лет он дважды женился, а другую дважды бросил? Увидев молодую Елену, Савич испытал раздражение против себя и понял, что вчера был совершенно прав, надеясь связать свою новую жизнь именно с Еленой. Когда тебе двадцать — в самом деле двадцать, — ты можешь не разглядеть за соблазнительной девичьей оболочкой вульгарность, грубость и даже — Савич не боялся этого слова — пошлость. Но с сорокалетним опытом совместной жизни пришло и полное осознание прежней ошибки. Теперь оставалось сделать один лишь шаг — честно рассказать обо всем Елене, прекрасной, тонкой, понимающей, и добиться ее взаимности. Ведь была же эта взаимность сорок лет назад? Ведь страдала Лена, когда он оставил ее! Теперь должно наступить искупление и затем — счастье.

Но, размышляя так, Савич сам себе не верил. Он всей кожей ощущал, что у него неожиданно появился соперник, который не даст возможности не спеша осмотреться,

все обсудить и принять нужные меры. Этот бывший старик был нахален и, видно, привык забирать от жизни все, что ему приглянулось. А у Елены совершенно нет опыта обращения с подобными субъектами. И осмотренность Савича, которую Елена может ложно истолковать, также работает против него — с каждой минутой шансы Савича тают.

Елена Сергеевна также была в растерянности, но Савич не занимал в ее мыслях главного места. Она поняла, что возврата к прошлой жизни нет, надо искать выход, но ведь вся старая жизнь с ее требованиями и обязанностями оставалась. Оставалась дочь, которая вернется из отпуска за Ваней, оставались должности в общественных организациях и незавершенные дела, оставались друзья и знакомые, от которых придется отказаться. И отъезд в Москву, хоть и был бегством, оказывался наиболее разумным выходом из тупика. А что касается Никиты, конечно же шок от появления молодого, курчавого, милого и доброго Никитушки был велик. И был бы больше, если бы рядом не оказалось Ванды Казимировны с ее хозяйскими повадками и взглядом женщины, которая Никитушкой владеет. Да и неудивительно — она же была первой, кто увидел Савича помолодевшим, и, наверное, уж успела принять меры, чтобы оставить его за собой. Да и взгляд Никиты, виноватый и растерянный, выдавал его с головой. Ясно было, что вчера он решился принять участие в опыте, потому что мечтал изменить жизнь. Сегодня же он вновь колеблется. И хорошо — все было решено сорок лет назад, зачем же начинать снова эту волынку?

Так Елена Сергеевна утешала себя, потому что нуждалась в утешении. Оказывается, ее чувство к Савичу не совсем испарилось за эти годы — да и много ли сорок лет в жизни человека? Кажется, только вчера она выслушивала клятвы в вечной верности и только вчера они с Никитой обсуждали свои совместные планы на жизнь.

И неудивительно, что Елена тянулась к Алмазу. Бывают мужчины, которых надо утешать. Значительно реже встречаются такие, которые сами могут тебя защитить и утешить. Алмаз не просил жалости, да и нелепо было бы его жалеть. «Вот он, — думала Елена, незаметно глядя на Алмаза, — может взять тебя на руки и унести, куда пожелает,

потому что знает, как хочется иногда женщине не принимать решений».

Алмаз перехватил этот несмелый взгляд и широко улыбнулся.

— Нашел тебя, — сказал он, поднимая бокал шампанского. — Теперь не упущу.

Ванда Казимировна, не спускавшая глаз с мужа и Елены, настороженная, как кошка перед мышьиной норой, с радостью отметила эти слова. «Плохо твое дело, мой зайчик», — подумала она о муже.

А если так, то можно поехать в Москву. Взять отпуск в магазине за свой счет и прокатиться. Тысячу лет там не была. Заодно надо будет и приодеться. Ведь когда ты солидная пожилая дама, то подчиняешься одной моде, чтобы все было из дорогого материала и с драгоценностями. Когда тебе двадцать, надо менять стиль. В Москве театры, концерты, может быть, придется сверкать. Правда, для этого требуются средства. И значительные. Доехать, устроиться и там пожить. А почему и не пожить? Сорок лет накапливала. Можно позволить, накопления есть. Надо будет взять сберкнижку, которая хранится в сейфе, в универмаге.

— У меня совершенно нет сбережений, — призналась Милица. — Знаете, я как-то все свои жизни прожила без сбережений. Это так неинтересно — сберегать.

— И в поклонниках отказа не было, — сказал Алмаз.

— Не только в поклонниках — в мужьях, — поправила его с улыбкой Милица.

И поглядела, расширив глазищи, на Сашу. Тому показалось, что острые черные ресницы вонзаются ему в сердце. И ему стало стыдно, что у него тоже нет никаких сбережений. Последние он истратил на детали для вечного двигателя.

— Но в Москву попасть мечтаю, — сказала Милица. — Меня всегда тянуло в столицу.

Миша Стендаль поправил очки и приобрел сходство с Грибоедовым, прибывшим на первую аудиенцию к персидскому шаху. Он решился:

— Деньги достать можно.

— Откуда? — сокрушенно произнес Грубин. — Нам даже занять не у кого. Если я к своей двоюродной сестре приду, она меня с лестницы спустит. Решит, что я авантюрист.

— А ты ей паспорт покажи, — пискнул от двери Удалов, но никто не обратил внимания на его слова.

— Может, у тебя, Ванда Казимировна? — спросил Грубин. — Ты же директор.

— Нет, — ответила Ванда, не задумываясь, — мы только что гарнитур купили. Савич, подтверди.

— Купили, — кивнул Савич и расстроился, потому что жене не поверил, но не посмел оспорить ее слова. Сам он свободных денег не имел, да и не нуждался в них. Зарплату сдавал домой, получал рубль на обед и когда нужно — на книгу.

«Так мы и не стали молодыми, — подумала Елена. — Ванда когда-то была мотовкой, хохотушкой, цены деньгам не знала и знать не желала. А привыкла к деньгам постепенно. И сидит сейчас в юной Ванде пожилая директорша, которая не любит расставаться с копейкой. Так что молодость наша — только видимость».

— У меня есть шестьдесят рублей, — проговорила Елена.

— Не тот масштаб, — возразил Грубин.

— Может, отложим отъезд? — спросил Савич.

— Нельзя, — ответил Грубин. — Вы же знаете.

Он вылез из-под стола с букетиком зеленых листьев, что выросли за ночь в том месте пола, куда пролилось зелье. Листья он намеревался исследовать, попытаться определить состав жидкости.

— Вы же знаете, — сказал Грубин, — с каждой минутой следы эликсира в нашей крови рассасываются. День-два — и ничего не останется. На основе чего будут работать московские ученые? Любая минута на учете. Или мы выезжаем ночным поездом, либо можно вообще не ехать.

— Вот я и говорю, — продолжил Стендаль. — Деньги достать можно, и вполне официально. Я начну с того, что наши события произошли именно в городе Великий Гусляр. А кто знает о нашем городе? Историки? Статистики? Географы? А почему? Да потому, что Москва всегда перехватывает славу других городов. Я сам из Ленинграда, хотя уже считаю себя гуслярцем. И что получается? В Кировском театре почти балерин не осталось — Москва переманила. Команда «Зенит» успехов добиться не может — футболистов Москва перетягивает. А почему метро в Ленинграде позже, чем в Москве, построили? Все средства Москва забрала. А

о Гусяре и говорить нечего, даже и соперничать не приходится. А почему бы не посоперничать? Обратимся в нашу газету!

— Правильно, Миша, — поддержала его Шурочка. — А раньше Гусяр, в шестнадцатом веке, Москве почти не уступал. Иван Грозный сюда чуть столицу не перенес.

— Красиво говоришь, — сказал Алмаз. — Город добрый, да больно мелок. Даже если здесь совершенное бессмертие изобретут, все равно с Москвой не тягаться.

— Газета добудет нам денег, — продолжал Стендаль, — опубликует срочно материал. И завтра утром мы отбываем в Москву. И нас уже встречают там. Разве не ясно? И Гусяр прославлен в анналах истории.

— Ну-ну, — сказал Алмаз. — Попробуй.

Стендаль блеснул очками, обводя взглядом аудиторию. Остановил взгляд на Милице:

— Милица Федоровна, вы со мной не пойдете?

— Ой, с удовольствием, — согласилась Милица. — А редактор молодой?

— Средних лет, — сдержанно ответил Стендаль.

— Тогда я возьму мой альбом. Там есть стихи Пушкина.

28

Пленка, которую принес с птицефермы фотограф, никуда не годилась. Ее стоило выкинуть в корзину, пусть мыши разбираются, где там несушки, а где красный уголок. Так Малюжкин фотографу и сказал. Фотограф обиделся. Машинистка сделала восемь непростительных опечаток в сводке, которая пойдет на стол к Белосельскому. Малюжкин поговорил с ней, машинистка обиделась, ее всхлипывания за тонкой перегородкой мешали сосредоточиться.

Степан Степанов из сельхозотдела; консультант по культуре, проверял статью о художниках-земляках. Пропустил ляп: в очерке сообщено, что Рерих — баталист. Малюжкин поговорил со Степановым, и тот обиделся.

К одиннадцати половина редакции была обижена на главного, и оттого Малюжкин испытывал горечь. Положение человека, имеющего право справедливо обидеть подчинен-

ных, возносит его над ними и лишает человеческих слабостей. Малюжкину хотелось самому на кого-нибудь обидеться, чтоб поняли, как ему нелегко.

День разыгрался жаркий. Сломался вентилятор; недавно побеленный подоконник слепил глаза; вода в графине согрелась и не утоляла жажды.

Малюжкин был патриотом газеты. Всю сознательную жизнь он был патриотом газеты. В школе он получал плохие отметки, потому что вечерами переписывал от руки письма в редакцию и призывал хорошо учиться. В институте он пропускал свидания и лекции и подкармливал пирожками с повидлом нерадивых художников. Каждый номер вывешивал сам, ломал, волнуясь, кнопки и долго стоял в углу — глядел, чем и как интересуются товарищи. Новое полотнище, висящее в коридоре, было для Малюжкина лучшей, желанной наградой, правда, наградой странного свойства — со временем она переставала радовать, теряла ценность, требовала замены.

Иногда вечерами, когда институт таинственно замолкал и лишь в коридорах горели тусклые лампочки, Малюжкин забирался в комнату профкома, где за сейфом старились пыльные рулоны прошлогодних стенгазет, вытаскивал их, сдувал пыль, разворачивал на длинном столе, придавливал углы тяжелыми предметами, приклеивал отставшие края заметок и похож был на донжуана, перебирающего коллекцию дареных фотографий с надписями «Любимому» и «Единственному».

И теперь, дослужившись к вершине жизни до поста редактора городской газеты, Малюжкин уходил из редакции последним, перед уходом перелистывая подшивки газеты за последние годы.

Перед Малюжкиным стоял литсотрудник Миша Стендаль. Вид его был неряшлив, очки запылились.

— Что у тебя? — спросил Малюжкин.

— Важное дело.

— Важное дело здесь. — Малюжкин показал на недописанную передовицу о подготовке школ к учебному году. — К сожалению, не все понимают.

Малюжкин прижал палец к губам, затем им провел по воздуху и упер в стенку. Из-за стены шло всхлипывание. Стендаль понял, что машинистка снова допустила опечатки.

— Итак? — произнес Малюжкин, склонный к красивым словам.

— Итак, поверить мне трудно, но я принес настоящую сенсацию.

— Сенсация сенсации рознь, — заметил Малюжкин.

Само слово «сенсация» имело неприятный оттенок, связывалось в уме с унижительными эпитетами.

— Только без дешевых сенсаций, — сказал Малюжкин. — В одной центральной газете напечатали про снежного человека — и что? — Малюжкин резко провел ребром ладони по горлу, показывая судьбу редактора. — Ну, ты говори, не обижайся.

— У нас есть возможность стать первой, самой знаменитой газетой в мире. Интересует?

— Посмотрим.

Машинистка за стеной перестала всхлипывать — прислушивалась.

— Но в любом случае, — продолжал Малюжкин, — передовую заканчивать придется. Ты же за меня ее дописать не сможешь?

Малюжкин прикрыл на несколько секунд глаза и чуть склонил сидящую голову благородного отца. Ждал лестного ответа.

— Передовицу — в корзину, — сказал невежливо Стендаль. — На первую полосу другое.

Малюжкин терпеливо улыбнулся. Он умел угадывать нужное, своевременное. По виду Стендаля понял — блажь. И мысли переключил на завершение передовой.

— Вчера, — начал Стендаль, — в нашем городе произошло величайшее событие, сенсация века. Впервые удачно произведен эксперимент по коренному омоложению человеческого организма.

Торжественные слова, как рассчитывал Стендаль, легче проникают в мозг Малюжкина, но тот, слыша их, не вникал в смысл, а старался приспособить к делу, к передовой. «Впервые в стране произведен эксперимент, — повторял мысленно Малюжкин, — по полному охвату подрастающего поколения сетью восьмилетнего обучения». Внешне Малюжкин продолжал поддерживать беседу со Стендалем.

— В больнице, говоришь, эксперимент? — переспросил он. — Там у нас способная молодежь.

Из собственной фразы в передовицу пошли слова «способная молодежь». Надо было подыскать им нужное обрамление.

— Нет, не в больнице. На частной квартире.

— Не бегай по кабинету, садись.

Бегающий в волнении Стендаль, махающий руками Стендаль, протирающий на ходу очки Стендаль мешал Малюжкину сосредоточиться.

— Несколько человек, — продолжал Стендаль, присаживаясь на кончик стула и продолжая двигать ногами, — получили возможность овладеть секретом вечной молодости.

Обрамление для «способной молодежи» нашлось: «Способная молодежь получила возможность овладеть секретом науки». Малюжкин мысленно записал эту фразу.

— Да-да, — произнес он вслух. — Как же, читал.

— Где? — Стендаль даже перестал двигать ногами. — И ничего не сказали?

— Где? — удивился Малюжкин. — «Наука и жизнь» писала. — Редактор был уверен, что во лжи его не уличить. «Наука и жизнь» уже писала обо всем. В Штатах опыты производились. У нас тоже — на собаках.

— Ясно, — сказал Стендаль. Понял, что редактор невнимателен. — И вы могли бы! — неожиданно крикнул он.

Малюжкин забыл все фразы для передовой. Испугался. Машинистки за стеной ахнули.

— И вы могли бы стать молодым! — кричал Стендаль. — Каждый может стать молодым! Вчера старик, сегодня юноша. Понимаете?

— Спокойно, — приказал Малюжкин. — Ты нервничаешь, Цезарь, значит, ты не прав. — Малюжкин указал пальцем на перегородку и продолжал шепотом: — За стеной люди, понял? Пойдут сплетни. А ты не проверил, а кричишь. Свидетели есть? Проверка была?

— Я сам свидетель, — сказал Стендаль, также переходя на шепот, наклоняясь через стол.

Они сидели как заговорщики, обсуждающие план ограбления банка.

— И еще свидетель есть, — пролепетал Стендаль. — Позвать?

— Ну-ну, — согласился Малюжкин. Передовицу все равно придется придумывать снова.

Стендаль высунулся в окно, крикнул:

— Мила, будьте любезны, поднимитесь! Комната пять, я вас встречу.

Стоило Стендалю отойти, как Малюжкин вернулся к передовой. Стендалю это не понравилось. Схватил лист, разорвал, бросил в корзинку.

— Ты с ума сошел, — зашипел Малюжкин. Обида завладела им.

— Сейчас придет женщина, — сообщил Стендаль. — Ей минимум двести лет. Она была знакома с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Стендаль убежал.

«Женщины, — думал Малюжкин, склоняясь над мусорной корзиной, — везде женщины, все знакомы или с Пушкиным, или с Евтушенко, а верить никому нельзя».

За дверью послышался голос Стендаля:

— Сюда, Милица, главный ждет вас.

— Спасибо, — засмеялся серебряный голос в ответ.

«Театр, — подумал Малюжкин. — Показуха». Дверь распахнулась, и возникло чудо. Вошла шамаханская царица, прекрасная девушка в сарафане с альбомом в руках. Этой девушки раньше не было и быть не могло. Эту девушку можно было увидеть однажды и всю жизнь питаться воспоминаниями.

— Здравствуйте. — Девушка протянула Малюжкину руку. Она держала ее выше, чем принято, и потому рука оказалась поблизости от губ редактора.

Малюжкин неожиданно для себя поцеловал тонкую атласную кисть и сел, заливаясь краской.

— Я тоже сяду? — спросила девушка.

— Очень приятно, — ответил Малюжкин. — Познакомиться очень приятно. Садитесь, ради всего святого. — Редактору хотелось говорить очень красиво, хотя бы как говорили герои Льва Толстого. — Крайне польщен, — закончил он.

— Мишенька, наверное, про меня рассказал, — улыбнулась девушка, и из ее глаз вылетели острые сладкие стрелы. — Меня зовут Милицей Бакшт, я живу в этом городе более ста лет.

— Не может быть, — сказал Малюжкин, приглаживая волосы на висках, — я бы запомнил ваше чудесное лицо.

По редакции уже прошел слух о появлении неизвестной красавицы. Думали, что из киногруппы, снимающей в городе историко-революционный фильм. Все мужчины пошли в коридор покурить. Курили рядом с дверью главного.

— А вы меня узнать и не можете, — сказала Милица. — Я еще вчера была древней старухой с клюкой. Ужасное зрелище, вспоминать не хочется. Вы меня понимаете?

— О да, — проговорил Малюжкин.

Милица гибко вскочила со стула, повернулась кругом, сарафан взметнулся и обнажил стройные ноги, и тут же она согнулась, оперлась на воображаемую палку, скривила спину, зашаркала, еле переставляя ноги, и руками двигала с трудом.

Смешно и радостно стало Малюжкину, и он сказал:

— Вы актриса, вы талантливая актриса, вам надо сниматься.

Машинистки, услышавшие эти слова через стенку, вынесли в коридор подтверждение новости: незнакомка была киноактрисой, главный ее хвалит.

Степанов вспомнил две картины, в которых он эту киноактрису видел. И многие согласились.

— Очень похоже, — подтвердил Стендаль. — Примерно так это и выглядело. Я сам помню.

— Вы верите мне? — спросила Милица, садясь снова на стул, и глаза ее настолько приблизились к лицу редактора, что тот ощутил головокружение.

— Вам верю во всем, в большом и в малом.

— Вы ему паспорт покажите, Мила, — посоветовал Стендаль.

— Не надо, — возразил Малюжкин. — Не надо никакого паспорта. Сейчас Миша подготовит материал, и вы не уходите, ради бога, не уходите. Вы расскажете мне все как было, что, как, когда. Сейчас же в номер.

— Вместо передовой, — напомнил Стендаль, который был еще молод и легко верил в добро.

— Вместо передовой, — подтвердил Малюжкин.

— Мишенька, — сказала Милица, — он, по-моему, в меня влюбился. Он рассудок теряет. Что же теперь делать? Вы в меня влюблены?

— Кажется, да, — произнес тихо редактор, не смея отрицать, но и не желая, чтобы сотрудники услышали об этом.

— Ну, я готовлю материал и в номер? — спросил Миша.

— Конечно. А вы, — в голосе Малюжкина проявилась жалкая просьба, — а вы посидите здесь, со мной? А?

— Посижу, конечно посижу! Ведь ты недолго, Миша?

— Да я здесь же, на подоконнике, напишу. У меня вчерне все готово.

— Ну вот, — улыбнулась Милица. — Мы с вами знакомы и теперь будем разговаривать. Разве не чудесно, что я вчера была старухой, а сегодня молода?

— Чудесно, — согласился Малюжкин. — У вас чудесные зубы.

— Фу, это говорят только некрасивым девушкам, чтобы их не обидеть. — Милица засмеялась так звонко, что машинистки нахмурились.

— Нет, что вы, у вас красивые руки, и волосы, и нос, — сказал Малюжкин. Он хотел было продолжить перечисление, но тут зазвонил телефон, и редактор, не желавший ни с кем разговаривать, все-таки поднял трубку и сказал резко, чтобы отвязаться: — У меня совещание.

Трубка забулькала отдаленным человеческим голосом, и Малюжкин, не положивший ее вовремя, стал слушать. Миша подмигнул Милице, считая, что дело сделано, а та подмигнула в ответ, ибо была довольна своей красотой.

— Да, — ответил вежливым голосом Малюжкин. — Конечно. В завтрашнем номере, товарищ Белосельский. Я сам этим займусь, лично. Я отлично понимаю. Наше упущение, товарищ Белосельский.

Голос в трубке все урчал, и понемногу лицо Малюжкина собиралось в обычные деловые морщины, а волосы, завернувшиеся было в тугие цыганские завитки, на глазах распрямлялись и ложились организованно по обе стороны пробора.

— Отразим, разумеется, будет сделано, — закончил он разговор и повесил трубку. — Вот, — сказал он, глядя на Милицу, и потрогал пальцем кончик носа. — Такие дела. Передовица идет о прополке. Ясно, Стендаль? О прополке, а не о подготовке школ. Со школами еще не горит. Наше упущение. Самим следовало догадаться. Позовите ко мне Степанова. Одна нога здесь, другая там. Пусть захватит график прополки.

— Как же? — спросил Стендаль. — А статья?

— Да-да, — сказал Малюжкин. — Очень приятно было познакомиться. Всегда рад. Иди же, Стендаль! Время не ждет. В газете главное — сохранять спокойствие. Ясно?

В голосе Малюжкина была настойчивость. Стендаль не смог ослушаться. Вышел в коридор и нашел Степанова. Степанов задавал вопросы, касающиеся девушки, но Стендаль не отвечал.

— Пошли, — произнес он. — Передовую будете писать. Зайдите в отдел, возьмите данные по прополке. Одна нога здесь, другая там. Так сказал шеф.

— Я же в самом деле омолодилась, — говорила Милица редактору, когда Стендаль вернулся в кабинет.

Малюжкин поднял на Стендаля обиженные глаза — его отвлекали от дела.

— Завтра чтобы быть на работе вовремя, — велел он Мише.

— Но мне же Александр Сергеевич Пушкин стихи в альбом писал! — повторяла Милица. — Личные стихи. Только мне. И нигде их не печатали.

— Очень любопытно, — сказал Малюжкин. — Оставьте альбом, посмотрим. Поместим в рубрике «Из истории нашего края». Хорошо? Значит, по рукам. Молодцы, что стихи разыскали!

И Малюжкину, переключившемуся на прополку, казалось, что он хорошо обошелся с посетителями.

— Вы не волнуйтесь, мы стихов не затеряем, понимаем ценность, девушка.

— Вы звали? — спросил Степанов, глядя на Милицу Бакшт.

Малюжкин проследил за взглядом вошедшего сотрудника, что-то забытое шевельнулось в сердце.

— Сюда, Степанов, садись. Данные по прополке захватил? Звонили, надо срочно. Так что понимаешь.

— Ну, мы пошли, — печально произнес Стендаль.

— Конечно, конечно, — сказал Малюжкин, вожделенно глядя на графики в руке Степанова. Малюжкин любил газету и любил газетную работу. Обида прошла. — Не задерживайся! — крикнул он вслед Стендалю и забыл о нем.

Хлопнула дверь за посетителями. Колыхнулись тюлевые занавески на окне.

Степанов пожалел, что девушка ушла, в такую жару писать о прополке не хотелось. Хотелось на пляж. Он подвинул к себе раскрытый альбом в сафьяновом переплете. Почерк на желтоватой странице был знаком. Рядом той же рукой был нарисован профиль только что заходившей девушки.

— Это ее альбом? — спросил Степанов.

Малюжкин удивился, но ответил:

— Ее. Говорит, Пушкин писал. — И он хихикнул. — В «Красном знамени» все агрегаты простаивают, а в сводке завывают. А? Каковы гуси?..

Конечно это был почерк Пушкина. Или изумительная совершенная подделка, которой место в музее Пушкина в Москве.

— «Оставь меня, персидская княжна...» — прочел Степанов. — «Оставь меня, персидская княжна...» — прочел он еще раз вслух.

— Потихе, — предупредил Малюжкин. — Не отвлекайтесь стихами.

Степанов не слышал: он шевелил губами, разбирал строки дальше. Этого стихотворения он не знал. И никто не знал. Степанов был первым в мире пушкинистом, читающим стихотворение, которое начиналось словами: «Оставь меня, персидская княжна...»

— Это же открытие! — воскликнул он. — Мировой важности, надо писать в Москву. Завтра прилетит Андроников.

— Что вы, сговорились, что ли? — возмутился Малюжкин. — Давай по-товарищески, Степан. Кончим передовицу — звоним Андроникову, Льву Толстому, Пушкину, выпиваем по кружке пива — что угодно! Послушай начало: «Полным ходом идет прополка на полях колхозов нашего района». Не банально?

Но Степанов не слышал, так же как за несколько минут до этого Малюжкин перестал слышать и видеть Милицу Бакшт.

Степан Степанович Степанов был одержим Пушкиным. Он был одержим упорной надеждой узнать о великом поэте все и, изучая каждое слово, сказанное им, распорядок каждого дня его жизни, терпеливо ждал, когда судьба смилостивится и подарит ему открытие в пушкинистике, от-

крытие случайное, находку, ибо закономерные открытия там уже все сделаны.

Прошло тридцать лет с тех пор, как Степан Степанов, отыскав на чердаке старого дома первое издание «Евгения Онегина», стал солдатом маленькой интернациональной армии пушкинистов. Степан Степанович постарел, обрюзг, страдал печенью, одышкой, похоронил жену, вырастил дочь Любу, и та уже выходит замуж, но открытие не давалось.

Ни сам Пушкин, ни его родственники, ни друзья-декабристы не бывали в Великом Гуслеяре и не оставили там дневников, записных книжек и устных воспоминаний. Но Степанов искал, посещал забытые пыльные чердаки, за бешеные деньги покупал редкие издания, поддерживал переписку с Ираклием Андрониковым и пастором Грюнвальдом в Швейцарии, изучил два европейских языка, не продвинулся по службе, а открытие все медлило, не приходило.

И вот неизвестные строки Пушкина, сами, без всяких усилий со стороны Степанова, оказавшиеся перед ним. Степанов грузно поднялся со стула, держа на вытянутой руке альбом в сафьяновом переплете, и подошел к окну, к свету, чтобы под солнцем убедиться в том, что счастье в самом деле посетило его, что одно из решающих открытий в пушкинистике второй половины двадцатого века сделано именно им.

— Сядь, — догнал его голос Малюжкина. — Послушай: «Однако в отдельных хозяйствах темпы прополки недостаточно высоки». Или, может, написать просто «невысоки»? Или «низки»?

— Кто та девушка? — спросил Степанов.

— Какая девушка?

— Девушка, которая к тебе приходила. С Мишей Стендалем.

— Так ты у нее и спроси. Почему у меня? Не знаю я никакой девушки.

Малюжкин тоже был одержимым человеком. Он был одержим желанием сделать газету самой лучшей в области.

— Так, — сказал Степанов, стряхнул пепел с мятых брюк, с трудом стянул на обширном животе расстегнувшуюся пуговицу и, громко запев: «Оставь меня, персидская княж-

на...», ушел из кабинета главного редактора, убыстряя шаги, протопал по коридору и выскочил на улицу.

Малюжкин посмотрел ему вслед и обиделся до слез.

29

Милица со Стендалем доплелись до пивного ларька, у которого под разноцветными пляжными зонтиками стояли шаткие столики с голубым пластиковым верхом.

Миша отстоял в очереди, поставил на столик две кружки с шапками теплой пены. Он был разочарован в жизни и в идеалах.

— Что же, не оценили нас? — спросила Милица.

— Я совершил тактическую ошибку, — признал Стендаль, не зная еще, в чем она заключалась.

— Сначала я ему понравилась, — произнесла Милица. Стендаль пил пиво, морщился.

— Придется прямо в Москву, — сказал он. — И Великий Гусяр останется никому не известным, заштатным городком. И они будут кусать себе локти. Пускай кусают.

— Немного он все-таки прославился, — напомнила Милица. — Я же здесь жила. — Она улыбалась. Она шутила, хотела развеселить Стендаля. — Все уладится.

— И никто не верит, — огорчился Стендаль. — Даже в милиции Удалову не поверили. А мне в газете. Что мы, проходимцы, что ли? Вот Грубин побежал опыты ставить, чтобы ничего не упустить. И вы тоже не только о себе думаете. Ведь правда?

— Ага, — подтвердила прекрасная Милица. — Смотрите, тот смешной дядька бежит.

По площади бежал, вертел головой мягкий, колышущийся мужчина, голый череп которого выглядывал из войлочного венца серых волос, как орлиное яйцо из гнезда. У мужчины были толстые актерские губы и нос римского императора времен упадка. Под мышкой он держал большой альбом.

Весь он, от нечищенных ботинок, за что его журил Малюжкин, до обсыпанного пеплом пиджака, являл собой сочетание неуверенности, робости и фантастической целеустремленности.

— Мой альбом несет, — определила Милица.

— Это Степан Степанов, — узнал Миша Стендаль. — Они спохватились. Они поняли и разыскивают нас. Сюда! — махал рукой Стендаль, призывая Степанова. — Сюда, Степан Степаныч!

Степанов протопал к столику. Очень обрадовался.

— А я вас ищу, — сказал он, придавливая к земле стул, — вернее, вашу спутницу. Я уж боялся, что не найду, что мне все почудилось.

— Вас Малюжкин все-таки прислал? — спросил утвердительным тоном Стендаль.

— Какой Малюжкин? Ни в коем случае. Он, знаете, резко возражал. Он не осознает. Девушка, откуда у вас этот альбом?

— Это мой альбом, — ответила Милица.

Степанов подвинул к себе кружку Стендаля, отхлебнул в волнении.

— А вы знаете, что в нем находится? — спросил Степанов, сощурился и без того маленькие глазки.

— Знаю, мне писали мои друзья и знакомые: Тютчев, Фет, Державин, Сикоморский, Пушкин и еще один из земской управы.

— Пушкин, говорите? — Степанов был строг и настойчив. — А вы его читали?

— Конечно. У вас, Мишенька, все в редакции такие чудачки?

— Если Степаныч не убедит главного, никто этого не сделает, — заметил Миша, в котором проснулась надежда.

— И не буду, — сказал Степанов. — А вы знаете, девушка, что это стихотворение нигде не публиковалось?

— А как же? — удивилась Милица. — Он же мне сам его написал. Сидел, кусая перо, лохматый такой, я даже смеялась. Я только друзьям показывала.

— Так, — проговорил Степанов, задыхаясь, допивая стендалевское пиво. — А если серьезно? Откуда у вас, девушка, этот альбом?

— Объясни ему, — попросила Милица. — Я больше не могу.

— Альбом — это только малая часть того, что мы пытались втолковать Малюжкину, — начал Стендаль, подвигая к себе кружку Милицы. — Дело не в альбоме.

— Не сходите с ума, — произнес Степанов, — дело именно в альбоме. Ничего не может быть важнее.

— Степан Степаныч, вы же знаете, как я вас уважаю. Никогда не шутил над вами. Послушайте и не перебивайте. Вы только, пожалуйста, дослушайте, а потом можете звонить, если не поверите, в сумасшедший дом или вызывать «скорую помощь».

Когда Стендаль закончил рассказ о чудесных превращениях, перед ним и Степановым стояла уже целая батарея пустых кружек. Их покупала и приносила Милица, которой скучно было слушать, которая жалела мужчин, была добра и неспесива. Продавщица уже привыкла к ней, отпускала пиво без очереди, и никто из мужчин, стоявших под солнцем, не возражал. И странно было бы, если бы возразил, — ведь раньше никто из них не видал такой красивой девушки.

— А альбом? — спросил Степанов, когда Миша замолчал.

— Альбом заберем в Москву. Как вещественное доказательство. Как только соберем деньги на билеты.

— К Андроникову?

— Там придумаем, может, и к Андроникову.

— Он его получит от меня, — сказал Степанов. — Я еду с вами.

— Как можно? — удивился Стендаль. — Неужели вы нам не верите?

— Я буду предельно откровенен, — ответил Степанов, поглаживая сафьяновый переплет. — Мне хотелось бы встретиться, чтобы развеять последние сомнения, с Еленой Кастельской. Имею честь быть с ней знакомым в течение трех десятилетий. Если она ваш рассказ подтвердит, сомнения отпадут.

— Вы ее можете не узнать, ей сейчас двадцать лет. Как и мне.

— А я задам ей два-три наводящих вопроса. К примеру, кто, кроме нее, голосовал в прошлом году на депутатской комиссии за ассигнования на реставрацию церкви Серафима. Я тоже не лыком шит.

— Вы голосовали, — сказала Милица. — Пива еще хотите?

— Я, — сознался Степанов и очень удивился. — Спасибо. Пойдем?

— А не кажется ли вам, — спросил осмелевший и преисполнившийся оптимизмом Стендаль, — что все это сказочно, невероятно, таинственно и даже подозрительно?

— Послушайте, молодой человек, — ответил с достоинством Степанов, — на моих глазах родились телефон и радио. Я собственными глазами видел фотокопию пушкинского письма, обнаруженного недавно в небольшом городе на Амазонке. Почему я не должен доверять уважаемым людям только потому, что чувства мои и глаза отказываются верить реальности? Человеческие чувства ненадежны. Ими не постигнешь даже элементарную теорию относительности. Разум же всемогущ. Обопремся на него, и все встанет на свои места. В таком случае стихотворение получает хоть и необычное, но объяснение, а это лучше, чем ничего.

30

— Елена Сергеевна, — произнес от двери Стендаль, пропуская Милицу и Степанова вперед, — скажите, кто, кроме вас, голосовал в прошлом году на депутатской комиссии за срочные ассигнования на реставрацию церкви Серафима?

— Степанов, — ответила Елена Сергеевна.

— Узнал, — обрадовался Степанов. — Я бы и без того узнал. Вы вообще мало изменились. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Поздравляю с перевоплощением.

— Степан Степанович, как я рада! — воскликнула Елена.

— Хоть живая душа. А то мы очутились в каком-то ложном положении.

— По ту сторону добра и зла, — сказал Алмаз Битый с полу.

Он строил вместе с Ваней подвесную дорогу из ниток, спичечных коробков и различных мелких вещей. Ноги Алмаза упирались в стену, ему было неудобно лежать, но иначе не управишься.

Степанов заполнил комнату объемистым телом, положил на стол альбом.

— Весьма сочувствую, — сказал он. — Только что был свидетелем очередной неудачи наших юных друзей в ре-

дакции. Одно дело — мечтать о журавле в небе, лежа на диване, другое — догадаться, что это именно он опустился к тебе на подоконник, и протянуть руку.

— Битый, — представился Алмаз, поднимаясь с пола, как молодой дог: медленно подбирая под себя и распрямляя могучие члены. — Один из виновников происшедшего. Но не раскаиваюсь.

— Как же, как же, — согласился Степанов. — С вашей стороны благородно было поделиться таким интересным секретом.

— Не хотел я сначала, — сказал Алмаз. — Думал, произойдут от этого только неприятности.

— А сейчас? — спросила Елена.

— Сейчас поздно раскаиваться. Но кто мне ответит, нужна ли людям вечная молодость? К ней тоже привыкнуть надо.

— А вы привыкли?

— Не сразу. Настоящая молодость бывает только один раз. Пока ты не знаешь, что последует за ней.

— Это правильно, — согласилась Елена.

— Но ты не расстраивайся, — сказал Алмаз. — Я тебя увезу в Сибирь. Дело найдется. Вот вы, — обратился он к Степанову, — вы уже все о наших приключениях знаете, согласились бы сейчас, если бы зелье сохранилось, присоединиться к нам?

— Не знаю, — произнес медленно Степанов. — Нет, наверное. Меня вполне устраивает мой возраст. Может, только чтобы похудеть немного. Лишний вес мешает.

— Ну, это ничего, — сказал Стендаль. — В Москве устроим вас в Институт питания. Станете Аполлоном. У нас будут большие связи в медицинском мире. И вообще, все великие открытия сначала вызывали возражения, столкновения, споры и так далее. Может быть, в Москве, когда мы явимся с рецептом вечной молодости, хотя и с неполным рецептом, нам не все поверят. И даже те, кто поверит, поверят не сразу.

— Но я же поверил. Больше того, зная о ваших временных финансовых затруднениях, согласен пойти навстречу. Человек я одинокий, и есть у меня кое-какие сбережения. Потом, будете при деньгах, отдадите.

— Вот это правильно, — одобрил Алмаз.

— Степан Степаныч — пушкиновед, — пояснил Стендаль. — Он нас признал, когда с альбомом ознакомился.

— Да, я интересуюсь творчеством Александра Сергеевича.

— Милица с ним была знакома, — сказал Алмаз.

— Знаете, как-то трудно поверить, — сознался Степанов.

— Хоть я и поверил.

— А мне лично с Пушкиным сталкиваться не приходилось. Хотя был в то время в Петербурге. Я в январе тридцать седьмого возвращался в Россию из Парижа и должен был в Санкт-Петербурге встретить одного человека, передать ему письма и деньги. А человека я того знал еще с совместного пребывания на Дворцовой площади в двадцать пятом...

— Вы имеете в виду декабрьское восстание? — спросил Степанов.

— Конечно.

— С ума сойти, — восхитился Степанов.

31

Пока взрослые разговаривали со Степановым, Удалов страдал. Он страдал по утерянной зрелости, страдал от того, что стал сиротой, что никто не принимает его всерьез, даже те, кто знает о его действительном возрасте и положении. Играть с Ванечкой в мячик и кубики было унижительно и глупо, а когда Алмаз, не желая дурного, проходя сунул ему книжку «Серебряные коньки» и сказал: «Почитал бы, Корнелий, чего маешься бездельем?» — Удалов понял, что единственное место на свете, где он может рассчитывать на человеческое участие, — это собственный дом. Но и дома мало шансов на прощение.

С книжкой в руке Удалов вышел во двор. Там стоял самовар, то есть машина господина Бакшта, и из-под нее торчали длинные ноги Саши Грубина, который проверял подвеску. Удалов подошел к ногам и подумал, что ботинки у Грубина старые, он их видел тысячу раз, а ноги новые. Как будто новый Грубин у старого отобрал ботинки.

— Саша, — позвал Удалов. — Поговорить надо.

Голос его был тонкий, не слушался, и Грубин из-под машины не сразу сообразил, кто его зовет. Но потом сообразил.

— Сейчас, — сказал он. — Погоди, Корнелий.

Корнелий встал на цыпочки и заглянул внутрь машины.

На красном кожаном сиденье лежал открытый ящик с двумя старинными пистолетами. В Удалове вдруг проснулось желание бабахнуть из пистолета по всем врагам. Он потянулся к пистолету, размышляя, кто у него главный враг, но тут рука Грубина перехватила его пальцы.

— Нельзя тебе, — остановил Корнелия старый друг Саша. — Мал еще.

— И ты, Брут?

— Шучу, — спохватился Грубин, хотя, в общем, и не шутил.

— Все ясно, — сник Удалов и пошел прочь.

— Корнелий, ты куда? — крикнул Грубин. — Не делай глупостей!

— Я уже сделал главную глупость. Не бойся.

Его маленькая фигурка скрылась за воротами. Грубин хотел было побежать следом, остановить, может быть, утешить, но вспомнил, что машина еще не приведена в порядок, и остался.

А Удалов брел по улице, как старый человек, остановился перед небольшой лужей. Детское тело готово было перепрыгнуть через лужу, но умудренный долгой жизнью мозг отказал ему в этом. И Удалов осторожно обошел лужу. Грустные видения вставали перед его мысленным взором. Ему казалось, что он сидит за одной партой с сыном Максимкой и пытается списать из его тетрадки решение задачи, потому что сам давно забыл все правила математики, а сын закрывает тетрадку ладошкой и зло шепчет: «Надо было в свое время учиться». А учительница в образе Елены Сергеевны говорит: «Удалов-младший, выйди из класса и без отца не возвращайся». — «Нет у меня отца, — отвечает Корнелий. — Есть только супруга». И весь класс хохочет.

Нечто знакомое привлекло внимание Удалова. Оказывается, он проходил мимо здания бани, которое возводилось силами его конторы. Над возведением бани трудилась бригада Курзанова и работала с большим отставанием от

графика. Удалов поднял голову, рассчитывая увидеть каменщиков, кладущих кирпичи второго этажа, но каменщиков не увидел. Это его встревожило. Обеденный перерыв еще не наступил. Следовало разобраться.

Удалов обогнул стройку и вошел во двор, засыпанный стройматериалами.

Он увидел, что вся бригада собралась вокруг большого ящика, на котором разложена газета. Бригадир Курзанов держит в руке карандаш, уткнув его в газету, и руководит разгадыванием кроссворда. Все остальные строители помогают советами.

Эта картина возмутила Удалова. Прижимая ручонками к груди книгу «Серебряные коньки», мальчик подошел к строителям и строго спросил:

— В чем дело, Курзанов? Почему бригада простаивает?

— А ведь перерыв, — не поднимая головы, ответил бригадир.

— Какой перерыв в одиннадцать тридцать? — рассердился Удалов.

Удивленный командирскими интонациями в детском голосе, бригадир поднял голову и увидел мальчика.

— Пошел отсюда, — велел он добродушно. — Не мешай.

Удалов не сдавался. Он поднял руку вверх, как бы призывая к вниманию, и сказал так:

— Товарищи, неужели вы забыли, что мы с вами принимали повышенные обязательства? Вот ты, Курзанов, бригадир. Как ты посмотришь в глаза общественности, которая доверила тебе возведение очень нужного объекта? А ты, Тюрин? Сколько раз ты клялся на собраниях исправиться и прекратить прогулы? А ты, Вяткин, неужели приятно, что тебя склоняют ввиду твоей лени?

Реакция строителей была острой. Они даже отступили на несколько шагов перед мальчиком, который отчитывал их, размахивая детской книжкой. Особенно смущала информированность ребенка.

— Мальчик, ты чего? — спросил Курзанов.

— Что, не узнаешь своего начальника? — Удалов продолжал наступать на строителей. — Думаешь, если я сегодня плохо выгляжу, то, значит, можно лясы точить? Вы учитите, мое терпение лопнуло. Я принимаю меры!

Вот этих, последних слов Удалову, пожалуй, не следовало произносить. Уж очень они не соответствовали его внешнему виду. Кто-то из строителей засмеялся. За ним — другие.

И дальнейшая речь Удалова утонула в хохоте. Хохот был добродушный, не злой.

— Иди, мальчик, — вымолвил наконец Курзанов. — Тебе в школу надо. А ты прогуливаешь.

И только тогда Удалов как бы взглянул на себя со стороны и понял, что никогда ему не доказать этим лентяям, что он их начальник. Но отступить было нельзя — стройка находилась под угрозой срыва. И когда строители, все еще посмеиваясь, вернулись к разгадыванию кроссворда, Удалов понял, что надо делать. Он решительно поднялся по лесам на второй этаж, нашел там ведро с раствором, мастерок и принялся сам класть кирпичи в стену.

Руки ему не повиновались, кирпичи казались тяжелыми, как будто были отлиты из свинца, трудно было набрать и донести до стены сколько нужно густого раствора. Но кирпич за кирпичом ложился на место — не даром в молодости Удалов поработал каменщиком.

Строители все это видели. Но сначала они лишь улыбались, хотя сноровка мальчика их удивляла.

Но прошло пять минут, десять. Пошатываясь от усталости, обливаясь слезами, мальчик продолжал класть кирпичи.

— Психованный какой-то, — проговорил наконец Тюрин.

— Что-то он мне знакомый, — сказал бригадир.

— А может, это удаловский сын? — спросил Вяткин. — Максимка?

— Похож, — согласился Тюрин. — Вот и про нас все знает.

— Может, пойдём поработаем? — предложил Вяткин.

— И вообще, сколько можно прохлаждаться? — разгневался бригадир Курзанов. — Мы же обязательства давали как-никак.

И он первым поднялся на леса, подхватил под локотки безнадежно уморившегося Удалова и отставил в сторону.

И через минуту уже кипела работа.

Все забыли о настырном мальчишке.

Удалов подобрал книжку и потихоньку ушел.

Конечно, плохо быть мальчиком, но все же он победил целую бригаду и личным примером показал им путь. Главное — решительность. Она должна помочь и в разговоре с Ксенией.

32

Подобное же испытание в эти минуты выпало на долю Ванды Казимировны.

Она подошла к универмагу в тот момент, когда перед ним разгружали машину.

— Что привезли? — спросила она у шофера.

— Детскую обувь, — ответил шофер, любуясь крепконогой красивой девушкой в очень свободном платье. — А ты здесь работаешь, что ли?

— Работаю, — подтвердила девушка и направилась к главному входу.

Этого шофера Ванда знала, он приезжал в универмаг лет пять. И вот не узнал.

С каждым шагом настроение ее портилось. Магазин, такой родной и знакомый, куда более важный, чем дом, магазин, с которым связаны многие годы жизни, трагедии и достижения, опасности и праздники, именно ее трудом ставший лучшим универмагом в области, — этот магазин Ванду не замечал.

Она шла торговым залом, огибая очереди и останавливаясь у прилавков. Она знала каждого из продавцов, кто замужем, а кто одинок, кто честен, а кто требует надзора, кто работающ, а кто уклоняется от труда, у кого язва, а у кого ребенок на пятнадцатке. И все эти люди, что вчера еще радостно или боязливо раскланивались с Вандой, теперь скользили по ней равнодушными взглядами как по обыкновенной покупательнице. Магазин ее предал! Уходя от Елены, когда там шел разговор со Степановым, Ванда сказала мужу, что пойдет домой, соберется в дорогу. Савича она с собой звать не стала, а он и не напрашивался. Ему сладко и горько было оставаться рядом с Еленой. Ему казалось, что еще не все кончено, надо найти нужное слово и сказать его в нужный момент. Ванда же, стремясь

скорее в универмаг, была убеждена, что ни нужного момента, ни нужного слова не будет. Так что уходила почти спокойно. Цель ее была проста — зайти к себе в кабинет, взять сберкнижку из сейфа, снять с нее деньги, чтобы в Москве не было недостатка. И если будет возможность, оформить отпуск за свой счет.

Сложность и даже безнадежность ее положения стали очевидными только в самом магазине. Когда оказалось, что ее не узнала ни одна живая душа. Это было более чем обидно. Именно в этот момент в голове Ванды Казимировны впервые прозвучала мысль, которая будет мучить ее в следующие часы: «И зачем мне нужна эта молодость? Жили без нее».

Вопрос об отпуске за свой счет уже не стоял. Оставалось одно: проникнуть в собственный кабинет и изъять сберегательную книжку.

Пришлось хитрить. Ванда смело зашла за прилавок галантерейного отдела, и, когда ее остановила Вера Пушкина, она сказала ей: «Я к Ванде Казимировне». Мимо склада и женского туалета Ванда поднялась в коридорчик, где были бухгалтерия и ее кабинет. К счастью, кабинет был пуст. И открыт.

Ванда быстро прошла в угол, за стол, вынула из сумочки ключи и в волнении — ведь не каждый день приходится тайком вскрывать свой собственный сейф — не сразу нашла нужный. И в тот момент, когда ключ послушно повернулся в замке, Ванда услышала рядом голос:

— Ты что здесь делаешь?

Испуганно обернувшись, Ванда увидела, что над ней нависает громоздкое тело Риммы Сарафановой — ее заместительницы.

— Сейф открыла, — глупо ответила Ванда.

— Вижу, что открыла, — сказала Римма, перекрывая телом пути отступления. — Давай сюда ключи.

— Ты что, не узнала? — спросила Ванда, беря себя в руки.

— Кого же я должна узнать?

— Так я же Ванда, Ванда Казимировна. Твоя директорша.

— Ты Иван Грозный, — добавила Римма. — И еще Брижит Бардо.

— Ну как же! — в отчаянии сопротивлялась Ванда. — Платье мое?

— Твое.

— И туфли мои?

Римма посмотрела вниз.

— Вроде твои.

— Кольцо мое? — Она сунула под нос Римме руку.

Кольцо еле держалось на пальце.

— Кольцо ее, — сказала Римма. — Тебе велико.

— Я и есть Ванда. Глаза мои?

— Не скажу, — ответила Римма. — Я сейчас милицию вызову. Она и разберется, чьи глаза.

— Римма, девочка, я же все про тебя знаю. И про Васю. И где ты дачу строишь. Хочешь скажу, какие у тебя шторы в большой комнате?

— Ключи, — повторила железным голосом Римма.

Ванда была вынуждена сдать ключи. Но сама еще не сдалась.

— Омоложивалась я, — сказала она, чуть не плача. — Опыт такой был. И Никитушка мой омолодился. Со временем и тебе устроим.

Римма была в сомнении — уж очень ситуация была необычной. В самом деле, платье Вандино и глаза вроде бы Вандины, а в остальном — авантюристка. Римма привыкла верить своим глазам, они ее еще никогда не обманывали. И хоть эта девушка напоминала Ванду, Вандой она не была.

Ванда в отчаянии подыскивала аргументы, хотела было показать паспорт, но сообразила, что паспорт будет козырем против нее. Там есть год рождения и фотокарточка, которая ничего общего с ней не имеет.

Тут ее осенила светлая мысль.

— Простите, Римма Ивановна. Я вас обманула.

— И без тебя знаю.

— Я племянница Ванды Казимировны. Я из Вологды приехала.

— А Ванда где?

— А Ванда болеет. Грипп у нее.

— Дома лежит? — спросила Римма и потянулась к телефонной трубке.

— Нет, — быстро сказала Ванда. — Тетя в поликлинику пошла.

— В какую?

- В третью.
- К какому доктору?
- Семичастной.
- В какой кабинет?
- В шестой.
- А откуда ты знаешь кабинет, если из Вологды приехала?

Ванда поняла, что терпение Риммы истощилось. Никакой надежды получить обратно ключи и сберкнижку нет. Оставалось одно — бежать.

— А вот и тетя! — закричала она, глядя поверх плеча Риммы.

Та непроизвольно оглянулась.

Ванда нырнула ей под руку и кинулась наружу. Кубарем слетела по служебной лестнице во двор. Выбежала двором в садик и спряталась за церковью Параскевы Пятницы. Только там отдышалась.

Все погибло. Даже домой опасно возвращаться. Римма может и милицию вызвать, сказав, что какая-то авантюристка обокрала Ванду Казимировну, сняла с нее кольцо и старалась вскрыть сейф. С Риммы станется. Хотя за что Римму винить? Она же Вандины интересы охраняет.

Ванда Казимировна стояла в кустах, где недавно Удалов напал на своего сына Максимку, и горько рыдала. Много лет так не рыдала.

— Господи, — повторяла она. — Зачем мне эта молодость? В свой кабинет зайти нельзя! Подчиненные не узнают.

Она еще долго стояла там, тщетно придумывая, как ей перехитрить Римму. Но ничего не придумала. И пошла дворами и переулками к Елене, потому что помнила — Савич оставлен там без присмотра.

33

Солнце клонилось к закату, тени стали длиннее, под кустом сирени собрались, как всегда, любители поиграть в домино.

Во двор вошел мальчик с книжкой «Серебряные коньки» в руке. Мальчик был печален и даже испуган. Он не-

решительно остановился посреди двора и стал глядеть наверх, где были окна квартиры Удаловых.

В этот самый момент кто-то из играющих в домино спросил громко:

— Как там, Ксения? Не нашелся еще твой?

Из открытого окна на втором этаже женский голос произнес сурово и холодно:

— Пусть только попробует явиться! За все ответит. Его ко мне с милицией приведут. Лейтенант такой симпатичный, лично обещал.

— Ксения! Ксюша! — позвал Удалов, остановившись посреди двора.

Доминошники прервали стук. Из окна напротив женский голос помог Удалову:

— Ксения, тебя мальчонка спрашивает. Может, новости какие?

— Ксения! — рявкнул один из игроков. — Выгляни в окошко.

— Ксюша, — мягко сказал Удалов, увидев в окне родное лицо. — Я вернулся.

— Что тебе? — спросила Ксения взволнованно.

— Я вернулся, Ксения, — повторил Удалов. — Я к тебе совсем вернулся. Ты меняпустишь?

Доминошники засмеялись.

— Ты от Корнелия? — спросила Ксения.

— Я не от Корнелия, — сказал мальчик. — Я и есть Корнелий. Ты меня не узнаешь?

— Он! — закричал другой мальчишеский голос. Это высунувшийся в окно Максимка, сын Удалова, узнал утреннего грабителя. — Он меня раздел! Мама, зови милицию!

— Хулиганье! — возмутилась Ксения. — Сейчас я спущусь.

— Я не виноват, — сказал Корнелий и не смог удержать слез. — Меня помимо моей воли. Я свидетелей приведу.

— Смотри-ка, как на Максимку твоего похож, — удивился один из доминошников. — Как две капли воды.

— И правда, — подтвердила женщина с того конца двора.

— Я же муж твой, Корнелий! — плакал мальчик. — Я только в таком виде не по своей воле.

Корнелий двинулся было к дому, чтобы подняться по лестнице и принять наказание у своих дверей, но непо-

читительные возгласы сзади, смех из раскрытых окон — все это заставило задержаться. Мальчик взмолился:

— Вы не смейтесь. У меня драма. У меня сын старше меня самого. Это ничего, что я внешне изменился. Я с тобой, Ложкин, позавчера «козла» забивал. Ты еще три «рыбы» подряд сделал. Так ведь?

— Сделал, — сказал сосед. — А ты откуда знаешь?

— Как же мне не знать? Я же с тобой в паре играл. Против Васи и Каца. Его нет сегодня. Это все медицина. Надо мной опыт произвели, с моего, правда, согласия, и может, даже очень нужный для науки, а у меня семья.

Ксения тем временем спустилась во двор. В руке она держала плетеную выбивалку для ковров. Максимка шел сзади с сачком.

— А ну-ка, — велела она, — подойди поближе.

Корнелий опустил голову, приподнял повыше узкие плечики. Подошел. Ксения схватила мальчишку за ворот рубашки, быстрым, привычным движением расстегнула лямки, спустила штанишки и, приподняв ребенка в воздух, звучно шлепнула его выбивалкой.

— Ой! — вскрикнул Корнелий.

— Погодила бы, — сказал Ложкин. — Может, и в самом деле наука!

— Он самый! — радовался Максимка. — Так его!..

Неожиданно рука Ксении, занесенная для следующего удара, замерла на полпути. Изумление ее было столь очевидно, что двор замер. На спине мальчика находилась большая, в форме человеческого сердца, коричневая родинка.

— Что это? — спросила Ксения тихо.

Корнелий попытался в всяком положении повернуть голову таким образом, чтобы увидеть собственную спину.

— Люди добрые, — сказала Ксения, — клянусь здоровьем моих деточек, у Корнелия на этом самом месте эта самая родинка находилась.

— Я и говорю, — раздался в мертвой тишине голос Ложкина, — прежде чем бить, надо проверить.

— Ксения, присмотришь, — посоветовала женщина с другой стороны двора. — Человек переживает. Он ведь у тебя невезучий.

Корнелий, переживавший позор и боль, обмяк на руках Ксении, заплакал горько и безутешно. Ксения подхватила его другой рукой, прижала к груди — почувствовала родное — и быстро пошла к дому.

34

Савич истомился. Он то выходил во двор, к Грубину, который возился с автомобилем, то возвращался в дом, где было много шумных людей, все разговаривали, и никому не было дела до Савича. Он вдруг понял, что двигается по дому и двору не случайно — старается оказаться там, где Елена может уединиться с Алмазом. Ее очевидная расположенность к Битому и его откровенные ухаживания все более наполняли Савича справедливым негодованием. Он видел, что Елена, ради которой он пошел на такую жертву, в самом деле не обращает на него никакого внимания, а старается общаться с бывшим стариком. И это когда он, Савич, почти готов ради нее разрушить свою семью.

Поэтому, когда Савич в своем круговращении в очередной раз подошел к комнате, где Елена собиралась в дорогу, он застал там Алмаза, обогнавшего его на две минуты. И, остановившись за приоткрытой дверью, услышал, как Алмаз говорит:

— Хочу сообщить тебе, Елена Сергеевна, важную новость. Не помешаю?

— Нет, — ответила Елена. — Я же не спешу.

— Триста лет я прожил на свете, — сказал бывший старик, — и все триста лет искал одну женщину, ту самую, которую люблю с первого взгляда и навсегда.

— И нашли Милицу, — добавила Елена.

И хоть Савич не видал ее, он уловил в голосе след улыбки.

— Милица — моя старая приятельница. Она не в счет. Я о тебе говорю.

— Вы меня знаете несколько часов.

— Больше. Я уже вчера вечером все понял. Помнишь, как уговаривал тебя выпить зелья. Если бы дальше отказывалась, силком бы влил.

— Вы хотите сказать, что в пожилой женщине.

— Это и хотел сказать. И второе. Я тебя в Сибирь увезу. Если хочешь, и Ванечку возьмем.

— А что я там буду делать?

— Что хочешь. Детей учить. В музей пойдешь, в клуб — мало ли работы для молодой культурной девицы?

— Это шутка? — Вдруг голос Елены дрогнул.

Савич весь подобрался, как тигр перед прыжком.

— Это правда, Елена, — сказал Алмаз.

В комнате произошло какое-то движение, шорох.

И Савич влетел в комнату.

Он увидел, что Елена стоит, прижавшись к Алмазу, почти пропав в его громадных руках. И даже не вырывается.

— Прекратите! — закричал Савич. И голос его сорвался. Он закашлялся.

Елена сняла с плеч руки Алмаза, тот обернулся удивленно.

— Никита, — удивилась Елена. — Что с тобой?

— Ты изменила! — сказал Никита. — Ты изменила нашим словам и клятвам. Тебе нет прощения.

— Клятвам сорокалетней давности? От которых ты сам отказался?

— Я ради тебя пошел на все! Буквально на все! Я не позволю этому случиться. Приезжает неизвестный авантюрист и тут же толкает тебя к сожигательству.

— Ну зачем ты так, аптека? — сказал Алмаз. — Я замуж зову, а не к сожигательству.

— Будьте вы прокляты! — С этим криком Савич выбежал из комнаты и кинулся во двор.

Он должен был что-то немедленно сделать. Убить этого негодяя, взорвать дом, может, даже покончить с собой. Весь стыд, вся растерянность прошедших часов слились в этой вспышке гнева.

— Ты что, Никита? — спросил Грубин, разводящий в машине пары. — Какая муха тебя укусила?

— Они! — Савич наконец-то отыскал человека, который его выслушает. — Они за моей спиной вступили в сговор!

— Кто вступил?

— Елена мне изменяет с Алмазом. Он зовет ее в Сибирь! Это выше моих сил.

— А ты что, с Еленой хотел в Сибирь ехать? — не понял Грубин.

— Я ради нее пошел на все! Чтобы исправить прошлое! Ты понимаешь?

— Ничего не понимаю, — сказал Грубин. — А как же Ванда Казимировна?

— Кто?

— Жена твоя, Ванда.

— А она тут при чем? — возмутился Савич.

Взгляд его упал на открытый ящик с пистолетами. И его осенила мысль.

— Только кровью, — сказал он тихо.

— Савич, успокойся, — велел Грубин. — Ты не волнуйся.

Но Савич уже достал из машины ящик и прижал его к груди.

— Нас рассудит пуля, — произнес он.

— Положи на место! — крикнул Грубин. В этот момент из дома вышел Алмаз. За ним — Елена. Неожиданное бегство Савича их встревожило. Никита увидел Алмаза и быстро пошел к нему, держа ящик с пистолетами на вытянутых руках.

— Один из нас должен погибнуть, — сообщил он Алмазу.

— Стреляться, что ли, вздумал? — спросил Алмаз.

— Вот именно.

— Не сходи с ума, Никита, — сказала Елена учительским голосом.

— Ой, как интересно! — как назло, во двор выбежали Милица с Шурочкой. — Настоящая дуэль. Господа, я буду вашим секундантом.

Милица подбежала к Савичу, вынула один из пистолетов и протянула его Алмазу.

— Они же убьют друг друга! — испугалась Шурочка.

— Не бойся, — засмеялась Милица, — пистолетам по сто лет. Они не заряжены.

— Ну что, трепещешь? — спросил Савич.

— Чего трепетать. — Алмаз взял пистолет. — Если хочешь в игрушки играть, я не возражаю. Давненько я на дуэли не дрался.

— Вы дрались на дуэли? — спросила Елена.

— Из-за женщины — в первый раз.

Милица развела дуэлянтов в концы двора и вынула белый платочек.

— Когда я махну, стреляйте, — распорядилась она.

— Это глупо, — сказала Елена Алмазу. — Это мальчишество.

— Он не отвяжется, — ответил Алмаз тихо.

Савич сжимал округлую, хищную рукоять пистолета.

Все было кончено. Черная речка, снег, секунденты в черных плащах.

— Ну, господа, господа, не отвлекайтесь, — потребовала Милица и махнула платком.

Алмаз поднял руку и спустил курок, держа пистолет дулом к небу — не хотел рисковать. Курок сухо щелкнул.

— Ну вот, что я говорила! — воскликнула Милица. — Никто не пострадал.

— Мой выстрел, — напряженно произнес Савич.

Он целился, и рука его мелко дрожала. Спустить курок было трудно, он не поддавался.

Наконец Савич справился с упрямым курком. Тот поддался под пальцем, и раздался оглушительный выстрел. Пистолет дернулся в руке так, словно хотел вырваться. И серый дым на мгновение закрыл от Савича его врага.

И Савичу стало плохо. Весь мир закружился перед его глазами.

Поехал в сторону дом, трава медленно двинулась навстречу. Савич упал во весь рост. Пистолет отлетел на несколько шагов в сторону.

Алмаз стоял, как прежде, не скрывая удивления.

— Надо же, — удивился он. — Сто лет пуля пролежала. Елена кинулась к нему.

— Антон Павлович Чехов говорил мне, — сказала Милица, вытирая лоб белым платочком, — что если в первом действии на стене висит ружье...

Но договорить она не успела, потому что во двор вбежала Ванда и, увидев, что Савич лежит на земле, быстрее всех успела к нему, подняла его голову, положила себе на колени и принялась баюкать мужа, как маленького, повторяя:

— Что же они с тобой сделали? Мы их накажем, мы на них управу найдем.

Савич открыл глаза. Ему было стыдно. Он сказал:

— Я не хотел, Вандочка.

— Я знаю, лежи.

И тут появилась еще одна пара. Ксения тяжело вошла в ворота, неся на руках Корнелия Удалова.

— Что же это получается? — спросила она. — Где это видано?

Удалов тихо хныкал.

— Помирились? — спросил Грубин.

— По детям стреляют. Куда это годится? — сказала Ксения. — Смотрите. Отсюда пуля прилетела. Штаны разорваны. На теле ранение.

Все сбежались к Удалову. Штаны в самом деле были разорваны, и на теле был небольшой синяк.

Ксения поставила Удалова на траву и принялась всем показывать круглую пулю, которая ударила в Удалова на излете.

— Ну и невезучий ты у нас, — произнес Грубин.

Удалов отошел в сторону, а Ксения, отбросив пулю, вспомнила, зачем пришла.

— Кто у вас главный? — спросила она.

— Можно считать меня главным, — сказал Алмаз.

— Так вот, гражданин, — заявила Ксения. — Берите нас в Москву. Чтобы от молодости вылечили. Была я замужней женщиной, а вы меня сделали матерью-одиночкой с двумя детьми. С этим надо кончать.

35

Шурочка и Стендаль проводили машину до ворот. Они бы поехали дальше, но машина была так перегружена, что Грубин боялся, она не доедет до станции. И без того, помимо помолодевших, в ней поместились два новичка — Ксения и Степан Степанович, люди крупные, грузные.

Грубин вел автомобиль осторожно, медленно, так что мальчишки, которые бежали рядом, смогли сопровождать его до самой окраины. Люди на улицах смотрели на машину с улыбками, считали, что снимается кино, и даже узнавали в своих бывших горожанах известных киноартистов. Машину увидел из своего окна и редактор Малюжкин. Он узнал среди пассажиров Милицу и Степанова, открыл окно и крикнул Степанову, чтобы тот возвращался на работу.

— Считайте меня в командировке, — ответил Степанов. Малюжкин обиделся на сотрудника и захлопнул окно. Его никто не понимал.

Уже начало темнеть, когда машина въехала в лес. Разговаривали мало, все устали и не выспались. Удалов задремал на коленях у жены.

Легкий туман поднялся с земли и светлыми полосами переползал дорогу. Фары в машине оказались слабыми, они не могли пронзить туман и лишь высвечивали на нем золотистые пятна. Уютно пыхтел паровой котел, и дым из трубы тянулся за машиной, смешиваясь с туманом.

Лес был тих и загадочен. Даже птицы молчали. И вдруг сверху, из-за вершин елей, на землю опустился зеленый луч. Он был ярок и тревожен. В том месте, где он ушел в туман, возникло зеленое сияние.

— Стой, — сказал Алмаз.

Грубин затормозил.

— Чего встали? — спросила Ванда. — Уже сломалась?

Но тут и она увидела зеленое сияние и осеклась.

В центре сияния материализовалось нечто темное, продолговатое, словно веретено. Веретено крутилось, замедляя вращение, пока не превратилось в существо, схожее с человеком, хрупкое, тонкое, одетое в неземную одежду.

Существо подняло руку, как бы призывая к молчанию, и начало говорить, причем не видно было, чтобы у существа шевелились губы. Тем не менее каждое его слово явно доносилось до всех пассажиров автомобиля.

— Алмаз, ты узнаешь меня? — спросило существо.

— Здравствуй, пришелец, — сказал Алмаз. — Вот мы и встретились.

— Я бы не хотел с тобой встречаться, — ответил пришелец.

Ксения привстала на сиденье и, не выпуская из рук Удалова, обратилась к пришельцу:

— Мужчина, отойдите с дороги. Мы спешим, нам вот в Москву надо, от молодости лечиться.

— Знаю, — сказал пришелец. — Молчи, женщина.

И в голосе его была такая власть, что даже Ксения, которая мало кому подчинялась, замолчала.

— Ты нарушил соглашение, — произнес пришелец, обращаясь к Алмазу. — Ты помнишь условие?

— Помню. Я хотел жить. И пожалел этих людей. Они были немолоды, и им грозила смерть.

— Когда ты поделился средством с Милицей, — сказал пришелец, — я не стал принимать мер. Но сегодня ты открыл тайну многим. И вынудил меня отнять у тебя дар.

— Я понимаю. Но прошу тебя о милости. Погляди на Милицу, она молода и прекрасна. И если ты лишишь ее молодости, она завтра умрет. Погляди на Елену — мы с ней хотели счастья. Погляди на Грубина, он же может стать ученым.

— Хватит, — прервал его пришелец. — Ты зря стараешься вызвать во мне жалость. Я справедлив. Я дал тебе дар, чтобы ты пользовался им один. Земле еще рано знать о бессмертии. Земля еще не готова к этому. Люди сами должны прийти до такого открытия.

— Не о себе прошу... — начал было Алмаз, вылезая из машины и делая шаг к пришельцу.

Но тот не слушал. Он развел в стороны руки, в которых заблестели какие-то шарики, и от них во все стороны побежали молниевые дорожки. В воздухе запахло грозой, и зеленый туман, за клубившись, поднявшись до вершин деревьев, окутал машину и Алмаза, замершего перед ней.

Грубин, уже догадавшись, что произошло, успел лишь поднять глаза к Милице, что стояла за его спиной, и встретить ее ясный взгляд, полный смертельной тоски. И протянул к ней руку. А Алмаз, который хотел в этот последний момент быть рядом с Еленой, сделать этого не успел, потому что странная слабость овладела им и заставила опуститься на землю.

Было очень тихо.

Зеленый туман смешался с белым и уполз в лес. Постепенно в сумерках голубым саркофагом вновь образовался автомобиль, и в нем, склонившись друг к другу, сидели и лежали бесчувственные люди.

— Как грустно быть справедливым, — произнес пришелец на своем языке, подходя к машине.

Он увидел толстую пожилую женщину, Ксению Удалову, которая держала на коленях курносого полного мужчину ее лет. Он взгляделся во властное и резкое лицо другой немолодой женщины, Ванды Казимировны, которая даже в беспомощности крепко обнимала лысого рыхлого Савича. Степан Степаныч, разумеется, не изменился.

Он сидел на заднем сиденье, закрыв глаза и прижимая к груди бесценный альбом с автографом Пушкина.

И вдруг пришелец ахнул.

Он протер глаза. Он им не поверил.

За рулем машины сидел, положив на него голову, курчавый юноша Саша Грубин. И, протянув к нему тонкую руку, легко дышала прекрасная персидская княжна.

Взгляд пришельца метнулся дальше.

Елена Сергеевна была так же молода, как десять минут назад.

— Этого не может быть, — произнес пришелец. — Это невозможно.

— Возможно, — ответил Алмаз, который первым пришел в себя и подошел сзади. Он тоже был молод и уже весел. — Есть, видать, вещи, которые не поддаются твоей инопланетной науке.

— Но почему? Как?

— Могу предположить, — сказал Алмаз. — Бывают люди, которым молодость не нужна. Ни к чему она им, они уже с юных лет внутри состарились. И нечего им со второй молодостью делать. А другие... другие всегда молоды, сколько бы лет ни прожили.

Люди в машине приходили в себя, открывали глаза. Первым опомнился Удалов. Он сразу увидел, что его детский костюмчик разорвался на животе в момент возвращения в прежний облик. Он провел рукой по толстым щекам, лысине и затем громко поцеловал в щеку свою жену.

— Вставай, Ксюша! — воскликнул он. — Обошлось!

Эти слова разбудили Савичей.

Ванда принялась радостно гладить Никиту, а тот глядел на жену и думал: «Как дурной сон, буквально дурной сон».

— Ничего, Саша, — проговорил Удалов, протягивая руку, чтобы утешить Грубина. — обойдемся и без этих инопланетных штучек.

Очнувшийся Грубин, смертельно подавленный разочарованием, обернулся к Удалову, и тот, увидев перед собой юное лицо старого друга, вдруг закричал:

— Ты что, Грубин, с ума сошел?

Но Грубин на него не смотрел, он искал глазами Милицу, боясь ее найти. И нашел.

А Милица, встретив восторженный взгляд Грубина, поглядела на свои руки и, когда поняла, что они молоды и нежны, закрыла ими лицо и зарыдала от счастья.

— Вылезай, Елена, — сказал Алмаз, помогая Елене выйти из машины. — Хочу познакомить тебя со старым другом. Помнишь, я тебе рассказывал, как мы из тюрьмы бежали?

— Очень приятно, — произнес пришелец, который все еще не мог пережить своего поражения. — Я думаю, вы собираетесь создать семью?

— Не знаю.

Елена посмотрела на Алмаза, а тот произнес уверенно:

— В ближайшие дни.

И тут они услышали возмущенный крик Савича:

— Что же получается? Все остались молодыми, а я должен стать старым. Это несправедливо! Я всю жизнь хотел стать молодым! Я имею такое же право на молодость, как и остальные.

— Пойдем, мой зайчик, пойдем, — повторяла Ванда, стараясь увести его прочь. — Это у тебя нервное, это пройдет.

— Пошли, соседи, — предложил Удалов. — А то дотемна в город не успеем вернуться.

— Елена, — рыдал Савич, — все эти годы я тебя безответно любил!

— Ты мне только попробуй при живой жене! — Ванда сильно дернула его за руку, и Савич был вынужден отойти от машины.

— Извините, — сказал пришелец. — Я полетел.

— До встречи, — попрощался Алмаз.

Пришелец превратился в зеленое сияние, потом в луч. И исчез.

Елена посмотрела вслед уходящим к городу. Савич все оглядывался, норовил вернуться. Удаловы шли спокойно, обнявшись.

— Ну что ж, — сказал Алмаз, — по местам! А то к поезду не успеем.

ПАРОВОЗ ДЛЯ ЦАРЯ

Небольшой космический корабль упал во дворе дома шестнадцать по Пушкинской улице. Шел дождь со снегом, осень заканчивала свое дело. Упал он бесшумно, так что Корнелий Удалов, который шел на работу, сначала даже не сообразил, какие гости пожаловали прямо к дому.

Корабль повредил край сарая, шмякнулся в лужу, поднял грязь и брызги. И замер.

Удалов вернулся от ворот, обошел корабль вокруг, прикрываясь от дождя цветным пляжным зонтиком, позаимствованным у жены, постучал корабль по боку, надеясь на ответный сигнал, и, не дождавшись, отправился будить соседа Александра Грубина.

— Саша, — сказал Удалов, толкнув пальцем форточку на первом этаже. Форточка отворилась. — Саша, вставай, к нам космический корабль во двор упал.

— Рано еще, — слышался сонный голос Грубина. — Восьми нету.

— Молчит, не откликается, — сказал Удалов. — Может, авария случилась?

— А большой корабль? — спросил Грубин.

— Нет, метра три. Системы «летающее блюдо»...

— А опознавательные знаки есть?

— Опознавательных знаков не видно.

— Ты посторожи, я сейчас оденусь. Дождь на дворе?

— Мерзкая погода. И надо же было ему именно сегодня упасть! У меня в девять совещание.

Удалов вернулся к кораблю, отыскал люк, постучал в него.

— Стемивурам зас? — спросили изнутри.

— Это я, Удалов, — представился Корнелий Иванович. — Вы нарочно к нам приземлились или как?

— Послители, маратакра, — сказал голос изнутри.

— Открывай, открывай, я подожду, — ответил Удалов. Люк щелкнул, отворился.

Внутри стоял, протирая заспанные глаза, неизвестный Удалову встрепанный космонавт в пижаме.

Внешне он напоминал человека, если не считать чрезвычайно маленького, по пояс Удалову, роста, зеленоватой кожи и жестких волос, которые пучками росли на лбу и на кончике носа.

— Прекрани вслука! — воскликнул космонавт, поглядев на небо, потом на Удалова и на строения, окружающие двор.

— Погода как погода. Для этого времени года в наших широтах мы лучшего и не ждем.

Космонавт поежился на ветру и произнес:

— Струку, крапатака.

— Оденься, — сказал Удалов. — Я подожду.

Он заботливо прикрыл за ушедшим космонавтом люк, а сам зашел за бок корабля: там меньше хлестало дождем. Розовая краска с корабля облезла — видно, не первый день его носило по космическим далям.

Пришел Грубин, накрытый армейской плащ-палаткой.

— Этот? — спросил он, указывая на корабль.

— Вот именно, — подтвердил Удалов.

— Некрупный. А ты как, достучался?

— Сейчас оденется, выйдет.

— Он к нам с визитом или как?

— Еще не выяснил. Погода ему наша не понравилась.

— Кому такая понравится! Не Сочи.

— Всегда я жду чего-нибудь интересного от прилета межзвездных гостей. Развития технологии, науки, искусств, — признался Удалов. — Даже сердце замирает от перспектив.

— Погоди, может, у него враждебные цели, — предостерег Грубин.

— Не похоже. Он в пижаме был, видно, проспал посадку.

— А на каком языке говорит?

— Язык пока непонятен. Ну ничего, расшифруем.

Расшифровывать язык не пришлось. Люк заскрипел, отворился, на землю соскочил космонавт, на этот раз в прозрачном плаще и такой же шляпе.

— Ну что ж, — проговорил Удалов. — Только учтите, что у меня в девять начинается совещание.

Космонавт вытащил из кармана черную коробочку с дырками, затянутыми сеточкой. Включил нажатием кнопки.

— Переводчик у тебя такой, что ли? — догадался Грубин.

Черная коробочка сразу произнесла:

— Вокрочитук па ла-там-пракава?

— Воста, — сказал космонавт, и коробочка повторила:

— Правильно.

С этого момента общение между космонавтом и людьми упростилось. Да и догадка Удалова оказалась правильной: космонавт принадлежал к развитой и продвинутой цивилизации.

Общаться с таким представляло большой интерес.

— Что за планета? — спросил космонавт.

Ему было холодно, он переступал с ножки на ножку, и потому Грубин предложил:

— Зайдемте ко мне, поговорим в тепле. Ну что за беседа на такой погоде.

— Если, конечно, не спешите, — добавил Удалов.

Космонавт махнул ручкой, что означало: куда уж спешить, и они пошли через двор к Грубину.

Космонавт вел себя прилично, вытер ноги, правда, по причине малых размеров на стул его пришлось подсадить.

— Планета наша называется Землей, — начал, когда все устроились, Удалов. — Завтракать будете?

— Нет, спасибо, — отказался космонавт. — Это в каком секторе?

— Сами понимаете, — объяснил Удалов, — у вас свой счет на сектора, у нас — свой.

Тем временем Грубин принес бутылку кефира, налил себе и космонавту. Удалов отказался, потому что завтракал. Космонавт принялся к кефиру и сообщил, что слишком кисло, а у него желудок слабый.

— А вы откуда будете? — спросил Удалов.

— С Вапраксилы, — ответил космонавт.

Но это тоже ничего не сказало Удалову. Потому что Ваксисила свободно могла именоваться альфой Птолемея или бетой Центавра.

— И чего пожаловали? Экспедиция?

— Нет, — сказал космонавт, которого звали Вусцем, — нечаянно я к вам попал. Сломалось у меня что-то. Или в приборах, или в двигателе. Вообще-то я летел к моей тетке на Крупису, а вылезая — оказывается, не Круписа.

— Нет, у нас не Круписа. — сказал Удалов.

— Хотя погоди, — перебил его Грубин. — А не исключено, что они Землю Круписой называют.

— Нет, — возразил Вусц, — на Круписе я бывал неоднократно. Там ничего похожего и совершенно иное население. Не говоря уже о климате.

— Да, неприятная история, — согласился Удалов.

Тут в дверь постучали.

— Кто там? — спросил Грубин.

— Это я, Ложкин, — ответили за дверью. — Выходи скорей. У нас на дворе пустой космический корабль стоит. Может, его обитатели уже разбежались по квартирам с целью грабежа.

— Заходи, Ложкин, — пригласил Грубин. — И будь спокоен.

Ложкин зашел, увидел космонавта и смутился. По суетности своего характера он нечаянно оклеветал гостя.

— Мне очень обидно, — заметил Вусц. — Неужели подобные подозрения свойственны населению Земли? Должен отметить, что это говорит о низкой цивилизованности местного населения.

— Да я же не хотел. Но поймите, выхожу на двор, стоит корабль, незапертый, может, кто из мальчишек заберется.

— Да, — вздохнул космонавт. — Грустно попасть в отсталое общество и подвергнуться подозрениям. Было бы время, многому бы вас научил и просветил.

— Мы никогда не отказываемся от уроков, — сказал Удалов.

— Так что же теперь делать? — спросил Грубин.

— Делать? — Вусц поглядел в окно. Дождь перестал, выглянуло блеклое осеннее солнце. — Есть ли среди вас кто-нибудь, кто разбирается в гравитационных моторах?

— Вообще-то я техникой интересуюсь, — сказал Грубин. — Но с гравитационными двигателями дела не имел.

— Жаль, — огорчился Вусц. — У нас на каждом углу станции обслуживания. И миллионы, может быть, даже десятки миллионов механиков отлично разбираются в гравитационных двигателях.

— Ну, это понятно. — Ложкин хотел загладить свою вину. — При вашей цивилизации это неудивительно.

— Что ж, — сказал Вусц, — пойдём поглядим, что там.

Они с Грубиным пошли к кораблю. Грубин захватил с собой отвертку и плоскогубцы. Ложкин с Удаловым последовали за ними.

— Больших успехов вы добились в науке? — спросил Удалов по пути.

— Громадных, — ответил космонавт. — По сравнению с вами — даже поразительных.

— Рассказали бы, — попросил Удалов. — Мы соберем общественность, многие придут. А вы расскажете.

— Ну что ж, может быть, и выберу минутку, — сказал Вусц.

Космонавт жестом пригласил Грубина в корабль. Грубин с трудом пролез в люк. Подошвы его ботинок скрылись внутри, потом вновь показалось лицо.

— Тут мне, простите, без вас не разобраться. Где, к примеру, свет зажигается?

Вусц глубоко вздохнул и развел ручонками, словно хотел сказать присутствующим: «Какая темнота! Разве можно доверяться вашим механикам, если они даже не умеют зажигать свет!» Присутствующим стало неловко, и Удалов сказал укоризненно:

— Ну, Саша, чего же ты!

— Выключатель справа в каюте, — сообщил космонавт.

Когда Грубин снова исчез внутри, космонавт сказал:

— Кстати, у нас механики производят починку в отсутствие заказчика. Они пользуются телепатией. Заглянет механик в душу, узнает, на что вы жалуетесь, и тут же принимается за дело. Пять минут, и любая неисправность ликвидирована.

— Да, — согласился Удалов, — у нас до этого еще далеко.

— Этот метод, — продолжал Вусц, — распространяется и на медицину.

— В отсутствие? — спросил Ложкин.

— Нет, с помощью телепатии, — ответил космонавт и сокрушенно покачал головой.

«Да, — подумал Удалов, — трудно ему у нас, когда такой удручающий разрыв в уровне цивилизаций».

В люке снова показалась голова Грубина.

— Послушайте, — начал он, — а в чем у вас поломка? Может, покажете? Я, честно говоря, так и не разобрался, где тут двигатель, а где кухня.

— На меня не рассчитывайте, — отрезал космонавт. — Я вам, простите, не механик. Если бы у нас каждый занимался не своим делом, мы никогда бы не достигли таких великих успехов.

— Ну и я тогда не буду чинить, — сказал Грубин.

Он уже наполовину вылез из люка, и Ложкин с Удаловым начали запихивать его обратно, чтобы занимался делом.

— Но что я могу поделаться? — возражал Грубин. — Они на сто лет нас обогнали, а у меня нет специального образования. К тому же там на всех приборах пломбы висят.

— Вы чего ж нам про пломбы не сказали? — обернулся Удалов к Вусцу.

— Откуда я знаю, есть там пломбы или нет! — возмутился тот. — Я лечу на Крупису, случается поломка не по моей вине, и я оказываюсь на дикой, отсталой планете, в окружении грубых аборигенов, меня никто не понимает, мне никто не хочет помочь.

— Не волнуйтесь, — успокаивал его Удалов. — Мы понимаем ваше состояние. Я сейчас схожу на автобазу, там есть мастер Мишутин, золотые руки.

— Так зовите его! Меня ждут дома!

Удалов, понимая вину человечества перед случайным гостем, поспешил за два квартала за Флором Мишутинным и вскоре возвратился с ним. К тому времени уже все обитатели дома шестнадцать вышли во двор, познакомились с новым пришельцем, а Коля Гаврилов даже угостил его яблоком.

Флор Мишутин был человек серьезный, он посмотрел на космический корабль и спросил:

— Какой принцип полета?

— Вроде бы на легких гравитонах, — ответил Вусц. — Хотя я не уверен. Но в школе мы проходили, что на легких гравитонах. Если бы на тяжелых, то другая форма корпуса.

— Ага, — кивнул Мишутин. — А тип двигателя вы в школе проходили?

— Ни в коем случае. Я специализировался в географии и счетоводстве.

— Мало от тебя проку, — констатировал Флор Мишутин.

— Вы не имеете права так говорить, — сказал космонавт. — Вы еще не доросли до критики вышестоящей цивилизации.

— Это точно, — кивнул Флор Мишутин и полез в люк.

Он долго не возвращался, так что все ушли в комнату к Грубину, чтобы послушать пришельца. Правда, тот сначала отнекивался, говорил, что времени у него в обрез, но потом согласился.

— Расскажите нам, дорогой гость, — обратился к нему Удалов, — о своем просвещенном мире. Приобщите нас, так сказать, к тайнам будущего.

Гость вытащил носовой платочек, высморкался и проговорил:

— Наш мир далеко обогнал вас в своем развитии.

Об этом все уже знали. Стали ждать, что еще им скажут.

— Мы достигли полного изобилия и развития техники. Например, я работаю в отдельном кабинете и только нажимаю на кнопки, а порой передаю результаты своих трудов мысленно на специальную машину, которая потом все сводит воедино и кладет на стол руководителю нашего учреждения.

— Вот это здорово! — сказал Удалов, чтобы подбодрить Вусца.

— Это обыкновенно, — поправил его Вусц. — Я удивляюсь, что может быть иначе. На работу и с работы я приезжаю мгновенно. Вхожу в будку около моего дома, нажимаю на кнопку и тут же оказываюсь в такой же будке, только у дверей учреждения.

— А как же эта будка работает? — спросил Грубин.

— Не интересовался, — ответил Вусц. — Дома у нас строят за одну ночь. Вечером очищают площадку, а утром уже дом готов, вплоть до тридцатого этажа.

— Замечательно! — воскликнул Ложкин. — Как же это делается?

— Об этом лучше спросите у строителей. Обеденный перерыв я использую для просмотра новых кинофильмов, которые я выбираю по списку, когда сижу за обеденным столом. А обед я выбираю, нажимая кнопки на столе.

— Как же это делается? — поинтересовался Удалов, который ненавидел очереди в столовой.

— Не знаю, — сказал Вусц. — Это не важно. Важен результат. Когда мне нужно отправиться на соседнюю планету, я вызываю космический корабль, и его присылают к моему дому. Я нажимаю кнопку с названием планеты и потом смотрю кино.

— Эх! — произнес от двери Флор Мишутин, который незаметно вошел и стоял, вытирая руки ветошью. — Если бы ты еще интересовался, что там внутри двигателя, цены бы тебе не было.

— А что случилось? — вскинулся пришелец.

— Течь в гравитонном баке. Горючее кончилось. И вот эта деталь, видишь, треснула. Для чего она — не усек.

Флор вытащил из кармана треснувший посередине шарик размером с грецкий орех.

— Для чего это? В школе не проходили?

— Не издевайтесь надо мной, — возмутился Вусц. — У нас высокоразвитое общество и каждый занимается своим делом. Я чиновник. Другой кто-нибудь — техник, еще кто-то — строитель. Это же естественно. То, что произвожу я, потребляют другие. То, что производят другие, потребляю я.

Флор сунул шарик в карман и сказал:

— Пойду еще погляжу.

Помолчали. Удалов испытывал жалость к пришельцу, оторвавшемуся от привычной обстановки. Но старик Ложкин, который затаил некоторую обиду, заметил не без ехидства:

— Не повезло нам с гостем. Надо же, попался такой, который ничего не знает.

— Это не так! — ответил Вусц. — Я отлично знаю, какие кнопки когда нажимать.

— Вот именно. — Ложкин ухмыльнулся.

— А ведь зря к человеку пристал, — защитил гостя Удалов. — Представь себя на его месте.

— Даже и не буду пытаться, — ответил Ложкин. — До такого контраста между развитой цивилизацией и темным ее представителем я бы никогда не упал. Мы-то, чудаки, сбежались: космонавт прилетел с отдаленной планеты, сейчас нас просветит.

— Это только в фантастических рассказах так бывает, — сказал Грубин. — Там всегда пришельцы прилетают и сразу нас учат.

— Пришелец пришельцу рознь! — не согласился Ложкин.

— А ведь проще простого, — нашелся Удалов, глядя на опечаленного Вусца, который скорчился на стуле, поджал ножки и являл собой прискорбное зрелище — будто ребенок, потерявший маму в Центральном универмаге города Москвы. — Я тебе, Ложкин, сейчас в два счета докажу твою неправоту. Хочешь?

— Докажи.

— Тогда представь себе, что я — царь Иван Грозный.

— Еще чего не хватало!

— А ты представь, не сопротивляйся. А Грубин, допустим, его друг — Малюта Скуратов.

— И что?

— А ты — Николай Ложкин, который сел в машину «жигули» и по непредвиденному стечению обстоятельств сбился с пути и вместо Вологды попал к Ивану Грозному, в его загородный дворец.

— Так нет у меня «жигулей», ты же знаешь! — сопротивлялся Ложкин. — Зачем такие передержки?

— Это мысленный эксперимент, — настаивал Удалов. — Неужели у тебя вовсе нет воображения?

— Ну ладно, — сдался Ложкин. — А дальше что?

— А дальше я тебя попрошу рассказать, какие у вас в двадцатом веке технические достижения. А ну-ка, расскажи.

— О чем?

— Ну, хотя бы о том, как мне, Ивану Грозному, построить такую же карету, как у тебя.

— «Жигули», что ли?

— Ну, хотя бы что-нибудь попроще. Мотоцикл.

— Это просто. Вот перед тобой машина, скопируй и поезжай.

— А что копировать-то? Я принципа не понимаю.

— Сперва нужен бензин, — ответил Ложкин. Он хотел доказать друзьям, что пришелец Вусц — недоразумение, и потому старался все объяснить доступно. — Ты заливаешь бензин в бак.

— Погоди. — Корнелий Иванович «Грозный» погладил несуществующую бороду. — А что такое бензин?

— Бензин?.. Нефть, знаешь?

— Знаю.

— Очисти ее.

— От чего?

— Как от чего? От мазута.

— Не понимаю! Щеткой, что ли, мне ее чистить?

— Для этого специальная промышленность есть. — Тут Ложкин осекся.

— А ты продолжай, — улыбнулся «царь». — Расскажи мне об этой промышленности. И заодно шинную индустрию опиши.

— Ну ладно, — решил тогда Ложкин, который не любил сдаваться на милость царей. — Я тебе лучше паровоз объясню.

— Ну как? — спросил Удалов у «Малюты Скуратова». — Послушаем про паровоз?

— Давай, — согласился придворный фаворит. — Только если не объяснит, придется его казнить.

— Паровоз движется по принципу сжимания пара, — сообщил Ложкин. — Там поршень ходит, и оттого крутятся колеса.

— Ах, как интересно! — сказал «царь». — И где же поршень ходит?

— Как где? В котле, разумеется.

— Слушай, — предложил «Малюта Скуратов», — может, его сразу казнить? А то время зря тратим.

Ложкин молчал. Вошел Мишутин.

— Не пойдет, — сказал он. — Точно тебе говорю, не пойдет твоя машина. Вызывай аварийку.

— Не может быть! — воскликнул космический гость. — Не губите меня! Может быть, вы пригласите специалистов из вашей столицы?

— Нет, — сказал Мишутин уверенно. — У нас гравитонов не производят. Это точно.

Ложкин проговорил:

— В паровозе два поршня. Пар на них по очереди давит.

— Мы тебя уже казнили, — объяснил ему Грубин. — Так что не беспокойся, не будет у Ивана Грозного своего паровоза.

Пришелец заплакал, не мог смириться с тем, что превратился в Робинзона Крузо, окруженного Пятницами.

Пошел мокрый снег и быстро покрыл густым слоем розовый космический корабль.

С тех пор прошло уже четыре месяца.

Пришелец Вусц, пока суд да дело, устроился счетоводом к Удалову в контору, освоил русский язык, с обязанностями справляется сносно, правда, звезд с неба не хватает. Хотел было он, по наущению Грубина, уехать в Вологду, поступить там в цирк лилипутом, но потом передумал: боязно отрываться от корабля — вдруг его найдут, прилетят за ним.

А корабль схож с громадным сугробом, даже со снежной горой. Дети катаются с него на санках.

Весной, если ничего до тех пор не случится, должен приехать из Архангельска Камаринский, большой друг Флора Мишутина, знаменитый механик. Если уж он не поможет, никто не поможет.

ГРАДУСНИК ЧУВСТВ

Ни биография, ни анкетные данные Эммы Проскуряковой нас не интересуют. Важно лишь одно — эта стройная зеленоглазая девушка отличается крайней замкнутостью. Посудите сами: четыре раза Эмма ходила в кино с Михаилом Стендалем, сотрудником городской газеты, два раза была с ним в кафе, провела вечер на скамейке в парке, но ни взглядом, ни словом не раскрыла своего к Стендалю отношения.

А Стендаль кипел. От овладевшего им чувства и от незнания, разделяет ли это чувство прекрасная Эмма.

Наконец, провожая Эмму из кино, он осмелился спросить:

— Эмма, вот мы гуляем, а скрывается что-то за этим?

— А что? — спросила Эмма.

— Может, я неточно выразился, но, с другой стороны, я вчера ночью написал стихотворение.

— Вы мне его уже прочли, — напомнила загадочная Эмма. — Я с интересом выслушаю любое ваше новое произведение.

— Эх! — сказал тогда Миша Стендаль.

И до калитки, за которой обычно скрывалась Эмма, они прошли в полном молчании.

На следующий день Миша Стендаль был у профессора Минца, знаменитого ученого, временно живущего в Великом Гусляре. Профессор Минц принял его в своей небольшой комнате и на вопрос Миши, как дела на птицеферме, ответил:

— Дорогой юноша, вы задели оборванную струну моей души.

Профессор Минц порой любил выражаться изысканно. Он погладил себя по сверкающей лысине и указал на клетку, в которой скучало странное существо с клювом.

Стендаль пригляделся к существу. Оно было похоже на барана и на курицу. Точнее, на барана размером с курицу или на курицу, покрытую бараньей шерстью.

— Я рассчитываю на статью, — сказал Стендаль.

— О чем писать? — вздохнул ученый.

— Начать с того, как вы задумались.

— Я задумался над тем, что картофель мы научились чистить машинами, а вот птиц приходится ощипывать руками. Это непроизводительно.

— И вы решили...

— И я решил вывести обнаженную курицу. Что нетрудно при моем опыте. И я ее вывел. Но голые цыплята простужались. Мы изобрели для них попонки, но цыплята росли, а менять попонки по росту непроизводительно. Проще ощипывать птицу.

— И тогда вы...

— Тогда мы переслали яйца обнаженных кур и всю документацию нашим индийским и кубинским коллегам, для которых проблемы климата уже решены самой природой, и стали думать дальше.

И я вывел породу кур, покрытых бараньей шерстью, кур, которых не нужно резать, побрил — и снова выпускай пастись. Притом новая порода, назовем их «куровцы», в отличие от овец, несет яйца.

— Но теперь вы...

— Да, теперь я неудовлетворен. Оказалось, что куровец трудно стричь по причине их небольшого роста и подвижности. Ощипывать кур было легче.

— Но неужели сам факт замечательного эксперимента.

— Сам факт бессмыслен, если он не приносит пользы человечеству, — отрезал профессор. — Кроме того, я обнаружил, что у кур, покрытых шерстью, вырабатывается комплекс неполноценности. Они чураются своих перьевых товарок. И я нашел этому причину.

Профессор Минц сделал шаг к письменному столу, заваленному научными журналами, рукописями и приборами, разгреб завал, вытащил из него градусник, подобный

тем, которыми меряют температуру воды в детских ванночках, и потряс им перед носом Стендаля.

— Принесите мне из коридора вторую клетку. В ней петух, — приказал он журналисту.

Стендаль подчинился. Клетка с петухом была накрыта старой скатертью, и, когда Минц стянул скатерть с клетки, петух встряхнул гребнем, попытался расправить крылья и заклекотал подобно орлу.

— Чудесный экземпляр, — сказал Минц. — Люблю петухов. Глупы, но сколько чувства собственного достоинства!

Он поднес градусник к клетке с курчавой куровцей, которая глядела на петуха, нервно переступая желтыми ногами.

— Что вы видите на шкале?

Столбик ртути полз вверх и остановился примерно на двадцати градусах по Цельсию. О чем Стендаль и сообщил профессору.

— Правильно. А теперь поднесем градусник к петуху.

Столбик обрушился вниз, проскочил нулевую отметку и показал пятнадцать градусов мороза.

— Ясно? — спросил Минц.

— Нет, — признался Стендаль.

— Странно. Вы производите впечатление неглупого молодого человека. Это же не просто термометр, а термометр, измеряющий эмоции. Отношение одного живого существа к другому. Ноль — никакого отношения. Если столбик ртути пошел вверх, значит, отношение положительное. Чем выше он поднимается, тем горячее эмоции. Двадцать градусов по Цельсию — степень положительного отношения куровцы к обыкновенному петуху.

— А наоборот. — догадался Стендаль.

— И наоборот! Петух презирает куровцу. И это факт.

— Невероятно! — воскликнул Стендаль. — Я напишу об этом.

— Ни в коем случае. опыты с куровцами я закрываю. Я не могу вывести расу презираемых отщепенцев — кур, на которых их товарки будут смотреть с презрением, цыплят, которых будут обижать сверстники, петухов, которых не одарит любовью ни одна подруга.

— Я не о том, — сказал Стендаль. — Я о градуснике.

— Ах, оставьте, молодой человек! Я потратил на изготовление термометра полчаса. Это же вспомогательный прибор.

— И все-таки...

— Всё. Наш разговор окончен. С завтрашнего дня выводим длинношерстных коров-мериносок.

Стендаль распрощался и покинул комнату в состоянии преклонения перед концентратом изобретательского гения, обитавшим в тугом теле профессора.

«Да, — рассуждал Стендаль, пересекая двор, — полчаса мышления — и перед нами замечательный прибор. Но изобретателю прибор замечательным не кажется. Ему это уже неинтересно, он пошел дальше. А ведь сколько применений может найтись такому градуснику...» Стендаль остановился посреди двора.

— Да, — произнес он вслух. — Именно так.

И вернулся к профессору.

— Простите, — сказал он от двери, потупив взор, — у меня к вам личная просьба.

— Да? — Профессор заложил пальцем страницу в книге.

— Я, простите, нахожусь в таком положении, когда мне очень важно... Ах нет! Не это...

Стендаль заметил, что рука профессора начала совершать медленное движение к карману замшевого пиджака, где должен был храниться бумажник с деньгами.

— Вы не могли бы одолжить мне на два часа ваш градусник? Я верну вам его в полной сохранности сегодня же.

Стендаль заметил, как на ближайшую к нему стену упал алый отблеск — от его щеки.

— Вы влюблены? — спросил строго профессор.

— В некотором смысле.

— Я, честно говоря, зарекся давать в руки любителей мои изобретения.

— Но мне только узнать... понимаете, вверх или вниз? Только узнать, и всё. Я же не буду воздействовать.

— Эх, молодежь! — сказал укоризненно профессор. — В мое время мы заглядывали друг другу в глаза.

— Но здесь особый случай.

— Все случаи особые. Стандартных не бывает, — заверил профессор. — Иначе бы любовь потеряла романтический ореол. Возьмите термометр, молодой человек. Желаю личного счастья!

Дорогу до редакции Стендаль провел в размышлениях. Градусник оказался столь велик, что употребить его незаметно было невозможно. Жаль, что он не похож на наручные часы. Придется его вынуть в присутствии Эммы. Но под каким предлогом?

— Тебя главный спрашивал, — встретил Стендаля Степан Степанович, редакционный ветеран, пушкинист-любитель. — Велел, как появишься, — к нему. На ковер.

— А что? — Стендаль рухнул на грешную землю и мысленно ушибся: беседы с главным редактором редко проходили безболезненно, Малюжкин полагал, что его газета — центр Вселенной.

— Мы же начинание профессора Минца подхватили, на весь район аванс дали, а ты очерка не несешь.

— Эта тема закрыта, — сказал Стендаль. — Всё. Выводим мохнатых коров.

— С твоим профессором не соскучишься. Только вряд ли Малюжкин тебя поймет. Он уже отрапортовал, сам понимаешь.

Стендаль положил на стол свою потертую папку. Мысли его сразу же покинули редакцию и перенеслись в тот близкий миг, когда он наконец узнает, да или нет... да или нет. А вдруг этот градусник реагирует только на кур?

Стендаль осторожно раскрыл папку, извлек градусник. Сердце колотилось. Руки дрожали. Градусник был теплым и увесистым.

— Ты чего? — спросил Степан Степанович, поднимая голову. — Градусник купил? Детей купать? Да у тебя и детей-то нет.

Стендаль смотрел на шкалу. Ртутный столбик покачался у нуля, пополз наверх и замер в районе семи градусов. Немного. Стендаль полагал, что Степан Степанович ему симпатизирует.

— Нет, — сказал он, стараясь казаться равнодушным. — Новая модель. Мгновенно измеряет температуру, влажность, давление и насыщенность воздуха пылью. Минцу прислали на испытания.

— Ой, Миша, Миша! — вздохнул Степан Степанович. — Взрослый парень, а шутишь над пожилыми.

Он сел обратно, а ртутный столбик пополз вниз.

— Простите, Степаныч! — взмолился Стендаль. — Я не шутил над вами. Вы знаете, как я вас уважаю.

Редакционная секретарша, тайно влюбленная в Стендаля, о чем знала вся газета, заглянула в комнату.

— Миша, — сказала она, — вас главный спрашивает.

Стендаль тут же направился к ней, не спуская глаз со шкалы. По мере приближения к секретарше столбик начал расти. Когда температура поднялась до двадцати пяти, Стендаль спрятал градусник за спину и улыбнулся секретарше.

— Спасибо, — сказал он.

— За что, товарищ Стендаль? — зарделась секретарша.

— Сте-е-енда-а-аль! — донесся отдаленный рык.

Редактор Малюжкин глядел в упор на стоявшего в дверях Стендаля. Взгляд из-под густых черных бровей был ясным и твердым. Малюжкин был красив и величествен, седеющие упругие кудри и глубокие морщины в углах рта придавали ему сходство с каким-то известным киноактером.

— Садись, Михаил, — предложил Малюжкин.

Стендаль положил градусник на колени так, что письменный стол закрывал его от взора главного редактора.

— У профессора Минца был?

— Только что от него, — ответил Стендаль.

— Как новая порода пернатых, то есть, — Малюжкин улыбнулся, — волосатых?

— Профессор отказался от дальнейших опытов.

— Не надо шуток, — возмутился Малюжкин. — Не время. Несколько хозяйств запросы прислали. Есть возможность возглавить движение. Отказываться поздно. Надеюсь, ты так и сказал профессору?

Стендаль покосился на градусник. Под столом было темно, пришлось вытянуть его оттуда. Столбик нервно метался возле нуля.

— А мы, — продолжал задумчиво редактор, — уже шапку придумали: «Золотое руно птицеферм!» Красиво?

— Это, конечно, хорошо, — согласился Стендаль. — Но профессор уже начал выводить длинношерстных коров. И мы можем набрать другую шапку: «Золотое руно скотных дворов!»

— Издеваешься? В тот момент, когда наша газета может прославиться на всю область? Иди и без согласия профес-

сора разводить длинношерстных кур не возвращайся. Если к шести не будет согласия, пеняй на себя.

Стендаль вздрогнул. В шесть у него было свидание с Эммой.

— Товарищ редактор! — взмолился он. — Профессор не согласится. Профессор меня не примет. Профессор занят.

— Ах, всё отговорки! — воскликнул Малюжкин. — Всё отговорки. А в номере должны быть новые данные о курах. Без сомнения.

Стендаль понял, что правдой здесь ничего не добьешься. Главное было — выиграть время.

— Профессор Минц, — сказал Стендаль, — попал под машину. Ничего страшного.

— Как ничего страшного? Гордость науки нашего города — под машиной, а ты считаешь, ничего страшного? Где он? В больнице?

— В городской. Его завтра выпишут. Легкие ушибы.

— Сейчас же звоню туда, — заявил Малюжкин, протягивая руку к телефону.

— Зачем? Он не может разговаривать. У него нервный шок.

— Странно. А ты уверен, что это не шутка?

— Такими вещами не шутят, — укорил Малюжкина Стендаль, проклиная себя за душевную слабость.

Одна ложь всегда тянет за собой другую. И остановиться нельзя. Надо лгать. Пускай завтра на него обрушатся все громы и молнии. Через полчаса он должен стоять у входа в городской парк. А дальше. Ему будет все равно.

— Ты уверен? — настаивал Малюжкин.

— Я знаю это наверняка, — сказал Стендаль мрачно. Собственная ложь была отвратительна, но остановиться он не мог. — Потому что все это произошло на моих глазах. Профессор спас меня.

— Спас тебя?

— Да. Мы стояли с ним на улице. Ребенок выбежал на мостовую, и груженный самосвал... — Стендаль перевел дыхание. Он чувствовал, что излагает воображаемое событие языком газетной заметки, — не успев затормозить, был вынужден выехать на тротуар. На пути грузовика оказался сотрудник городской газеты М. Стендаль. Всего мгновение оставалось до трагедии. Но в этот момент находившийся

рядом известный ученый Л.Х. Минц успел оттолкнуть Стендаля в сторону, получив при этом легкие телесные повреждения. Так и было.

— Не может быть! — Стиль рассказа убедил Малюжкина, что Стендаль говорит правду. — Какой поступок! Но ты уверен, что завтра он вернется к нашим курам?

— Вернется, — сказал Стендаль дрожащим голосом.

— Тогда срочно пиши небольшое сообщение. Назови его «Так поступают настоящие ученые!». Изложи все как было. Ни слова неправды. В завтрашний номер. Ясно?

— Ясно.

Стендаль понял, что ложь засосала его, как бездонное болото. Спасения нет.

Сжимая в потной руке градусник, Стендаль поднялся:

— Я пойду?

— Иди. Одну минутку. Как напишешь, сразу в больницу. Не забывай, кто тебя спас. Вот, возьми пять рублей. На все купишь цветов. Самых свежих. От газеты. От коллектива. Иди.

Стендаль взял свободной рукой деньги.

— А это градусник? — догадался Малюжкин. — Для него? Он просил?

Стендаль кивнул. Говорить он не мог. Он отступил к двери. Спиной. Поэтому не заметил, как дверь отворилась.

Сзади раздался знакомый быстрый голос:

— Извините, что ворвался! Разыскивал вашего молодого сотрудника. Он забыл у меня свою белую кепочку. А я проходил мимо.

Стендаль не мог заставить себя посмотреть в глаза редактору Малюжкину. Он не мог заставить себя обернуться и посмотреть в глаза профессору Минцу. Он смотрел на градусник, направленный шариком ртути в сторону главного редактора газеты.

И в наступившем молчании Стендаль увидел, как столбик ртути стремительно катится вниз. Вот уже тридцать градусов мороза, сорок. Послышался легкий треск. Стекланный столбик не выдержал эмоционального мороза, исходившего от редактора Малюжкина, лопнул, и ртуть серебряными брызгами разлетелась по кабинету.

До назначенного свидания оставалось всего пятнадцать минут.

БЕРЕГИСЬ КОЛДУНА!

В наши дни никто в колдунов не верит. Создается впечатление, что они вымерли даже в литературе. Изредка мелькнет там волшебник. Но волшебник — это не колдун, а куда более воспитанный пришелец с Запада. Пока наши деды не читались в детстве сказок братьев Гримм и Андерсена, они о волшебниках и не подозревали, а теперь вот какой-нибудь гном нам ближе и понятнее, чем простой колдун.

Этим феноменом и объясняется то, что когда колдун вышел из леса и направился к Удалову, тот даже не заподозрил дурного.

Колдун был одет неопрятно и притом претенциозно. На нем были драный тулуп, заячья шапка и хромовые сапожки со шпорами и пряжками, какие бывают на дамских сумочках.

— Ловится? — спросил колдун.

Удалов кинул взгляд на колдуна, затем снова уставился на удочку. Ловилось неплохо, хотя и стояла поздняя осень, с утра примораживало, и опавшие листья похрустывали под ногами, как вафли.

Колдун наклонился над ведром, в котором лежали, порой вздрагивая, подлещики, и сказал:

— Половину отдашь мне.

— Еще чего, — улыбнулся Удалов и подсек.

На этот раз попалась плотвичка. Она прыгала по жухлой траве, стараясь нырнуть обратно в озеро.

— Поделись, — предложил колдун. — Я здесь хозяин. Со мной делиться надо.

— Какой год сюда приезжаю рыбачить, — сказал Удалов, кидая плотвичку в ведро, — хозяев не видал. У нас все равны.

— Я здесь недавно, — сообщил колдун, присаживаясь на корточки и болтая пальцем в ведре. — Пришел из других мест. Мирный я, понимаешь?

Тогда-то Удалов впервые пригляделся к колдуну и остался недоволен его внешним видом.

— Вы что, — спросил он, — на маскарад собрались или из больницы сбежали?

— Как грубо, — вздохнул колдун. — Ниоткуда я не сбежал. Какую половину отдашь? Здесь у тебя шесть подлещиков, три ерша и плотвичка. Как делить?

Удалов понял, что этот человек не шутит. И, как назло, на всем озере ни одного рыбака. Хоть шаром покати. Кричи не кричи, не дозовешься. А до шоссе километра три, и все лесом.

— А вы где живете? — спросил Удалов почти вежливо.

— Под корягой, — сказал колдун. — Холодно будет, чью-нибудь пустую дачу оккупирую. Я без претензий.

— А что, своего дома нету?

Рыбалка была испорчена. Ладно, все равно домой пора. Удалов поднялся, вытащил из воды вторую удочку и начал сматывать рыболовные орудия.

— Дома своего мне не положено, потому что я колдун, вольное существо, — начал было колдун, но, заметив, что Удалов уходит, возмутился: — Ты что, уйти хочешь? Перечить вздумал? А ведь мне никто не перечит. В старые времена от единого моего вида на землю падали, умоляли, чтобы я чего добровольно взял, не губил.

— Колдунов не бывает. Это суеверие.

— Кому и суеверие, а кому и грустная реальность.

— Так чего же вас бояться?

Удочки были смотаны. Удалов попрыгал, чтобы размять ноги. Холодно. Поднимается ветер. Из-за леса ползет туча — то ли дождь будет, то ли снег.

— Ясное дело, почему боялись, — сказал колдун. — Потому что порчу могу навести.

— Это в каком смысле?

Глаза колдуна Удалову не нравились. Наглые глаза, страшноватые.

— В самом прямом, — ответил колдун. — И на тебя порчу могу навести. И на корову твою, и на козу, и на домашнюю птицу.

— Нет у меня скота и домашней птицы, — возразил Удалов, поднимая ведро и забрасывая на плечо удочки. — Откуда им быть, если я живу в городе. Так что прощайте.

Удалов быстро шел по лесной тропинке, но колдун не отставал. Вился, как слепень, исчезал за деревьями, снова возникал на пути и все говорил. В ином случае Удалов поделился бы с человеком рыбой, не жадный, но тут уж дело принципа. Если тебе угрожают, сдаваться нельзя. И так много бездельников развелось.

— Значит, отказываешься? Значит, не уважаешь? — канючил колдун.

— Значит, так.

— Значит, мне надо меры принимать?

— Значит, принимай.

— Так я же на тебя порчу напущу. Последний раз предупреждаю.

— Какую же?

— Чесотку могу. И лихорадку могу.

— Противно слушать. От этого всего лекарства изобретены.

— Ну хоть двух подлещиков дай.

— И не проси.

— Стой! — Колдун забежал вперед и преградил путь. — В последний раз предупредил!

— Не препятствуй. Я из-за тебя на автобус опоздаю, домой поздно приеду, завтра на службе буду невыспавшийся. Понимаешь?

— На службу ходишь? — удивился колдун. — И еще рыбку ловишь?

— А как же? — Удалов отстранил колдуна и проследовал дальше. — Как в жизни без разнообразия? Так и помереть можно. Если бы я только на службу ходил да с женой общался, без всякого хобби, наверное, помер бы с тоски. Человеку в жизни необходимо разнообразие. Без этого он не человек, а существо.

Колдун шел рядом и соглашался. Удалову даже показалось, что колдун сейчас сознается, что и у него есть тайное хобби, к примеру собирание бабочек или жуков. Но вместо этого колдун вдруг захихикал, и было в этом хихиканье что-то тревожное.

— Понял, — сказал колдун. — Смерть тебе пришла, Корнелий Удалов. Знаю я, какую на тебя напустить порчу.

— Говори. — Удалов совсем осмелел.

— Смотри же.

Колдун выхватил клочок из серой бороды, сорвал с дерева желтый лист, подобрал земли комочек, стал все это мять, причитая по-старославянски, и притом приплясывать. Зрелище было неприятным и тягостным, но Удалов ждал, словно не мог оставить в лесу припадочного человека. Но ждать надоело, и Удалов махнул рукой, оставайся, мол, и пошел дальше. Вслед неслись вопли, а потом наступила тишина. Удалов решил было, что колдун отвязался, но тут же сзади раздались частые глухие шаги.

— Всё! — задышал в спину колдун. — Заколдованный ты, товарищ Удалов. Не будет в твоей жизни разнообразия. Такая на тебя напущена порча. Будет твоя жизнь идти по однообразному кругу день за днем, неделя за неделей. И будет она повторяться точь-в-точь. И не вырвешься ты из этого порочного круга до самой смерти и еще будешь меня молить, чтобы выпустил я тебя из страшного плена, но я только захохочу тебе в лицо и спрошу: «А про рыбку помнишь?»

И сгинул колдун в темнеющем воздухе. Словно слился со стволами осин. Только гнетущая влажная тяжесть опустилась на лес. Удалов помотал головой, чтобы отогнать воспоминание о колдуне, и поспешил к автобусной остановке. Там уже, стоя под козырьком и слушая, как стучат по нему мелкие капли дождя, подивился, что колдун откуда-то догадался о его фамилии. Ведь Удалов колдуну, естественно, не представлялся.

Еще в автобусе Удалов о колдуне помнил, а домой пришел — совсем забыл.

Утром Удалова растолкала жена:

— Корнелий, ты до обеда спать намерен?

Потом подошла к кровати сына Максимки и спросила:

— Максим, ты в школу опоздать хочешь?

И тут же: плюх-плюх — на сковородку яйца, жжик-жжик — нож по батону, буль-буль — молоко из бутылки, ууу-ууу-иии — чайник закипел.

Удалов поднялся с трудом, голова тяжелая, вчера перебрал свежего воздуха. С утра сегодня заседание. Опять план горит.

— Максим, — спросил он, — ты скоро из уборной вылезешь?

В автобусе, пока ехал на службу, заметил знакомые лица. В конторе была видимость деловитости. Удалов раскланялся с кем надо, прошел к себе, сел за свой стол и с подозрением оглядел его поверхность, словно там мог таиться скорпион. Скорпиона не было. Удалов вздохнул, и начался рабочий день.

Когда Удалов вернулся домой, на плите кипел суп. Ксения стирала, а Максимка готовил уроки. За окном стояла осенняя мразь, темно, как в омуте. Стол, за которым еще летом играли в домино, поблескивал под фонарем, а с голых кустов на него сыпались ледяные брызги. Осень. Пустое время.

Незаметно прошла неделя. День за днем. В воскресенье Удалов на рыбалку не поехал, какой уж там клев, сходили в гости к Антонине, Ксеньиной родственнице, посидели, посмотрели телевизор, попили чаю, вернулись домой. Утром в понедельник Удалов проснулся от голоса жены:

— Корнелий, ты что, до обеда спать собрался?

Потом жена подошла к кровати Максимки и спросила:

— Максим, ты намерен в школу опоздать?

И тут же: плюх-плюх — о сковородку яйца, жжик-жжик — нож по батону, буль-буль — молоко из бутылки, ууу-ууу-ии — чайник закипел.

Удалов с трудом поднялся, голова тяжелая, а сегодня с утра совещание. А потом дела, дела.

— Максим! — крикнул он. — Ты долго будешь в уборной прохлаждаться?

Как будто перед мысленным слухом Удалова прокрутили магнитофонную пленку. Где он все это слышал?

В конторе суетились, спорили в коридоре. Удалов прошел к себе, сел и с подозрением оглядел поверхность стола, словно там мог таиться скорпион. Скорпиона не было. Удалов вздохнул и принялся готовить бумаги к совещанию.

В воскресенье Удалов хотел было съездить на рыбалку, да погода не позволила, снег с дождем. Так что после обеда он спустился к соседу, побеседовали, посмотрели телевизор.

В понедельник Удалов проснулся от странного ожидания. Лежал с закрытыми глазами и ждал. Дождался:

— Корнелий, ты до обеда спать собираешься?

— Стой! — Удалов вскочил и с размаху босыми пятками в пол. — Кто тебя научил? Других слов не знаешь?

Но жена будто не слышала. Она подошла к кровати сына и сказала:

— Максим, ты намерен в школу сегодня идти?

И тут же: плюх-плюх — о сковородку яйца.

Удалов стал совать ноги в брюки, спешил вырваться из дому. Но не получилось. Поймал себя на нервном возгласе:

— Максим, ты скоро из уборной, — осекся.

Опомнился только на улице. Куда он едет? На службу едет.

Зачем?

А в конторе была суматоха. Готовились к совещанию по итогам месяца. Но стоило Удалову поглядеть на потертую поверхность своего стола, как неведомая сила подхватила его и вынесла вновь на улицу. Почему-то побежал он к рыбному магазину и, отстояв большую очередь, купил щуку, килограмма три весом. Завернул щуку в газету и с этим свертком появился на автобусной остановке.

Сыпал мокрый снежок, таял на земле и корнях деревьев. Лес был молчалив. Внимательно прислушивался к тому, что произойдет.

— Эй, — окликнул Удалов несмело.

Из-за дерева вышел колдун и спросил:

— Щуку принес? В щуке костей много.

— Откуда же в щуке костям быть? — возмутился Удалов. — Это же не лещ.

— Лещ-то лучше, — заметил колдун. Пощупал рукой висящий из газеты щучий хвост. — Мороженая?

— Но свежая, — уточнил Удалов.

— А что, допекло? — Колдун принял щуку, как молодой отец ребенка у роддома.

— Сил больше нет, — признался Удалов, — плюх-плюх, пшик-пшик.

— Быстро, — заметил колдун. — Всего две недели прошло.

— Я больше не могу, — сказал Удалов.

Колдун поглядел на серое небо и произнес задумчиво:

— Что-то я сегодня добрый. А казалось бы, чего тебя жалеть? Ведь заслужил наказание?

— Я вам щуку принес. Три кило двести.

— Ну ладно, поддержи.

Колдун вернул щуку Удалову и принялся совершать руками пасы. На душе у Корнелия было гадко. А вдруг это шутка?

— Всё, — сказал колдун, протягивая руку за рыбой. — Свободен ты, Удалов. Летом будешь мне каждого второго подлещика отдавать.

— Обязательно, — заверил Удалов, понимая уже, что его провели.

Колдун закинул щуку за плечо, как винтовку, и зашагал в кусты.

— Пойдите, — крикнул Удалов вслед. — А если...

Но слова его запутались в мокрых ветвях, и он понял, что в лесу никого нет.

Удалов вяло добрался до автобусной остановки. Он покачивал головой и убеждал себя, что колдун отвратительная личность, шантажист, вымогатель. Пока Удалов добрался до дому, он так измучился и постарел, что какая-то девушка попыталась уступить ему место в автобусе.

В страхе он улегся спать и со страхом ждал утра, во сне ведя бесцельные и озлобленные беседы с колдуном. И чем ближе утро, тем меньше он верил в избавление...

Но обошлось.

На следующее утро Ксения сварила манную кашу, Максимка заболел свинкой и не пошел в школу, а самому Удалову пришлось уехать в командировку в Вологду сроком на десять дней.

СНЫ МАКСИМА УДАЛОВА

Обстановка была на вид непринужденной. Ксения Удалова вязала себе шапку из мохера, Корнелий Иванович с Грубиным смотрели по телевизору хоккейный матч, а Максимка готовил уроки и одним глазом следил за экраном. Но за внешним спокойствием этой картины скрывались бурные страсти. Аутсайдер выигрывал три шайбы у без двух минут чемпиона, а до конца игры оставалось восемь минут. Если так будет продолжаться, то удаловский «Спартак» получает реальные шансы, а грубинские без двух минут чемпионы остаются ни с чем. Удалов ломал пальцы, а Грубин тербил кудри. Друг друга они в этот момент не любили.

— Нет, — сказал Удалов, — так быть не может. Такого счастья не бывает. — И посмотрел на часы.

— Все бывает, — ответил Грубин. — Ксения, ты нам чайку не поставишь? — Грубин старался владеть собой.

— Не бойся, дядя Саша, — сказал Максимка. — Победа будет за чемпионами. Сейчас они пять безответных загонят.

— Уроки делай! — взъелся на сына Удалов. — Не то в другую комнату выгоню.

— Гони не гони, — ответил Максимка, — а дядя Саша будет спать спокойно.

В этот момент чемпионы загнали первую безответную. Удалов встал, подошел к столу, за которым сидел Максимка, и, взяв одной рукой его за ухо, а второй захватив тетрадь и учебник, повел сына вон из комнаты. Максимка не сопротивлялся.

— Что делать, — сказал он, — Джордано Бруно тоже на костре сожгли.

— Начитался, — заметила Ксения. — Теперь отцу грубишь.

В этот момент чемпионы отквитали еще одну шайбу. Удалов забыл о дерзости сына и бросился обратно к телевизору, чтобы своим присутствием как-то остановить неблагоприятное развитие событий. Он с отчаянием глядел на экран и подсказывал хоккеистам правильные действия, а хоккеисты-аутсайдеры его совершенно не слушались, растерялись и начали допускать такие ошибки, что комментатор был вынужден сделать строгий выговор за малодушие.

Матч закончился победой чемпионов с перевесом в две шайбы. Грубин мог торжествовать, но ему хотелось чаю, и он отложил торжество на следующий раз, потому что его друг Корнелий был вне себя от гнева.

Разлив чай по чашкам, Ксения позвала сына:

— Чай будешь пить, горе луковое?

«Горе луковое» несмело возникло в дверях. На лице его блуждала торжествующая ухмылка.

— Иди уж, — сказал отходчивый Корнелий Иванович. — Как ты догадался?

— А я во сне видел, — заявил ребенок, усаживаясь за стол.

— Бывают совпадения, — согласился Грубин.

— А я во сне видела, — сказала Ксения, — словно по нашей улице слон идет.

— Ну и что? — буркнул Удалов.

Он вспомнил, что «Спартак» лишается шансов, и снова помрачнел.

— А то, что картошка сегодня крупная в магазине была. Пять штук на кило. Слоны, а не картошка.

— Так ты во сне именно этот матч видел? — спросил Грубин.

— А какой же? Даже удивился: как во сне, пять шайб за семь минут.

— Врет, — сказал Удалов.

— Я еще не такое могу увидеть, — ответил Максимка. — Я один раз, в том месяце, пятерку себе по контрольной увидел.

— И получил? — спросил Корнелий Иванович. — Что-то я такого праздника не помню.

— А я в тот день мороженым объелся, температура поднялась, и я дома остался. А то бы обязательно получил. Если я что увидел, считай, сделано.

— Ох! — сказал Удалов.

— Корнелий! — остановила его руку Ксения. — А ты, Максим, допил — уходи. Видишь, отец не в духе.

Дня через два Грубин стоял утром во дворе, снимал с веревки свои высохшие холостяцкие вещи, а мимо бежал в школу Максимка Удалов.

— Дядь Саша, — обрадовался он, увидев соседа, — а я сон видел.

— А кто сегодня играет? — не удивился Грубин, который давно уже привык не удивляться необычным вещам и событиям, потому что жизнь в городе Великий Гусляр — самая главная неожиданность, которая может случиться на свете с человеком.

— Нет, не про хоккей, — ответил Максимка, — а про старика Ложкина.

— Так что же сделает старик Ложкин?

— Его в милицию заберут за хулиганство, — сказал Максимка. — Смешно, правда?

— Ох, твое счастье, — заметил Грубин, — что это ты мне рассказал, а не кому еще.

— Что же я, не понимаю, кому рассказывать? Мне тоже своя рубашка ближе к телу.

Максимка иногда бывал не по годам рассудителен.

— И все-таки, — заметил Грубин, — мог бы кого иного выбрать для своих шуток. Старик Ложкин сам кого хочешь в милицию отведет. Он же первый друг закона и порядка.

— Вот и смешно, — сказал Максимка. — Ну ладно, я в школу пошел, у нас сегодня литература первая, а я плохо стихи запоминаю.

Вечером, часов в шесть, старшина милиции Пантелеймонов ввел во двор старика Ложкина. Ложкин стеснялся неожиданной скандальной славы, отворачивался от взглядов и возгласов соседей и делал вид, что ведут вовсе не его, а кого-то другого.

Старшина Пантелеймонов вел за собой ложкинский велосипед с погнутым передним колесом.

— Матрена Тимофеевна! — воскликнул он, становясь посреди двора. — Принимай своего хулигана.

— Что такое, что такое? — Старуха Ложкина высунулась по пояс из окна на втором этаже. — Быть этого не может.

— Ну зачем вы так, — сказал Ложкин милиционеру укоризненно. — Люди же смотрят.

— А это и есть гласность закона, — заявил старшина. — И профилактика.

— Чего он натворил-то? — спросил Корнелий Удалов. — Может, на поруки брать пора?

— Нет, мы его так отпустим, — сказал Пантелеймонов. — Он на козу на велосипеде наехал, травму ей нанес, а потом скрылся с места происшествия. Пришлось чуть ли не городской розыск объявлять, да хорошо, что свидетели нашлись. Теперь будет штраф платить.

— Нечего козам на проезжей части делать, — пробурчал Ложкин.

Но тут выбежала из дому его жена, приняла старика с велосипедом, а старшина Пантелеймонов ушел.

На следующий день Грубин без особого дела ошивался с семи часов во дворе, ждал, когда Удалов-младший пойдет в школу.

— Поджидаешь, дядя Саша? — спросил лукавый мальчуган. — А говорил, что Ложкина арестовать нельзя.

— Оказывается, можно, — признал Грубин. — Так что ты сегодня во сне смотрел?

— Не беспокойся, — успокоил Грубина Максимка. — Тебя не касается.

— Но интересно же с научной точки зрения.

— Какая же может быть научная точка зрения на Ваську Борисова? — удивился Максимка.

— Так что же будет с Васькой Борисовым?

— А ничего, — огрызнулся Максим и пошел к воротам.

— И не мечтай. — Грубин в два шага обогнал молодого человека и вынул из кармана яблоко «джонатан».

Максимка улыбнулся:

— Угостить хотите? Так я уже завтракал.

Он ловко обогнул Грубина и продолжил путь к воротам, но потом сжалился и сказал:

— Кидайте яблоко. Ваську Борисова по английскому вызовут, а он будет стоять и глазами хлопать. Так ему и надо... отличнику.

Грубин довольно долго стоял посреди двора и думал. Он уже почти не сомневался в том, что неизвестный ему Васька Борисов сегодня из школы без двойки не уйдет. Но как

объяснить странное явление природы, проявившее себя в скромном доме шестнадцать по Пушкинской улице? Ведь чудес не бывает, сказки также в большинстве случаев оказываются ложью или имеют под собой естественное основание. А что делать с вещими снами?

Грубин обратил внимание на то, что окно в квартире профессора Льва Христофоровича Минца, временно проживающего в городе Великий Гусляр, распахнуто. Перед окном профессор делал утреннюю зарядку.

— Лев Христофорович, — спросил Грубин, — как бы вы объяснили вещие сны?

— Вещих снов не бывает, — ответил профессор Минц, и тут же голова его исчезла за подоконником, потому что он сделал приседание.

— Теоретически, — сказал Грубин. — Чисто теоретически. Если бы вещие сны были.

— Рассмотрим, — голова профессора возникла вновь, — теоретическое предположение.

Голова исчезла. Грубин ждал.

— Все ясно, — сообщил профессор, закончив упражнение. Он глубоко дышал, разводил руки в стороны. — Я бы — ух — сказал — ух, — что мы имеем дело — ух — с временным сдвигом — ух. Понятно?

— Нет!

— Субъективное время при вещем сне движется быстрее, чем объективное. — Профессор растирал себя махровым полотенцем, и луч весеннего солнца ослепительно отразился от его потной лысины. — Субъект во время вещего сна движется по оси времени поступательно и, естественно, заглядывает в будущее. Затем просыпается и возвращается в обычное состояние. Проще пареной репы. Когда-нибудь напишу об этом статейку. Практического значения не имеет, но парочку интересных уравнений я в этом усматриваю. Спасибо, Саша.

— И никакого практического значения?

— Ровным счетом никакого.

Профессор исчез — ушел готовить себе завтрак, а Грубин чуть нахмурился. Он не стал говорить Льву Христофоровичу о своем открытии — победила свойственная Грубину деликатность. Не хотелось ему раньше времени травмировать ребенка, подвергать его излишнему вниманию науки. Вме-

сто этого Грубин направился к Корнелию Удалову, чтобы поговорить с ним как с отцом феномена.

Отец феномена как раз спускался по лестнице, направляясь в контору. Грубин предложил:

— Я провожу тебя, Корнелий.

Корнелий удивился, но возражать не стал.

Когда друзья вышли на улицу, Грубин спросил:

— Что будем с Максимкой делать?

— Опять чего набедокурил? — Удалов встревожился — неужели с раннего утра неприятности по семейной линии?

— Я о том, что ему снится, — сказал Грубин.

— Как он про хоккей угадал?

— И другое. Я тебе должен глаза открыть. Вчера утром он мне неприятность с Ложкиным предсказал. Включая милиционера.

Друзьям бы обернуться, посмотреть, не идет ли кто сзади. Ведь беседа не предназначалась для чужих ушей.

Но они были так увлечены, что не заметили старуху Ложкину, которая все услышала и примчалась домой в заметном озлоблении.

— Николай, — заявила она, — все твои вчерашние несчастья были подстроены.

— И без тебя знаю, — сказал Ложкин. — Кто, кроме моих врагов, мог так умело козу на проезжую часть выпустить? Я вот сейчас сижу и думаю: кто? Может, наш бывший старший бухгалтер?

— Нет, не старший бухгалтер, — возразила Ложкина. — А твои дорогие соседи Удаловы.

— Ну чего ты мелешь? Они даже козы не имеют. Не говоря об отсутствии на месте события.

— Нет, не все Удаловы, хотя не исключаю, что все, а Максимка. Хулиган малолетний. Он во сне подсмотрел и повлиял. Понимаешь?

— Нет, — признался Ложкин, — не понимаю. Этого никто в здравом рассудке не поймет.

— Так слушай, я сама только сейчас узнала. Удалов с Грубиным обсуждали. Грубин говорит, что научное событие, а Удалов грозитя — выпорю.

— Ему лучше знать. Продолжай.

— Значит, Максимка во сне подсмотрел, как тебя с милицией и позором домой приведут. Заранее.

— Заранее? И не предупредил? Ну, соседи.

И вечером, дождавшись, когда семья Удаловых собралась вместе, Ложкин, накопивший за день солидный запас гнева, ворвался к ним с официальным заявлением.

— Я все знаю! — вскричал он. — Чему сына учишь?

Удалов сразу почувствовал неладное, вскочил из-за стола и стал приглашать Ложкина к чаю, но тот был неумолим. Чего он хотел, не сразу стало понятно, но, когда Удалов наконец разобрался в сбивчивых речах соседа, он внутренне содрогнулся.

— Нет! — воскликнул он. — Никогда. Не позволю ребенка калечить!

— Тогда я к общественности обращусь, — сказал Ложкин. — Общественность тебе покажет, как ребенка использовать в целях опорочивания честных пенсионеров.

— Послушай, Ложкин. — Удалов попытался вытолкнуть соседа грудью в коридор. — Максимка еще ребенок. Разве можно? А вдруг ему это психическую травму нанесет?

— Не нанесет.

— Вы о чем там? — спросила Ксения.

— Сейчас скажу ей, — прошептал Ложкин. — Тогда не выкрутишься. Соглашайся!

— Нет.

— Пап, — послышался спокойный голос феномена. — Я все слышал.

— А ты, стервец. — И тут Удалов осекся.

Сын Максимка, еще вчера особых надежд не подававший, сегодня приобрел новое качество. И вроде он сын Удалову, и вроде бы уникальное, самостоятельное явление. И уже не потаскаешь его за ухо и не дашь ему подзатыльник — совестно перед мирозданием.

— Попробуем, — сказал Максимка. — Мне не жалко. Только чтобы завтра в школу не ходить.

— Максимушка, голубчик, — засуетился старик Ложкин, — да я тебе сам справку напишу, письмо твоему учителю сделаю.

— Ну, постараюсь, — пообещал Максимка. — Телевизор досмотрю и постараюсь.

Тут Ксения Удалова не выдержала. Вышла к мужчинам в прихожую.

— Что за дела? — спросила.

— Сейчас, кисонька, сейчас, миленькая, — сказал Удалов слишком ласковым голосом. — Расходимся.

— Расходимся, — поддержал его Ложкин. — Сыночка твоего похвалить я приходил. Такой мальчик растет, сердце мое стариковское радуется. Приятно сознавать, что наша смена достойна наших дел и дел наших отцов, включая дедов.

Удалов вошел в комнатку, где стояла кровать сына.

За перегородкой возилась, укладываясь спать, Ксения.

— Не спишь? — спросил он.

— Собираюсь, — ответил Максимка. — Ты мне инструкции повтори.

— Может, не будем?

— Давай, папа. Ты его знаешь. Не отвяжется. Ты не представляешь, сколько он у наших ребят мячей отобрал.

— Ну, значит, постарайся, сынок, думать о том, как придет завтра к нам во двор милиционер и при всем народе реабилитирует старика Ложкина. Скажет, что не виноват он в наезде на козу. Даже думать противно, какими тебе вещами с детства заниматься приходится.

— Ничего, папа, я постараюсь это во сне увидеть, — успокаивал отца мальчик. — Мне уже приходилось. Вот ты, наверное, думаешь, что Васька Борисов просто так пару по английскому схлопотал? Нет, я специально об этом вечером думал. Вот, думаю, неплохо бы Ваське Борисову пару по английскому схлопотать. Очень уж он задается. Ну и что, если отличник, разве задаваться нужно? Ты меня понимаешь?

— Понимаю, сынок.

— Я тут подумал, папа, и решил, что надо мне пользу людям приносить. Ну, старик Ложкин, конечно, исключение, и на козу он без моей помощи наехал. А вот тебе бы я мог помочь.

— Как же ты бы мне помог?

— Еще не придумал. Придумаю — обязательно скажу. Может, ко дню рождения подарок. Ну, чтобы поймал ты щуку в десять килограммов.

— Таких щук в нашем озере давно не осталось. Выловили.

— Я подумаю. Ну, что бы тебе, папа, больше всего хотелось?

— Как что? Ясное дело, квартальный план выполнять.

— Какой это квартальный план?

— Не надо, — прошептал Удалов. — Не думай об этом, сынок.

— Ты не беспокойся, папа. Мне нетрудно. Я эти сны как орехи щелкаю.

Удалов нахмурился. И в самом деле несправедливо, что его родной сын помогает вещими снами довольно склочному старику, который заслуженно должен платить штраф за травмированную козу, а у его отца план горит. Но забота о здоровье сына пересилила.

— Нет, — сказал Удалов. — Ты мне не поможешь. Здесь никто не поможет. У меня дом стоит в лесах, до третьего этажа леса, а на пятый этаж лесов не хватает — лесопилка подвела. Понимаешь? Но ты лучше о козе думай. Чтобы она пришла. То есть не так думай, ты о Ложкине думай, о милиционере Пантелеймонове думай, а о лесах на доме ты не думай и о квартальном плане тоже не заикайся.

Удалов не заметил, что глаза его сына смежились, дыхание стало ровным. Он еще некоторое время бормотал, разрываясь между надеждой и жалостью к ребенку. Потом махнул рукой и ушел к себе.

А утром Удалов проснулся от странного шума за окном. Люди выбегали со двора, бежали по улице, взмахивали руками, куры кудахтали, собаки лаяли, мотоциклы ревели.

— Что случилось? — закричал Удалов из окна. — Может, космический корабль спустился? Или бананы в овощной магазин завезли?

Но никто ему не ответил.

Удалов кинул взгляд на мирно досыпающую семью и метнулся на улицу, за народом.

Человеческий поток нес Удалова через центр города, к району новостроек.

И там центром притяжения гусярцев возвышалось сооружение странного вида. Возвышалось оно точно на месте, где вчера еще находился пятиэтажный кирпичный дом, завершение которого срывалось из-за отсутствия строительных лесов.

Бывший дом являл собой скалу, густо обросшую лесом. Лес был необычный для природных условий города — в нем соседствовали сосны, финиковые пальмы, липы и дубы,

бамбуки и растения вовсе невиданные. Так как деревья росли не только наверху, но и из стен дома, некоторые стволы тянулись параллельно земле, и дом был схож с гигантским ежом.

Но еще удивительнее для зрителей было то, что в густых лесных зарослях на вершине недостроенного дома стояла белая коза и занудно, пронзительно, как испорченная пластинка, повторяла:

— Николай Ложкин невиновен!

ОБИДА

Восьмого числа, вечером, Удалов и Грубин решили пойти к профессору Минцу поговорить о таинственных явлениях. Собирался зайти и старик Ложкин, но запаздывал. Радиоприемник на письменном столе, еле видимый за грудами научных статей и рукописей, наигрывал нежные мелодии Моцарта. Когда Лев Христофорович предложил гостям по второй чашке чая, музыка в приемнике прервалась, и послышался резкий голос, говоривший на непонятном языке.

— Хулиганят, — сказал Корнелий Удалов. — Своей волны им не хватает, лезут на Моцарта с комментариями.

— С комментариями? — спросил профессор Минц, поглаживая лысину. — А вы, Корнелий, понимаете их язык?

— Так, через пень-колоду, — смутился Удалов. — Похоже на венгерский.

— Какие еще есть версии? — спросил Минц, обернувшись к Грубину.

— Я настрою, — предложил Грубин. — Я больше музыку люблю.

— Не надо, — остановил его Минц. — Очень любопытно. Минц задумался. Даже забыл долить друзьям чаю. И не заметил, как вошел Ложкин и громко поздоровался.

Из этого состояния Минц вышел лишь через три минуты.

— Все ясно, — сказал он. — Такого языка на Земле нет. Я мысленно перебрал возможные варианты.

— Но может, не венгерский, — предположил Удалов. — Может, какой-нибудь очень отдаленный, с которым вы, Лев Христофорович, времени не имели ознакомиться?

— Я не знаю многих языков, — возразил Минц. — Но могу читать на любом. Дело в системе, в структуре языка. Достаточно знать элементарный минимум — языков пятнадцать—шестнадцать, которым я располагаю, чтобы дальнейшие действия диктовались законами лингвистики. Вам понятно, коллеги?

— Понятно, — сказал польщенный Удалов. — Так что же это за язык?

— Инопланетный, — просто ответил Минц. — Итак, что будем делать?

— А то делать, что перевести их воззвание и ответить. Это наш гражданский долг.

— Правильно, Корнелий, — поддержал Грубин. — Если вам, Лев Христофорович, понадобится моя помощь, прошу рассчитывать.

— Невозможно. Этот язык нам не расшифровать, потому что у них нет с нами ни одного общего корня и ни одного общего падежа.

— Вот, — вздохнул Ложкин. — Даже способности профессора Минца ограничены. Придется писать в Академию наук, а пока получим ответ, пришельцы могут улететь.

— То есть как так ограничены? — не понял Минц. — Это мои способности ограничены?

— К сожалению, — согласился Ложкин.

— Саша, — сказал Минц, — вы в самом деле не торопитесь?

— Куда мне торопиться, если предстоит эксперимент?

— Тогда, — Минц строго посмотрел на гостей, — прошу всех посторонних очистить помещение. Жду всех по окончании работы.

— В смысле когда? — спросил Удалов, послушно направляясь к двери.

— Мы вас вызовем.

Минц широким жестом стряхнул со стола бумаги, в то время как догадливый Грубин тащил из-под кровати небольшой электронный мозг.

— Вызовите, — согласился Ложкин, — не стесняйтесь. Даже если рано будет.

— Может быть поздно, — сказал Минц, включая портативный магнитофон.

Удалов с Ложкиным постояли немножко в коридоре у дверей Минца, не зная, то ли им обижаться, то ли ждать без обиды.

— Ты не помнишь, на какой волне передача была? — спросил наконец Удалов.

— На тридцать одном метре, — ответил Ложкин. — Сам попробуешь расшифровать?

Удалов только покачал отрицательно головой, пошел к себе, тихонько включил приемник и начал искать передачу на инопланетном языке. Передачу он нашел, правда, не на тридцати одном метре — перепутал, как всегда, самоуверенный Ложкин, — а на шестидесяти. И потом долго сидел Корнелий Иванович, слушая треск и шум в эфире и стараясь по интонациям угадать, как там дела у пришельцев. Жалел он их, сочувствовал и беспокоился. Даже взял приемник с собой в постель, надеясь немного, что во сне сможет овладеть языком методом гипнопедии.

Удалов проснулся от того, что в стекло что-то стукнуло. Может быть, в другой день он бы не обратил внимания на этот стук, но нервы у спящего Удалова были напряжены: ему все время снились пришельцы, протягивающие ему руки за помощью. Удалов осторожно сполз с постели, подбежал к окну. Там, под фонарем, стоял Грубин и махал рукой, вызывая его к себе.

Корнелий взглянул на часы. Половина четвертого. Что ж, немного времени понадобилось его товарищам, чтобы расколоть этот орешек. Стараясь не шуметь, Удалов натянул башмаки, накинул пиджак поверх пижамы и пошел к Минцу. Не так уж важны формальности, когда собираются только мужчины и только единомышленники.

Грубина Удалов нашел в коридоре. Тот стоял перед дверью Ложкина и постукивал в нее костяшками пальцев.

— Я его через окно пытался будить, — сообщил Грубин, — но старик не отзывается. Может, обойдемся без него?

— А что, решили?

— Решили. Уже кое-что понимаем.

— Тогда надо будить. Иначе он нас никогда не простит. Дай-ка я.

Удалов ударил в дверь, но не рассчитал: получилось громче, чем нужно, слышались шаркающие шаги, потом голос ложкинской жены:

— Что? Что случилось? Кто стучит?

— Это я, Удалов. Вашего супруга можно побеспокоить?

— С ума сошли, бродяги проклятые, — зашипела старуха. — Я сейчас вам покажу, как людям ночью покоя не давать.

— Он сам просил, — объяснил Удалов. — Он очень желает присутствовать при открытии.

— Уходите, — сказала Ложкина. — Иначе пожалеете.

— Кто там пришел? — слышался отдаленный голос Ложкина.

— Удалов хулиганит, — откликнулась жена.

— Это с ним бывает, — ответил Ложкин. — Гони его.

— Ну как хотите, — сказал Удалов. — Потом пожалеете.

И они с Грубиным ушли к Минцу.

В кабинете Минца было накурено, гудели многочисленные приборы, слышно было, что из приемника все еще доносятся чуждые слова, но их заглушал другой, механический, переводческий голос, исходивший из приставки. Этот голос говорил по-русски.

— Где Ложкин? — спросил Минц. Он за ночь осунулся, постарел, но улыбался не без гордости. — Где этот скептик?

— Ложкин не хочет просыпаться, — ответил Грубин. — А Удалов сразу пришел.

— В Удалове я не сомневался. Жаль, что не могу разоблачить маловеера. Ну ладно, слушайте. Может представить интерес. Только с самого начала должен предупредить вас, Удалов, чтобы не беспокоились. Никакой аварии нет. Их корабль завис над нашим городом на высоте ста тридцати километров и разослал разведчиков.

— Цели мирные? — поинтересовался Удалов.

— Какие могут быть мирные? — слышался голос от двери. Там стоял сонный, растрепанный, злой Ложкин в халате и шлепанцах.

— Встал все-таки, — ухмыльнулся Удалов.

— Молчи, — сказал Ложкин. — Военная хитрость. Так бы она меня никогда непустила. Я ей сказал, что за милицией побежал, чтобы тебя к порядку привлечь. На такое благородное дело она меня выпустила. Понимаешь?

— Понимаю, что собственную выгоду за счет товарищей достигаешь. Но не обижаюсь, а даже улыбаюсь.

— И правильно, — оценил Грубин. — Главное, что мы в сборе.

— Не отвлекайтесь, — попросил Минц. — Слушайте. Это интересно.

— Разведчик-два, — произнес голос переводческой машины. — Разведчик-два. Почему не отзываетесь?

— Провожу наблюдение. Очень интересное существо. Четыре конечности. Хвост. Покрыто шерстью. Несет в зубах кость. Возможно, разумное.

— Собака, что ли? — предположил Ложкин. — Что же они, разумных от неразумных не отличают?

— Разведчик-два, — откликнулся корабль пришельцев. — Пора знать, что четвероногие не бывают разумными, так как у них нет рук, чтобы заниматься трудом.

— Вот именно, — согласился Ложкин. — Мы это тоже учили.

— Вижу, как четвероногое с костью пошло на сближение с двуногим в костюме и с руками, — слышался голос разведчика-два.

— И чего они вмешиваются? — рассердился Ложкин. — Типичные агрессоры.

— Наблюдают, — ответил Удалов. — Чего бы им не наблюдать?

— Не по-людски, — сказал Ложкин. — Надо было сперва спуститься, поговорить с нами, получить разрешение. Потом бы и наблюдали. Мало ли какие секретные объекты они высмотрят?

— Ну, у нас в Гусяре секретных объектов пока что не было, — усмехнулся Грубин.

— Не исключено, — возразил упрямый пенсионер, — что они есть, но такие секретные, что ты и не подозреваешь.

— Разведчик-три, разведчик-три, — заговорила переводческая машина. — Почему не отвечаешь?

— Заметил странное скопление аборигенов. Стоят в очереди перед хозяйственным магазином. Жду от них разумных поступков.

— Обещали завтра обоим выкинуть, — объяснял Грубин. — Три дня уже люди дежурят.

— Стояние в очереди еще не признак разумности, — заключила переводческая машина. — Поищите что-нибудь более перспективное.

— В этом они правы, — вздохнул профессор.

— Неразумные бы толкались, — сказал Ложкин, — а если в очереди, значит, порядок.

— Только бы они днем очередь за водкой не увидели! — всполошился Удалов.

— Вызывает разведчик-два, — услышали они тут, — срочное сообщение. Двуногое существо бежит за четвероногим. Вот оно догнало его. О, я не переживу этого! Двуногое ударило четвероногое ногой! Четвероногое издает жалобные звуки!

Издали, с улицы, донесся собачий визг. Удалов кинулся к окну. Улица была темна, под отдаленным фонарем мелькнула человеческая тень.

— Ну и что? — воскликнул Ложкин. — Ну шел человек по улице, увидел собаку. Мог же он испугаться? Имел право с испугу ее ногой отогнать? Я спрашиваю, имел ли он право.

Минц поднял руку, стараясь остановить Ложкина.

Голос корабля пришельцев был тверд и категоричен:

— Это важное открытие. Если двунogie бьют четвероногих, следовательно, двунogie неразумны.

— Разумны, но ошибаются! — поправил его Ложкин.

— Говорит разведчик-четыре, — произнесла переводческая машина. — Разрешите вернуться на корабль. Попал в облако дыма, выбрасываемое здешним заводом. Мне плохо... мне плохо.

— Разведчик-четыре, держитесь! Высылаю спасательную команду.

— Ну вот, — вздохнул устало Удалов. — Сколько раз говорили директору фабрики пластиковых игрушек, чтобы установил фильтры.

— Может, это не наша фабрика? — сказал Грубин с надеждой.

— Наша.

И все знали, что наша.

— Надо что-то делать, — решил Удалов. — А то у них останется превратное представление. Фонарик есть?

Минц без слов достал из-под подушки электрический фонарик. Хоть он уже давно жил один, но в детстве мама

не давала ему читать по ночам, и он так привык читать под одеялом с электрическим фонариком, что до старости не смог избавиться от такой привычки.

— Я пойду.

Удалов вышел в коридор и спустился во двор. Никто его не остановил.

Удалов встал посреди двора, направил фонарик в небо и зажег его. Затем стал включать и выключать его. Сначала два раза включил и выключил. Потом еще два раза. А еще подождав, включил и выключил его четыре раза подряд.

— Доказывай не доказывай, — проворчал Ложкин, глядевший на это дело в окно, — все равно одиночными действиями агрессию не остановишь.

— Центр! — раздался голос в переводческой приставке. — Во дворе дома шестнадцать по улице Пушкина наблюдаю двуногую фигуру с электрическим фонариком. Помоему, он пытается доказать мне, что их цивилизация уже достигла умения складывать два и два.

— Вас понял, — послышался ответ. — Вас понял. Разведчик-два, продолжайте наблюдения. Но особенно не переоценивайте своего открытия. Известно несколько видов рыб, которые считают даже до пятнадцати.

— Ну, это им так не пройдет, — возмутился тогда Грубин, выскочил, как есть, через окно во двор, отобрал у Удалова фонарь и начал очень быстро перемещаться по двору, держа фонарь огоньком вверх. Он так быстро бегал, что на фоне черной земли возникли очертания известной теоремы Пифагора.

Когда Грубин утомился от беготни и остановился, в приемнике снова раздалось два голоса:

— Докладывает разведчик-два. Центр, слушай, может быть, мне показалось, но другой абориген бегал по двору того же дома и с помощью фонарика пытался показать мне общее начертание известной теоремы «штаны Приудоникса».

— Пифагоровы, Пифагоровы, — поправил строго Ложкин.

— Прекратите наблюдение за ничтожным объектом, — сказал голос Центра. — Уровень цивилизации измеряется не отдельными попытками научиться считать или даже чи-

тать, а ее общими достижениями. Разведчик-один, сообщите мне, каковы результаты замеров у края их муравьиного скопления.

— Я потрясен, — раздался голос первого разведчика. — Они выбрасывают грязь в водоемы и воздух, которым дышат, причем не только сами дышат, но и заставляют дышать окружающих.

— Слышите, разведчик-два? Они буквально ходят под себя. Вам понятно это грубоватое выражение?

Ложкин протянул руку и хлопнул ладонью по кнопкам. Разговор инопланетных исследователей прервался.

— Хватит, — не выдержал Ложкин. — Это мне противно слушать.

— Погодите.

Минц включил систему вновь.

Вернулись Грубин с Удаловым.

— Как результаты? — спросил Грубин. — Они теорему угадали?

— Они Пифагора Приудониксом зовут, — сообщил Ложкин. — Нечего нам с ними разговаривать.

— Неужели связь налажена? — обрадовался Удалов.

— Боюсь, что наоборот, — сказал Минц. — Они не хотят признавать нас разумными.

— За что же?

— Их не убеждает, что мы знаем теоремы. Они считают, что мы грязно живем.

— Лев Христофорович! — взмолился Удалов. — Нельзя ли машину наоборот переставить? Чтобы мы им сказали.

— Постараюсь. — Профессор начал щелкать кнопками. — Вот, можете, Корнелий Иванович, общаться с братьями по разуму, сколько вам хочется.

Удалов взял микрофон, прокашлялся и начал:

— Вы меня слышите, братья по разуму?

— Кто вышел на связь, кто вышел на связь без разрешения? — рявкнул в ответ Центр.

— К вам обращаются представители земной цивилизации. Цивилизации, которую вы сейчас увидели собственными глазами и величия которой вы не смогли осознать!

— Хорошо излагает, — одобрил Ложкин. — Ты не стесняйся.

— Выйдите из эфира, вы мешаете нормальной работе, — ответил Центр. — Мы не вступаем в переговоры с аборигенами.

— Мы не аборигены, — возразил Удалов. — Мы можем похвастаться большими успехами в науке, сельском хозяйстве, а также в искусстве и литературе.

— Я его взял на луч, — сообщил другой голос, принадлежавший одному из разведчиков. — Это тот самый, который умеет два и два складывать. Я его узнал.

— Правильно, — согласился Удалов. — Я умею не только считать и писать, как вы высказались в своих разговорах. Я умею также многое другое.

— С ума сойти, — возмутился Центр. — Мы теряем время, а он занимает эфир.

— Присмотритесь к нам! — закричал в отчаянии Удалов. — Нам обидно, что вы нас не признаете. Мы достойны дружбы и товарищества.

— Придется улетать, — решил Центр. — Разведчиков прошу вернуться на корабль. Никогда не думал, что аборигены могут быть настолько назойливы и бестактны.

— Так вы не хотите? — угрожающе спросил Ложкин, отобрав у соседа микрофон.

— Мы ничего не хотим, — сказал Центр. — Оставьте нас в покое. Мы прилетаем к планете, открываем ее.

— Не надо нас открывать, — произнес Ложкин. — Мы уже открыты.

— Мы открываем, — настаивал Центр, — разочаровываемся низким уровнем культуры и технологии, узнаем, что вы живете в муравейниках, портите воду и воздух, истребляете других живых существ, делаем вывод, что вам еще надо развиваться миллионы лет, чтобы получить право зваться цивилизацией, и вдруг вы имеете наглость вмешиваться в наши разговоры, в нашу деятельность и начинаете выпрашивать наше внимание... нет... Нет, так не пойдет. Разведчики на борту?

— Погодите! — воскликнул Удалов. — Еще не все потеряно. Мы будем учиться!

— Все по местам! — скомандовал Центр. — Дети, наша школьная экскурсия на дикую планету закончилась раньше, чем мы предполагали. Но главное вы поняли — когда

видите дикаря, старайтесь держаться от него подальше. Дикарь злобен, нахален и навязчив...

Последние слова донеслись уже тихо — понятно было, что корабль пришельцев улетает от Земли в неведомые дали космоса.

— Да... — вздохнул Грубин. — Это были дети.

— От детей разве дождешься чуткости, — сказал Ложкин. — Дети во всем мире нахальные, а если им разрешают еще по космосу шастать, то таких детей лучше и не слушать.

— Разумеется, — согласился Минц, отключая аппаратуру и протирая глаза, — его клонило в сон. — Разумеется, мы можем скептически отнестись к выводам о нашей жизни, которые принадлежат инопланетным школьникам.

— Если бы взрослые, то поняли бы, — проговорил Удалов.

— Если бы это были взрослые, — тихо поправил его Грубин, — они могли бы и не такие выводы сделать. Не в нашу пользу.

— Сколько можно! — возмутился вдруг Ложкин. — Говорю я, говорю везде, что пора заняться очисткой окружающей среды, а то перед космосом стыдно. Ноль внимания! К нам уже космических детей не пускают!

Остальные промолчали.

УПРЯМЫЙ МАРСИЙ

Вступление

Как-то профессор Лев Христофорович Минц зашел к Саше Грубину за солью. Великий ученый, отдыхающий в Гусяре от тревог и стрессов большого города, и талантливый самоучка-изобретатель Грубин были холостяками с несложившейся личной жизнью. Это, а также их преданность Науке, стремление раскрыть тайны Природы сблизило столь непохожих людей. Задушевные беседы, которые они вели в свободные минуты, отличались искренностью и бескорыстием.

Пока Грубин отсыпал в кулечек соль, Минц присел на шатучий стул и прислушался к ровному, заунывному постановиванию сложной конструкции, колеса и колесики которой медленно вертелись в углу комнаты, помогая друг дружке.

— Надо бы смазать, — сказал Минц. — Скрипит твой вечный двигатель.

— Его шум меня успокаивает, — возразил Грубин. — Держите соль.

— Плов собрался сделать, — объяснил Минц. — Как ни странно, я лучший в мире специалист по плову. Я позову тебя, часов в шесть.

— Спасибо, приду, — пообещал Грубин. — Вот вы предупреждали меня, что вечный двигатель бесперспективен, что работать он не будет. А ведь работает. Вторую неделю. Даже без смазки.

— Это ничего не доказывает, коллега, — возразил Минц, проведя ладонью по блестящей лысине. — Есть сведения, что в Аргентине в лаборатории Айя де Торре двигатель кру-

тится уже восемнадцатый год. Из этого следует только, что это двигатель долговременный, но никак не вечный. Может быть, лет через сто он остановится.

— Ста лет достаточно, — заявил Грубин, упрямо склонив лохматую голову. — А к славе я не стремлюсь. Главное — принцип.

— К славе тебя и не подпустят, — сказал Минц. — И правильно сделают. Наука делается на Олимпе. Ею занимаются люди, отмеченные печатью Вечности. Талантливый дилетант только нарушает поступательное движение прогресса. И наука отвергает вечные двигатели, рожденные в частных квартирах. Вечный двигатель должен создаваться в соответствующей лаборатории соответствующего Института проблем и перспектив продленного движения.

— Почему продленного? Ведь это вечный двигатель.

— Всем известно, что вечных двигателей не бывает. Поэтому, если наука когда-нибудь всерьез возьмется за вечные двигатели, придется придумать для него приличное название, не скомпрометированное за последние столетия шарлатанами и самоучками.

— Значит, мое положение безнадежно?

— Да, мой дорогой. У тебя даже нет диплома о высшем образовании. Ты в положении упрямого Марсия.

— Это еще кто такой?

— Сатир. Провинциальный сатир из Фригии, который имел несчастье подобрать свирель, брошенную Афиной. И знаешь почему?

— Откуда мне знать? Я из древних греков только Геркулеса знаю и Прометея.

— Так вот, Марсий отлично играл на свирели и решил соревноваться с Аполлоном. Ну, как если бы ты принес свою машинку на ученый совет Института проблем и перспектив продленного движения.

— Марсий проиграл?

— Жюри единогласно присудило победу действительному члену Олимпа богу Аполлону.

— Ничего страшного, — сказал Грубин. — Главное — участвовать. Победа не так важна.

— Для кого как, — вздохнул профессор, глядя на скрипучий вечный двигатель Грубина. — С Марсия живьем содрали кожу.

— За что? — Грубин буквально пошатнулся от неожиданности. — Ведь Аполлон все равно победил?

— Боюсь, что в этой победе не все было чисто. Да и сам факт соревнования на равных богам не всегда приятен. Сегодня Марсий вылезет, завтра Иванов, послезавтра Грубин. Я пошел, спасибо за соль.

Профессор поднялся и направился к двери.

— У вас тоже были неприятности? — спросил вслед ему Грубин.

— Я не изобретал вечных двигателей, — ответил Лев Христофорович, не оборачиваясь.

Грубин метнулся к двери. Спина профессора, мерно покачиваясь, удалялась к лестнице.

— Лев Христофорович! — закричал Грубин. — Вы не правы! Марсии имеют право на существование. Общественность не даст сдирать шкуры! Мы с вами тоже сделаем свое скромное дело.

Лев Христофорович обернулся, улыбнулся, но ничего не ответил.

— В конце концов, — добавил Грубин, — в Великом Гусяре тоже пульсирует творческая жизнь. И если нам труднее добиться признания, чем в областном центре, это нас только закаляет. Кстати, вы над чем сейчас работаете?

— Мальков развожу, — ответил Минц.

Черная икра

Несмотря на относительно дешевизну продукта, консервативные гусярцы вяло покупали эффектные баночки с изображением осетра и надписью: «Икра осетровая». Острое зрение покупателей не пропускало и вторую, мелкими буквами, надпись: «Синтетическая».

Профессор Лев Христофорович когда-то читал об успешных опытах по получению синтетической черной икры, знал, что по вкусовым качествам она практически не отличается от настоящей, по питательности почти превосходит ее и притом абсолютно безвредна. Но попробовать раньше ему икру не удавалось. Поэтому профессор оказался одним из тех гусярцев, которые соблазнились новым продуктом.

Вечером за чаем Лев Христофорович вскрыл банку, намазал икрой бутерброд, осторожно откусил, прожевал и признал, что икра обладает вкусовыми качествами, очевидно, питательностью и безвредностью. Но чего-то в ней не хватало. Поэтому Минц отложил надкусанный бутерброд и задумался, как бы улучшить ее. Потом решил, что заниматься этим не будет, — наверняка икру создавал целый институт, люди не глупее его. И дошли в своих попытках до разумного предела.

— Нет, — сказал он вслух. — Конкурировать мы не можем. Но!

Тут он поднялся из-за стола, взял пинцетом одну икринку, положил ее на предметное стекло и отнес к микроскопу. Разглядывая икринку, препарируя ее, он продолжал рассуждать вслух — эта привычка выработалась у него за годы личного одиночества.

— Рутинеры, — бормотал он. — Тупиковые мыслители. Икру изобрели. Завтра изобретем куриное яйцо. Что за манера копировать природу и останавливаться на полпути!

На следующий день профессор Минц купил в зоомагазине небольшой аквариум, налил в него воды с добавками некоторых веществ, поставил рядом рефлектор, приспособил над аквариумом радоновую лампу и источник ультрафиолетового излучения, подключил датчики и термометры и перешел к другим делам и заботам.

Через две недели смелая идея профессора дала первые плоды.

Икринки, правда не все, заметно прибавили в росте, и внутри их, сквозь синтетическую пленку, с которой смылась безвредная черная краска, можно было уже угадать скрученных колечком зародышей.

Еще через неделю, когда, разорвав оболочки, махонькие, с сантиметр, стрелки мальков засуетились в аквариуме, сдержанно-радостный профессор отправился к мелкому, почти пересыхающему к осени пруду в сквере за церковью Параскевы Пятницы и выплеснул туда содержимое аквариума.

Стоял светлый ветреный весенний день. Молодые листочки лишь распускались на березках, лягушечья икра виноградными гроздьями покачивалась у берега. Лягушечью икру Минц из пруда выгреб, потом, прижимая аквариум к груди, вышел на дорогу и остановил самосвал.

— Чего? — спросил мрачный шофер, высовываясь из кабины.

— Отлейте бензина, — вежливо сказал профессор. — Немного. Литра два.

— Чего?

Шофер изумленно смотрел сверху на толстого пожилого мужчину в замшевом пиджаке, обтягивающем упругий живот. Мужчина протягивал к кабине пустой аквариум и требовал бензина.

— У меня садик, — сказал он. — Вредители одолели. Травлю. Дайте бензинчику.

Полученный бензин (за бешеные деньги, словно это был не бензин, а духи «Красная Москва») профессор тут же вылил в прудик. Он понимал, что совершает варварский поступок, но значение эксперимента было так велико, что прудику пришлось потерпеть.

Профессор подкармливал синтетических осетрят не только бензином. Как-то местный старожил Удалов встретил Минца на окраине города, где с территории шелкоткацкой фабрики к реке Гусь текла значительная струйка мутной воды. Профессор на глазах Удалова зачерпнул из струйки полное ведро и потащил к городу.

— Вы что, Лев Христофорович! — удивился Удалов. — Это же грязь!

— И замечательно! — ответил, совсем не смутившись, профессор. — Чем хуже, тем лучше.

Вещества, залитые тихими ночами в прудик за церковью профессором Минцем, были многообразны и в основном неприятны на вид, отвратительны запахом. Люди, привыкшие ходить мимо прудика на работу, удивлялись тому, что творится с этим маленьким водоемом, и начали обходить его стороной. Лягушки тоже покинули его.

В один жаркий июньский день, когда отдаленные раскаты надвигающейся грозы покачивали замерший, душистый от сирени воздух, профессор привел к прудику своего друга Сашу Грубина. Профессор нес большой сачок и ведро, Грубин — второе ведро.

Прудик произвел на Грубина жалкое впечатление. Трава по его берегам пожухла, вода имела мутный, бурый вид, и от нее исходило ощущение безжизненности.

— Что-то происходит с природой, — посетовал Саша, ставя ведро на траву. — Экологическое бедствие. И вроде бы промышленности рядом нет, а вот погибает пруд. И запах от него неприятный.

— Вы бы побывали здесь вчера вечером, — сказал, улыбаясь, профессор. — Я сюда вылил вчера литр азотной кислоты, ведро мазута и всыпал мешок асбестовой крошки.

— Зачем? — удивился Грубин. — Ведь вы же сами всегда расстраивались, что природа в опасности.

— Расстраивался — не то слово, — ответил Минц. — Для меня это трагедия.

— Тогда не понимаю.

— Поймете, — пообещал Минц. Он извлек из кармана пакет, от которого исходил отвратительный гнилостный запах. — С большим трудом достал, — сообщил он Грубину. — Не хотели давать.

— Это еще что?

— Ах, пустяки, — сказал Минц и кинул содержимое пакета в прудик.

И в то же мгновение вода в нем вскипела, словно Минц ткнул в нее раскаленным стержнем. Среднего размера рыбыны, само существование которых в таком пруду было немислимым, отчаянно дрались за несъедобную пищу. Грубин отступил на шаг.

— Давайте ведро! — крикнул Минц, подбирая с земли сачок. — Держите крепче.

Он принялся подхватывать рыб сачком и кидать их в ведро. Через три минуты ведра были полны. В них толклись, пуча глаза, молодые осетры.

— Несколько штук оставим здесь, — сказал Минц, когда операция была закончена. — Для контроля и очистки.

Пока друзья шли от прудика к реке Гусь, Лев Христофорович поделился с Грубиным сутью смелого эксперимента.

— Я жевал эту синтетическую черную икру, — рассказывал он, — и думал: до чего стандартно мыслят наши Аполлоны. Есть икра дорогая и вкусная. Они создали икру подешевле и похуже. В результате — никакого прогресса. Прогресс возможен только при парадоксальности, смелости мышления. Что свойственно мне, провинциальному Марсию. Если есть синтетическая осетровая икра, как насчет синтетических осетров?

— Бессмысленно, — сказал Грубин.

— Правильно. Бессмысленно. Если не заглядывать в ведра, которые мы с вами несем. Ладно, подумал я. Может, при моем исключительном таланте я смогу вывести из синтетической икры синтетических рыб. Но зачем?.. И тут я понял — для дела!

— Для какого? Пруды губить?

— Мысль твоя, Грубин, движется правильно, но скудно, — ответил профессор. — Не губить, а спасти! Если я выведу синтетического осетра, то он будет нуждаться именно в синтетической пище. То есть в том, что ни прудам, ни речкам, ни настоящим рыбам не нужно. Основа синтетической икры — отходы нефти. Чего-чего, а этого добра, к сожалению, в наших водоемах уже достаточно. Значит, коллега, если получится синтетический осетр, он будет жрать отходы нефти и прочее безобразие, которые мы в реки спускаем. После этой гениальной догадки все встало на свои места. Осталось подтвердить мое открытие на практике. И все, скажу тебе, подтвердилось! Я не только вывел из икринок мальков, но и вырастил их, они не только с удовольствием жрут мазут и кислоту, но я приучил их к самой отвратительной органике и неорганике, которую можно встретить в водоемах. Да, я погубил временно прудик у церкви. Но через месяц вода в нем станет хрустальной. Как хрустальной станет наша река.

Они вышли на берег. Неподалеку от мебельной фабрики и шелкоткацкого предприятия, от которых к реке тянулись полосы нечистой воды, сливаясь с редкими пятнами радужного цвета, попавшими сюда с автобазы, Грубин, потрясенный гениальностью профессора, снял ботинки, зашел в воду по колени и выпростал ведро с осетрами.

— Эй! — кричали мальчишки с моста. — Рыбаки наоборот! Кто так делает?

Грубин принял из рук Минца второе ведро и также выпустил в воду подрастающих монстров. И видно было, как проголодавшиеся рыбы бросились к мазутным пятнам, поплыли к грязным струйкам.

Когда друзья шли обратно, Грубин спросил:

— А есть-то осетров этих можно?

— Ни в коем случае! — сказал профессор. — Вот когда очистим наши реки, появятся там в изобилии настоящие

осетры, тогда и наедемся с тобой вволю настоящей черной икры.

— Надо бы поделиться опытом, сообщить в Москву.

— Не поверят, — отрезал профессор. — Мне редко верят. Пускай сначала наши осетры себя покажут.

Грубин, как человек куда более практичный, чем профессор, все-таки сходил на следующий день в редакцию газеты «Гуслярское знамя» и побеседовал со своим приятелем Мишей Стендалем. Тот посетил заметно очистившийся за сутки прудик у Параскевы Пятницы, поглядел, как молодые осетры жрут дизельное топливо, которое Грубин капал в воду у берега, пришел в восторг и добился у редактора, пока суд да дело, разрешения опубликовать заметку-предупреждение:

«ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ!

В порядке эксперимента в реку Гусь выпущены специальные устройства для очистки воды от нефтяных и прочих отходов. Этим устройствам в практических целях придан вид осетровых рыб, которые в естественном виде в наших краях не водятся. При попадании подобного устройства в сеть или на удочку просим немедленно отпускать их обратно в воду. Употребление устройств в пищу ведет к тяжелому отравлению. Характерный признак устройств, помимо их внешнего вида, — стойкий кислотно-бензиновый запах».

Когда профессор прочел эту заметку, он сказал только:

— Наивный! Чтобы мой осетр пошел на удочку? Для него червяк — отравка!

Вскоре жители Гусяра привыкли видеть у фабрики или автобазы выросших за лето могучих рыбин. Осетрам, которые остались в прудике, пришлось тоже перекочевать в реку — уж очень накладно стало их кормить. Да и прудик давно стал им тесен.

К осени приехала из области комиссия по проверке эффективности очистки водоемов с помощью осетров. Комиссия была настроена скептически. Минц, ожидавший этого, выпилил из камышины простую свирель и, вызывая недоуменные улыбки коллег, пошел к реке, насвистывая

незатейливую мелодию. Лишь Грубин догадался, что профессор изображает несчастного Марсия.

Река Гусь текла между зелеными берегами, поражая хрустальной чистотой воды. Тому способствовали не только осетры. Уже месяц, как руководители гусярских предприятий, пораженные сказочными результатами эксперимента, перестали сбрасывать в реку нечистую воду и прочие отходы.

Директор автобазы, ранее главный враг чистоты, а ныне почетный председатель общества охраны природы, встретил комиссию у реки. Он на глазах у всех зачерпнул стаканом воды и поднял к солнцу. Искры засверкали в стакане.

— На пять процентов чище, чем в Байкале, — сообщил директор автобазы. — Можете проверить лабораторно.

— Хорошо, — одобрил председатель комиссии. — Отлично. А где же ваши так называемые осетры?

На лице директора отразилась растерянность, но он был правдивым человеком, поэтому честно ответил:

— Осетры вас не дождались. Уплыли.

Профессор Минц грустно засвистел на свирели.

— Значит, раньше были, а теперь уплыли? — спросил председатель комиссии.

— Позавчера последнего видели, — сказал директор автобазы. — Понятное дело.

— Непонятное.

— Им же жрать нечего! Чего им тут делать? Скоро настоящих запустим.

— Так, — подытожил председатель комиссии, глядя в голубую даль. — Были и нет...

— Их надо теперь в Северной Двине искать, — подсказал директор автобазы. — Мы туда уже предупреждение послали, чтобы не вылавливали.

— А с Марсия содрали шкуру, — непонятно для всех, кроме Грубина, сказал профессор Минц.

— Значит, мы ехали, теряли время. — В голосе председателя комиссии послышалась угроза. — И что увидели?

— Результаты успешного эксперимента, — напомнил Минц. — Настолько успешного, что кажется, будто его и не было.

— Но вода-то чистая! — воскликнул директор автобазы.

— За это вам спасибо!

Наступила пауза. Все поняли, что надо прощаться. Что тут докажешь?

И в этот момент послышался приближающийся грохот лодочного мотора. Директор автобазы нахмурился. В Великом Гусляре недавно было принято постановление о недопустимости пользования моторами на чистой реке.

С моторки увидели людей на берегу, и лодка круто завернула к ним. Нос ее уперся в берег.

— Доктора! — закричал с лодки приезжий турист в панаме и джинсах. — Мой друг отравился!

— Чем отравился? — спросил Минц.

— Мы вчера рыбку поймали. С утра поджарили...

— Большую рыбку? — спросил Минц у туриста.

— Да так... небольшую... На удочку.

— Осетра?

— А вы откуда знаете? — Турист вдруг оробел и двинулся к носу лодки, намереваясь, видно, оттолкнуться от берега.

— Длина полтора метра? — спросил сообразительный директор автобазы. — Динамитом глушили?

— Ах, разве дело в частностях! Человеку плохо!

— Чтобы не почувствовать бензино-кислотного запаха, — задумчиво рассуждал Минц, — следовало принять значительное количество алкоголя.

— Да мы немного...

— Так вот, уважаемая комиссия, — сказал тогда директор автобазы. — Я приглашаю вас совершить путешествие к месту стоянки этих браконьеров и ознакомиться на месте с образцом синтетического осетра, который, к сожалению, не успел далеко отплыть от родных мест. По дороге мы захватим доктора и милиционера...

— Там только голова осталась, — в растерянности пролепетал турист. — Мы ее в землю закопали.

— Головы достаточно, — оборвал его директор автобазы. Члены комиссии колебались.

Марсий спокойно играл на свирели.

— Не надо туда всем ехать, — предупредил Саша Грубин. — Не надо.

Он показал пальцем на расплывшееся бензиновое пятно за кормой лодки.

И тут все увидели, как огромная рыба с длинным, чуть курносым рылом, широко раскрывая рот, забирает с воды бензин. Радужное пятно уменьшалось на глазах...

— Ну что? — спросил Грубин, зайдя вечером к профессору. — Не содрали шкуру?

— В следующий раз сдерут, — философски ответил Минц.

Два вида телепортации

Духовой оркестр — слабость Льва Христофоровича Минца. Духовой оркестр в Великом Гуслеяре отличный, он получил диплом на конкурсе в Вологде.

По субботам, когда оркестр выступает на открытой эстраде в парке, профессор Минц откладывает все дела, идет в парк и слушает музыку, которая напоминает ему времена молодости. Порой к нему присоединяется Саша Грубин или старик Ложкин, тоже поклонники солидных вальсов и танго об утомленном солнце.

В ту субботу Минцу с Грубиным не повезло. В городе была небольшая эпидемия гриппа, из-за чего оркестр временно лишился барабанщика и кларнетиста. Этих специалистов пришлось позаимствовать в джазовом ансамбле, игравшем обычно в ресторане «Великий Гуслеяр». Молодые люди, вторгшиеся в оркестр, нарушили консервативную традицию, они спешили, сбивали с толку тубу и литавры, отчего вальс «На сопках Маньчжурии» приобрел оттенок синкопированного легкомыслия.

Разочарованные ценители отошли от эстрады и присели на голубую скамейку неподалеку от пивного ларька. Высокие столики для пивохлёбов, как неуважительно называл их старик Ложкин, отделялись от скамейки кустами сирени.

Минц и Грубин молчали, думали о науке, о смысле жизни и других проблемах, когда за кустами послышались голоса.

Басовитый, значительный голос произнес:

— Ты пей, Тюпкин, не стесняйся. Сегодня у меня большой день.

— А что, Эдуард, мысль есть или удача пришла?

— Мысль.

За кустами помолчали. Видно, тянули пиво.

— И какая? — раздалось через полминуты. Голос у Тюпкина был негромок и деликатен.

— Радикальная, — ответил Эдуард. — Задумал я переправлять материю на расстояние. Скажем, в Саратов.

— Ого, — тихо произнес Грубин.

— Я вас всегда уважал, Эдуард, — сказал Тюпкин, — но такие мысли почти невероятны.

— Нет преград для смелого полета ума, — ответил скромно Эдуард.

— И собираетесь внедрять? — спросил Тюпкин.

— Дай мне месяц, — ответил Эдуард. — Через месяц я эту проблему расколю, как грецкий орех. А пока — никому ни слова. Сам понимаешь, вокруг завистники, недоброжелатели.

— Разумеется, Эдуард, разумеется, — согласился Тюпкин.

Звякнули кружки о столик. Раздались шаги, и уже издали донесся вопрос Тюпкина:

— А как я узнаю об успехе вашей идеи?

— Через месяц, на этом же месте, — ответил Эдуард. — В это же время. И я скажу — удалось или ошибка.

Некоторое время профессор Минц и Грубин сидели в полной растерянности. Первым пришел в себя Грубин.

— Нет, — сказал он. — Для нашего маленького городка напор гениев невероятен. Нарушение статистики. И я его не знаю.

— Я тоже не знаю, — кивнул Минц. — Не слышал раньше такого голоса. Но дело не в напоре гениев. Дело в том, что передача материи на расстояние невозможна.

— Почему? — спросил Грубин.

— Потому что в ином случае я давно бы это изобрел.

Это был аргумент, спорить с которым Грубину было нелегко. Да и не хотел он спорить. Он глубоко уважал профессора Минца как человека и как мыслителя.

— Но если... — начал он неуверенно.

— Если это возможно, то я изобрету. Хотя бы для того, чтобы доказать самому себе, что как профессионал в науке я сильнее любого дилетанта. Я владею методом.

— Но допустим, у него, у Эдуарда, талант?

— Допускаю, — сдержанно сказал профессор и поспешил к дому.

В последующие дни Лев Христофорович буквально пропал. Выбежит утром в магазин за кефиром и на почту, куда на его имя поступали из Москвы редкие приборы и транзисторы, и сразу обратно, в кабинет-лабораторию. Если пройти по коридору, то услышите, как он ворчит, беседует сам с собой и с невидимыми соперниками.

Так прошло двадцать четыре дня. Все жильцы дома шестнадцать по улице Пушкинской давно уже знали о причине затворничества профессора — Грубин рассказал. Все с нетерпением ждали исхода заочной борьбы двух титанов — неведомого Эдуарда и любимого Льва Христофоровича. Несколько раз Грубин с Удаловым ходили к пивному ларьку в парке, проводили там вечера, но никого, схожего с Тюпкиным или Эдуардом, там не встретили. Предположили, что Эдуард тоже не покидает своей лаборатории.

На двадцать пятый день профессор вышел из кабинета, спустился во двор, где его соседи играли в домино в лучах заходящего солнца. Игроки замерли при виде Льва Христофоровича, вглядываясь в его умное усталое лицо.

— Ну и как? — нарушил тишину Удалов.

— Передача предметов на расстояние возможна, — сообщил Минц. — Теоретически возможна.

— А практически?

Профессор вздохнул. Он был самолюбив.

— Еще придется поработать? — спросил Грубин.

— Придется, — признал профессор. — Пошли ко мне.

Непонятного вида установка стояла посреди комнаты. По обе стороны вертикальной стойки, опутанной приборами и начерно прикрепленными печатными схемами, располагались две небольшие платформы.

— Вот, — сказал профессор. — Вот то максимальное расстояние, на которое я могу передать материю. На сегодняшний день.

Он взял со стола бутылку кефира, поставил на одну платформу, включил ток, нажал несколько кнопок. Раздалось низкое жужжание, и бутылка исчезла с платформы, тут же возникнув на другой.

Раздались аплодисменты. Грубин и Удалов горячо поздравляли профессора с принципиальным открытием.

— Сегодня метр, — сказал Удалов. — Завтра — на Луну.

— Конечно, так, — согласился Минц. — Но до Саратова нам далеко. Вы, друзья, не представляете, сколько нужно для этого энергии.

— Значит, и у Эдуарда не получится, — сказал Грубин. — Ведь в данной ситуации вы, Лев Христофорович, как Аполлон.

— А он Марсий? — Лев Христофорович кинул взгляд на пыльную свирель, лежавшую на подоконнике. — Нет, я никогда не буду снимать шкуру с человека, посвятившего себя науке. Даже если он ошибается, даже если он переоценил свои силы. Пускай дерзает и дальше.

— Я попробую? — спросил Удалов.

— Можно, — сказал профессор. — Вот этот рычаг до нулевой отметки, эту клавишу не до конца. Ясно?

Удалов подошел к телепортирующей установке, но не удержался, перевел рычаг за нулевую отметку, а клавишу выжал до отказа.

Бутылка исчезла, но на другую платформочку не вскочила. Вместо этого послышался глухой удар и возмущенный крик со двора.

Там, облитый кефиром, стоял старик Ложкин и был разгневан.

Пришлось просить прощения, а потом разрешить ему телепортировать свои часы.

— Сделаем рычаг побольше, — сказал Удалов, — уже завтра добьемся ста метров.

Он не был удивлен и не чувствовал себя виноватым. Он был участником. А добрый Саша Грубин между тем сбегал за кефиром, чтобы Минцу было что пить утром.

Напряжение росло. Приближался день, когда к пивному ларьку придет соперник. Как у него? Саратов или не Саратов? А может, провал?

С одной стороны, хотелось провала, потому что человек слаб и патриоты из дома шестнадцать хотели приоритета для своего профессора. С другой стороны, врожденное чувство справедливости желало успеха неизвестному самоучке и славы городу в целом.

Ровно через месяц после того, как случайно был подслушан разговор в парке, Удалов, Грубин и Минц пошли туда вечером. Играл духовой оркестр, играл хорошо, солидно, барабан и кларнет вышли с бюллетеня. Вечер был

теплым, славным, за пивом стояла очередь. Соседи подошли к крайнему столику. Возле него нашли небольшого сутулого человечка, который в одиночестве пил пиво.

— Тюпкин? — спросил Удалов.

— Я — Тюпкин, — признался тот испуганно. — Но я ни при чем.

— Эдуард придет?

Тюпкин хлопнул глазами, но ничего не ответил.

— Не беспокойтесь, — сказал Грубин. — Мы к вам претензий не имеем. Нам нужен Эдуард. И не столько он, сколько его открытие.

— Не знаю, — пискнул Тюпкин. — Не в курсе.

— Неправда, — не поверил Удалов. — Вы ждете Эдуарда, потому что он назначил вам здесь свидание по поводу его мысли о передаче материи на расстояние. В частности, в Саратов. А нам любопытно узнать, удалось ли.

И вдруг маленький Тюпкин пригнулся и бросился кустами к эстраде.

Вообще-то не к лицу серьезным людям гоняться по парку за всяким Тюпкиным, но на этот раз речь шла об открытии мирового значения. Поэтому пришлось догонять.

Тюпкина настигли на берегу реки, где он пытался спрятаться под скамейку.

— Зря ты так, — сказал Удалов, извлекая человечка. — Ты сознайся и иди себе на здоровье. Мы зла не имеем.

— Имеете, — возразил Тюпкин, дрожа, словно выкупался в проруби. — Только я ни при чем. Я так с ним разговаривал. Я вообще его почти не знаю.

— Не так, не так. — поморщился Грубин. — Все по порядку.

— По порядку в милиции спрашивайте, — посоветовал Тюпкин. — Взяли его сегодня. Сразу после обеда.

— Как? Такого ученого? — Профессора Минца охватили гнев и жалость к коллеге. — Где его содержат? Это ошибка! Мы сейчас же освободим!

— Не освободить, — возразил Тюпкин. — Его с личным взяли. Он как раз со своего склада материю в Саратов отправлял.

— Со склада. — Удалов нахмурился, потому что начал догадываться о том, что произошла трагикомическая ошибка.

— Откуда же еще, — сказал Тюпкин. — Он складом заведовал, материю воровал и на сторону сбывал. Плохой человек, недостойный, но с размахом.

Когда соседи возвращались к дому, оживленно обсуждая события, Грубин заметил:

— Если с этого Марсия снимут шкуру, я не возражаю. Но свою положительную роль в науке он сыграл.

— Это точно, — согласился Удалов. — Без подсказки Льву Христофоровичу на эксперимент не пойти бы.

— Почему? — вдруг обиделся профессор. — Идея витала в воздухе. Из воздуха я ее изъясил и материализовал. Если бы подсознательно не думал о телепортации, сразу бы понял, что жулики разговаривают.

В этот момент с неба на мостовую упал котенок, мяукнул и бросился бежать.

— Немедленно домой! — крикнул Удалов. — Подросток Гаврилов забрался к вам в кабинет. Если его не остановить, он перетелепортирует все, что есть в комнате!

И соседи побежали домой.

Дар данайца

Часов в пять вечера, в пятницу, в середине сентября, пошел дождь. Похолодало. Удалов возвращался домой с работы и жалел, что не взял зонтика. Но дождь был таким занудным, мелким, осенним, что пережидать его не было никакого смысла — лучше было потерпеть и добежать поскорее до Пушкинской улицы.

Когда Удалов перебежал площадь, то услышал над головой какой-то гул, поднял голову и таким образом стал первым гусярцем, который увидел, как на город опускается Конструкция.

Космического корабля за облаками не было видно. Так и осталось неизвестным, приближался он к Великому Гусляру или обронил Конструкцию из космоса.

Удалов еле успел метнуться в сторону, к зданию музея, а Конструкция тяжело ухнула на асфальт, продавив его. В стороны побежали узкие трещины.

Удалов перевел дух и пригляделся к Конструкции.

Вид ее был неприятен. Под острыми углами из центрального столба вырастали оси и стержни, частично снабженные колесами и шариками, которые, как только Конструкция как следует встала, начали вращаться с различными скоростями. Господствующий цвет Конструкции был черный, кое-где поблескивал металл. Высотой она достигала метров пяти и производила чуть заметный, но неприятный скрежещущий звук.

Удалов, забыв о дожде, раздумывал, чем бы могла оказаться Конструкция и насколько она опасна для населения, но ничего придумать не мог, потому что ничего подобного еще не видел.

Из задумчивости его вывели удивленные голоса горожан, сбегавшихся на площадь. Вскоре народу накопилось немало, и пришедший старшина милиции Перепелкин с помощью пожарных обнес центр площади канатом на столбиках, чтобы никто не приближался к Конструкции до приезда ученых.

Ученые прилетели на вертолетах тем же вечером, а к утру подоспели другие, менее оперативные, на автобусах и служебных машинах. С этого дня площадь кипела толпой специалистов самых различных областей знания, к тому же приходилось как-то защищать Конструкцию от туристов и зевак. Но, несмотря на суровую охрану и принятые меры, к утру третьего дня на металле Конструкции появились две надписи. Одна говорила о личных отношениях какой-то Любы и какого-то Пети, а вторая была еще лаконичнее: «Были: Коля, Ира, Шляпиков из Сызрани». Так как ни одно сверло, ни один бур не смогли оставить на Конструкции ни единой царапины, осталось тайной, каким образом Шляпиков с друзьями и Петя запечатлели себя. Поиски Шляпикова продолжаются.

Пока ученые осматривали, обмеряли и зарисовывали Конструкцию, в доме шестнадцать по Пушкинской улице шли горячие дебаты, зачем и почему из космоса забросили Конструкцию и чем это грозит Земле в целом и Великому Гусяру в частности.

Романтически настроенный Удалов энергично мерил короткими шагами захламленный кабинет профессора Минца и рассуждал:

— Основное чувство в космосе — сотрудничество, дружба. Мне приходилось с некоторыми встречаться, редко кто настроен к нам отрицательно.

— Это еще ничего не значит, — возразил известный скептик старик Ложкин.

— Должна быть цель, — задумчиво произнес профессор Минц, рассматривая фотографию Конструкции.

Наяву ее уже нельзя было увидеть, потому что, спасая от туристов, ученые прикрыли ее брезентовым куполом, который раньше употреблялся для цирка шапито.

— Зачем они бросают на Землю эту отвратительную, на наш непосвященный взгляд, Конструкцию? — продолжал Удалов. — С одной только целью. Приобщить.

— Приобщить? — спросил Грубин. — Если приобщить, то к чему?

— К космическому прогрессу.

— Чепуха, — сказал профессор Минц. — Когда я приобщаю кого-то, я прилагаю к прибору объяснительную записку. На понятном языке. На что нам приобщение, если мы не знаем, к чему нас приобщают?

— Вот! — воскликнул Удалов радостно. — Именно так! Казалось бы, чепуха, а на самом деле все продуманно! Представьте себе, сидят сейчас на своей планете наши продвинутые братья по разуму. И думают: доросла ли Земля до уровня космических цивилизаций? Можно ли принять ее в галактическое содружество? Ну как им решить этот вопрос?

— Приехать и спросить, — сказал Ложкин.

— Тебя спросишь, — возразил Удалов, — а ты необъективный. Всю картину исказишь.

— Я не лжец!

— Ты путаник. Любой из нас путаник. И неосведомленный. Я вот, например, не в курсе последних успехов теоретической механики. Может, только Лев Христофорович все науки знает. Да и то. Попробуй-ка найди объективного.

— Ага, — сказал Минц. — Найти нелегко.

— И вот присылают они нам Конструкцию. Такой мы раньше не видали. И эту Конструкцию нам надо расшифровать и пустить в дело. Не знаю уж, чем она должна заниматься — может, сады сажать, может, землю копать. Следят за нами и думают — справимся или не справимся? Спра-

вимся — получим все блага экономической и научной помощи и прогресса. Не справимся — антракт еще на сто лет.

Все задумались. Идея Удалова звучала соблазнительно. Был в ней смысл. Только упрямый Ложкин возразил:

— Так зачем они к нам ее спустили? Тогда бы в Москву или в Париж. Там специалисты, там общественности больше.

— А вот ты и не прав, Ложкин, — укорил Удалов. — Выбирали они по жребию. Самый обыкновенный город, самых обыкновенных людей. Оттого, что не в Москве, — что изменилось? Ты погляди, вся гостиница забита академиками, по три человека на койке спят.

— Я знаю, — тихо сказал профессор Минц. — Я все понял.

Он поднялся, подошел к окну, взял с подоконника самодельную свирель, сунул ее в верхний карман замшевого пиджака, обвел задумчивым взглядом соседей и разъяснил:

— Конструкцию опустили именно сюда, потому что там знают, что в этом городке живу я. И задача эта — лично для меня. Для скромного Марсия. К сожалению, все сбежавшиеся сюда Аполлоны — бессильны.

С этими словами профессор покинул комнату, а Удалов спросил:

— Кто этот Марсий?

— Бог войны, — ответил Ложкин. — Только он себя переоценивает. Они ведь академики, а он простой профессор.

— Марсий был всего-навсего сатиром и играл на свирели, — сказал Грубин. — Аполлон содрал с него за это шкуру.

— Так плохо? — расстроился Удалов. — Неужели так плохо?

Академики обмерили, освоили, исследовали Конструкцию еще несколько раз и не смогли прийти к единому мнению. Минц с ними почти не общался, хотя со многими учился на одном курсе в университете. Он думал.

Конструкция мирно поскрипывала на площади под брезентовым куполом, старик Ложкин обходил площадь стороной, потому что не верил данайцам, а Лев Христофорович незаметно для окружающих построил двадцать разного размера моделей Конструкции и бессонными ночами вертел их в руках, размышляя, куда бы их можно было определить.

И вот когда через месяц, узнав о Конструкции все, что было возможно, и не сделав никаких практических выводов, кроме того, что Конструкция является предметом неизвестного происхождения и назначения, академики собрались на последнее заседание под куполом шапито, туда вошел профессор Минц с большим чемоданом в руке. Пока академики обменивались заключительными мнениями, он сидел в стороне и крутил в пальцах свирель. Потом попросил слова.

— Уважаемые коллеги, — сказал он. — Отдавая дань вашей эрудиции и упорству, я хочу обратить ваше внимание на методологический просчет, который вы коллективно допустили. Вы априори признали Конструкцию неведомой, загадочной и не подлежащей утилизации. Я же решил, что Конструкция — ни более ни менее как испытание нашему интеллекту, нашей изобретательности, нашему разуму. Раз она сброшена к нам не случайно, следовательно, мы должны выдержать испытание. Вы уклонились от этого. Пришлось всю тяжесть мышления мне взять на себя.

После этого профессор Минц открыл чемодан, а академики сдержанно выразили свое недовольство слишком самонадеянным тоном и манерами своего провинциального коллеги.

Из чемодана Лев Христофорович извлек множество Конструкций, от трех сантиметров до полуметра размером, и разложил их на асфальте рядом с их громадным прототипом.

— Коллеги, — продолжал он, — мне удалось обнаружить, что наши космические испытатели оказались даже хитрее, чем я подозревал с самого начала. Конструкция имеет не одно утилитарное решение, а по крайней мере двадцать.

Профессор поднял самую маленькую модель, ловко вытащил из кармана нитку с иглой, вставил в модель и на глазах изумленных академиков в мгновение ока заштопал с помощью этого устройства разорванный занавес, у которого когда-то выстраивались униформисты.

— Это, — сказал он, — революция в швейном деле. Благодарите не меня. Благодарите наших друзей из космоса.

С этими словами он поднял другую модель.

— Показываю вам, — произнес он, — прогрессивные ножницы для стрижки овец.

Он быстро подошел к одному из академиков, обладавшему буйной шевелюрой, и провел моделью Конструкции над головой коллеги. Коллега оказался наголо обрит, чем весьма возмутился.

— Далее, — продолжил Минц, отбрасывая вторую и берясь за третью модель, — мы видим машинку для прокладки подземных трасс для трубопроводов.

Лев Христофорович опустил модель на пол, нажал на нее, и она тут же вгрызлась в асфальт, пропала с глаз, чтобы через пятнадцать секунд вынырнуть на поверхность в трех метрах от Минца.

— Далее, — сказал Минц, подхватывая четвертую модель.

Академики замолкли перед таким невероятным напором изобретательской мысли. Тишина под куполом стояла гробовая. И все слышали, как сверху приближается утробный рев. Минц замер. Академики вскочили. Старшина милиции Перепелкин вбежал под купол и закричал:

— Космический корабль неизвестной конструкции!

— Все ясно! — Голос Минца перекрыл рев гравитонных двигателей. — Они увидели, как я раскусил эту загадку. Нас примут сейчас в галактическое содружество.

Все высыпали наружу, глядя, как схожий с волчком, ярко расписанный космический корабль осторожно опускается на площадь.

Минц вышел вперед. Никто не посмел остановить его в час галактического торжества. Загадочно улыбаясь, профессор крутил в пальцах простенькую свирель.

Открылся люк. Из корабля вышел инопланетянин, одетый небрежно, притом босой. Он вежливо кивнул собравшимся, огляделся и спросил:

— Где?

— Там, — указал Минц на купол шапито.

— Ах да! — сказал пришелец и совершил короткое движение указательным пальцем, отчего купол мгновенно испарился и возник вновь в сложенном состоянии метрах в ста от Конструкции. — Лишнее это, — продолжал пришелец. — Она не боится дождя и холода. Вечная вещь. Но в любом случае спасибо.

Пришелец наклонил голову, разглядывая Конструкцию. Потом взгляд его упал на профессора Минца, который вы-

тащил из кармана маленькую модель Конструкции, что должна была совершить переворот в швейном деле.

— Ах, молодец! — воскликнул пришелец, улыбаясь. — Похоже, похоже. Копиист?

— Нет, — улыбнулся в ответ Минц. — Своего рода рационализатор.

— Ну-ну, — сказал пришелец. — Я-то думал, что заберу ее у вас. Ошибка вышла, везли на Сперлекиду, а почтари сбросили в другом секторе. Ну, думаю, заберу и поставлю где надо. А вам, оказывается, понравилась. Копии делаете, на площади под брезентом держите. Ну, спасибо!

— Мы же понимаем, — сказал Минц.

— Понимание искусства — великий дар космоса, — согласился пришелец. — Я отдал созданию этой скульптуры два года жизни!

Минц незаметно спрятал в карман маленькую модель Конструкции. Кто-то из академиков хмыкнул. Инопланетный скульптор обвел глазами площадь и сказал:

— Правда, мыслить категориями большого пейзажа вы не научились. Это мы исправим.

Движением пальца он перенес на другой берег реки Гусь церковь Параскевы Пятницы, другим — отодвинул с площади старинное здание музея, третьим убрал гостиный двор. Теперь ничто не мешало гусярцам со всех концов города видеть жуткую черную Конструкцию.

И улетел.

А Конструкция стоит на площади и по сей день. Мало кто любит ее в городе, но неловко как-то выбрасывать космический дар.

Зато профессор Минц выкинул в речку свою самодельную свирель.

ПРОЩАЙ, РЫБАЛКА!

Когда Попси-кон с планеты Палистрата посетил Великий Гусяр, он пользовался бескорыстным гостеприимством Корнелия Удалова. Улетая, Попси-кон пригласил Удалова в гости в удобное для того время. Удобное время случилось следующим летом, и Корнелий Иванович собрался на Палистрату.

Невысокий стройный Попси-кон ждал Удалова на космодроме. Он был несказанно рад другу, обнял и поцеловал в щеки, чему научился на Земле. Беспрестанно болтая, расспрашивая об общих знакомых, о погоде, о жилищном строительстве и видах на урожай в Гусяре, он провел Удалова к своей машине, и они поехали в город.

Удалов с интересом смотрел по сторонам, разглядывая обитателей Палистраты и знакомясь с условиями их жизни.

Машина мягко катила по подметенным улицам столицы, обсаженным невысокими пышными деревьями, мимо скромных изящных вывесок и со вкусом оформленных витрин. Казалось, что никто в этом городе не спешил, люди терпеливо ждали на перекрестках зеленый свет, чтобы пересечь улицу, дети были вымытые и аккуратные.

— Вот и наш дом, — сказал Попси-кон, останавливая машину у одноэтажного особняка, утопавшего в саду. — Здесь всё, Удалов, к твоим услугам. Живи сколько хочешь, развлекайся, телевизор на столе. Но поначалу на улицу без меня не выходи.

— А что, не изжиты случаи хулиганства? — спросил Удалов.

— Изжиты, — ответил Попси-кон. — Хулиганства у нас почти не наблюдается. Живем тихо. Заняты работой и творчеством. Но есть одна опасность для непосвященного.

Договорить Попси-кон не успел, потому что они вошли в гостиную, где поджидали домочадцы, и Удалов начал с ними знакомиться.

Сначала к Удалову подошла маленькая девочка и сказала:

— Здравствуйте. Как долетели, голубчик? Не трясло?

— Спасибо, крошка, — улыбнулся Удалов. — Долетел отлично. А ты уже в школу ходишь?

Он отыскал в кармане конфету «Трюфель» и протянул ребенку.

Девочка хихикнула и взяла конфету.

— Ты мне не писал, что у тебя дочка есть, — упрекнул Удалов хозяина дома.

— Дочка? Нет, — ответил Попси, ласково улыбаясь. — Разреши представить. Это мой папа.

Девочка вежливо поклонилась и, сжимая в ручке конфету, бросилась бегом из комнаты.

Удалов откашлялся, но переварить информацию не успел, потому что к нему подошел, протягивая руку, суровый старец с сизой бородой, заплетенной в косички.

Пожимая старику руку, Удалов услышал слова Попси-кона:

— Моя младшая сестра, Куцилия-коп.

— Здравствуйте, — сказал Удалов, вглядываясь, настоящая борода у младшей сестры или так, украшение.

— А жена твоя... — начал Удалов.

— Вот моя жена, знакомьтесь, — представил Попси-кон, показывая на большую рыжую собаку, которая сидела на стуле.

Собака подняла переднюю лапу, и Удалов вынужден был пожать конечность, но при этом ощутил некоторое раздражение, подумав, что его безжалостно разыгрывают.

— Пойми нас правильно, — попросил Попси-кон, но Удалов перебил его, показывая на белого попугая в клетке:

— А это твой дедушка?

— Нет, — ответил попугай, отодвигая лапкой крючок на дверце. — Меня зовут Клопси-кон, я дядя Попси-кона.

— Ясно, — сказал Удалов, не скрывая сарказма. — Еще родственники есть?

— Есть, — ответила изысканно одетая девушка, выходя из-за портьера. — Можете меня называть просто Кукси.

— Вы его дедушка? — спросил Удалов не без ехидства.

— Нет, — добродушно улыбнулась Кукси, — я племянница Попси.

— Ну хоть здесь все ясно, — обрадовался Удалов.

Он невольно залюбовался девичьей статью и румянцем Кукси.

— Я уже накрыла на стол, — сказала Кукси. — Мойте руки и спешите, а то остынет.

Попси провел Удалова в туалет, и Корнелий быстро привел себя в порядок, лихорадочно раздумывая, обидеться ли ему на Попси-кона за розыгрыш или пошутить в ответ. Так ничего и не придумав, Удалов вышел к столу, где собрались его новые знакомые, а также еще два ребенка, которые назвались Попсиными тетками, и большой рыжий кот, сказавший басом, что он — племянник жены Попси от первого брака.

Кукси заботливо ухаживала за Удаловым, а Попси и его родственники развлекали Удалова разговорами и были столь многоречивы, что Удалову не удавалось самому задать ни одного вопроса. Но атмосфера, царившая за столом, была настолько теплой и дружеской, что Корнелий чувствовал себя как дома. За кофе кот с попугаем спели для Удалова местную народную песню, а девочка-папа сплясала чечетку. И Удалов решил воздержаться от расспросов — мало ли какие у людей бывают обычаи, мало ли кто и как называет своих родственников и домашних животных. Ведь завела же соседка Удалова Гаврилова собаку породы боксер-такса, а называет ее кисочкой.

После обильного обеда Удалова начало клонить в сон, и Попси отвел его в небольшую уютную спальню и оставил одного.

Удалов спал спокойно. Ему снилось, что к нему подходит шкаф и говорит:

— Я твоя жена Ксения, ты не узнаешь меня, козлик?

— Никогда не подозревал, что ты из красного дерева, — отвечал растерянно Удалов.

— Не беспокойся, это только фанеровка, — говорит шкаф.

— А кто же будет по хозяйству? — беспокоится Удалов. — Кто будет обед готовить, за детьми ухаживать?

— Ничего, — отвечает шкаф. — Ты двигайся, заботься, а я постою.

Удалов был готов к дальнейшим чудесам и потому не очень удивился, когда собравшаяся за завтраком семья Попси-кона оказалась иной, чем вчера. Самого Попси-кона Удалов узнал сразу, а вот милая Кукси предстала в образе толстой обезьянки и засмеялась, когда Удалов пытался отогнать животное от стола, чтобы не утащило коржики.

Кто из остальных родственников сменил за ночь обличье, а кто остался в старой шкуре, Удалов выяснить не смог, да и не стал углубляться в расспросы. Захотят — сами скажут.

После завтрака Попси-кон повел Удалова в музей.

— Здесь у нас скучновато, — сказал Попси, когда они шли через тенистый парк. — Население невелико, жизненный уровень высокий, а культура развита слабо. Скучаем.

— Слушай, — не выдержал Удалов, — что это у вас происходит? Сначала девушка, потом обезьяна? Неустойчивость какая-то.

— Да, — согласился Попси-кон, — это у нас от скуки. Кстати, Кукси вроде бы раза в три меня толще. Я, правда, давно ее не видел.

— А где ее естественный вид? В шкафу висит?

— Кто знает.

— И трудно в естественный вид вернуться?

— Ну уж нелегко, — согласился Попси-кон.

— А как же преступность? Ведь раздолье для злоумышленников, если у людей внешность меняется. Скрыться легко.

— Ну, с этим мы справляемся, — возразил Попси-кон. — Проследить всегда можно.

Навстречу им шла группа молодых людей. При виде экзотически одетого и экзотически выглядевшего Удалова молодые люди остановились и, как по команде, вынули из карманов мячики с грецкой орех размером и с улыбками протянули Удалову.

Удалов нерешительно взглянул на Попси-кона.

— У меня ничего в обмен нету, — сказал он.

— И не надо, — ответил Попси-кон и велел молодым людям проходить дальше.

Те спрятали шарики в карманы и послушно удалились.

— Неловко получилось, — огорчился Удалов. — Мы их не обидели?

— Нет. Ты же иностранец, тебе уезжать скоро.

— Это меня не оправдывает, — возразил Удалов. — Надо было значков захватить, сувениров.

На улице возле музея Удалова окликнули.

— Эй, — сказало небольшое развесистое деревцо. — Давай, а?

К Удалову протянулась тонкая ветвь, в которой был зажат шарик.

— Нету, — огорчился Удалов. — Нет у меня никакого обмена.

В музее Удалов получал эстетическое наслаждение, а Попси-кон шел рядом и радовался, что угодил другу. Все шло нормально до тех пор, пока в одном из залов они не столкнулись с экскурсией, которую вела очень крупная полная женщина с гривой рыжих волос.

— Какая красота! — вырвалось у Попси-кона.

— Нравится? — спросил Удалов. — Признаю. Но не в моем вкусе.

— Это моя мечта, — признался Попси-кон.

— Тогда знакомься, — предложил Удалов. — Если жена не возражает.

— Она не возражает, — ответил Попси-кон. — Она сегодня, если не ошибаюсь, ветеран-железнодорожник. А ты не обидишься? — спросил Попси-кон. — Вроде бы по законам гостеприимства...

— Забудь, — успокоил его Удалов. — Гостеприимство не в этом. Главное в человеке — душа, а формальности оставим дипломатам.

Эти слова убедили Попси-кона. Он направился к экскурсоводше, вынимая из кармана шарик.

Экскурсоводша улыбнулась Попси-кону и сказала слушателям:

— Простите, я сейчас к вам вернусь.

«Ой, как у них здесь все просто, — подумал Удалов. — Даже не познакомились толком. И перед его женой неловко...»

Из деликатности Удалов отвернулся и стал смотреть на полотно, изображающее сельскую сцену в момент уборки урожая. Любовался он картиной минуты две, не больше, и вернулся к действительности оттого, что его вежливо тронули за плечо. Рука была мягкой и крупной. Удалов обернулся. Рядом стояла женщина-экскурсовод.

— Пойдем, — сказала она. — Я хочу тебе, Корнелий, показать зал современной скульптуры.

Взгляд Удалова метнулся к группе экскурсантов. Его друг Попси-кон уходил из зала, уводя за собой группу, и даже не обернулся.

Оттолкнув женщину, Удалов метнулся к выходу.

— Попси! — закричал он, нарушая тишину. — Попси, куда ты?

Попси исчез, а внушительная женщина крепко схватила Удалова за рукав.

— Не хватайте, гражданка! — возразил Корнелий. — У меня жена на Земле осталась. Мне это ни к чему.

— Ах, Корнелий, Корнелий, — сказала женщина, не ослабляя хватки, — ты же не возражал.

— Против чего? — удивился Корнелий. — У нас с вами разговора ни о чем не было. Я вас вообще первый раз вижу.

— Нет, — возразила женщина. — погоди, я объясню. Садись.

— А мой Попси тем временем исчезнет? Я в этом городе даже дороги домой не найду.

— Я и есть твой Попси, — прошелестела пышная женщина.

— А там?

— А там — экскурсоводша. И я благодарен тебе, Корнелий, что ты не помешал мне воплотить давнюю мечту — побыть в облике настоящей красавицы...

— Объяснитесь... — Удалову трудно было перейти с этой женщиной на ты, хоть она и претендовала на роль его друга.

— Понимаешь, Корнелий, — сказала женщина, — ты же сам сказал: главное в человеке — душа. Я поменял только телесную оболочку. Мой ум, мои чувства — все сохранилось. Я ощущаю мир как женщина-экскурсовод, я постигаю Вселенную, обогащая себя новыми впечатлениями и открытиями. Но внутри — это все равно я, Попси-кон, твой друг. И если не веришь, я скажу тебе, что живешь ты, Корнелий Иванович Удалов, в городе Великий Гусляр, на Пушкинской улице, в доме номер шестнадцать, где еще недавно я пил чай в обществе твоей жены Ксении и твоего соседа Саши Грубина. Как ты понимаешь, такой информацией на всей нашей Палистрате обладаю лишь я, Попси-кон.

— Да, тут ты меня убедил, — признался Удалов. — Хоть все равно странно. А ты в таком виде замуж можешь выйти?

— Разумеется, могу. Но это случается чрезвычайно редко. Ведь благодаря изобретению нашего великого ученого, покойного Ксикаке-кона, который придумал генератор обмена, — Попси-кон показал Удалову шарик размером с грецкий орех, — меняемся телами мы исключительно для развлечения. С жиру бесимся. Можно сказать, что обмен телами у нас популярное хобби.

— Так, значит, мне предлагали телом поменяться! — воскликнул Удалов. — А я все думал — сувениры, сувениры.

— Но я не хотел вовлекать тебя в наши развлечения, — сказал Попси-кон, поправляя прядь волос, упавшую на лоб. — Тебе возвращаться на Землю, и хотелось вернуть тебя в привычном виде. Разумеется, каждому хочется побывать в шкуре инопланетянина. Но ищи потом Удалова...

— Это правильно, — одобрил Удалов, — что ты меня оградил.

— У нас, бывает, тело уйдет по рукам. Говорят, центр нападения в нашей футбольной сборной в каждом матче другой. Потому с футболом у нас неладно — никакой психологической стабильности. Некоторые тела — большой дефицит. Футболистом, кинозвездой каждый хочет стать. Большие деньги приплачивают...

— А премьер-министром? — спросил Удалов.

— Государственным служащим нельзя. Запрещено.

— И правильно, — одобрил Удалов.

Удалов кинул взгляд на друга, и глаза его уперлись в полную белую дамскую шею. Стало неловко. Удалов потупился.

— А тебе, Корнелий, советую беречься, — сказал Попси-кон. — Повторяю, желающих на тебя много.

— Нет! — произнес Удалов уверенно. — Ни в коем случае.

Но по дороге к дому Удалова начал терзать соблазн. Ведь можно попробовать на минутку, на десять минут — и обратно. Попросить кого-то знакомого, ну хотя бы Попси-кона...

Попросить Попси-кона Удалов не успел, потому что они подошли к дому, а там Попси сразу вызвали к телефону. Удалов направился в гостиную и уселся в кресло. Его пере-

полняли чувства и мысли. Он решил подождать, пока Попси освободится, чтобы попросить его одолжить на минутку тело... с возвратом.

Тут в комнату вошел пожилой горбун в черном смокинге.

— Здравствуйте, Корнелий Иванович, — сказал он.

— Простите, — ответил Удалов, — я не знаю, с кем имею честь.

— А я Пукси, младший сын Попси, — представился горбун, разглаживая усы. — Мне девять лет, уже разрешили меняться.

— Ну и как? — спросил Удалов. — Нравится?

— Очень смешно, — ответил мальчик. — Я хочу в школу таким пойти. Правда, у нас вчера Крауксо-коник пришел в виде балерины — его с урока выгнали. А меня выгонят?

— Не знаю, — засомневался Удалов. — Я бы выгнал.

— А если я приду в образе инопланетянина? — спросил мальчик.

— В каком образе?

— В вашем! У нас вы один такой. Одолжите свое тело?

— Нет, — сказал Удалов, — ты его потерять можешь.

— А если я не буду из дому выходить? — спросил ребенок.

— Нет. — Но в голосе Удалова не было уверенности.

— Может, вам мое тело не нравится? Так я сейчас поменяюсь. У меня друг в соседнем доме живет.

— А у него что? — спросил Удалов, замирая от предчувствия.

Но горбун с резвостью, странной для пожилого человека, обремененного недугом, уже побежал к выходу.

В доме было тихо. Попугай, населенный в этот момент неизвестно кем из домочадцев, мирно дремал на жердочке, на кухне звенели посудой, рядом прожужжала муха, Удалов хотел было ее прихлопнуть, но испугался. А вдруг она — известный здешний скрипач?

Минуты через три в комнату быстро вошла курчавая девочка лет пятнадцати. В руке она держала шарик. Она протянула его Удалову:

— Это вам генератор, я его займы взял. Давайте, быстро меняемся. А то папа придет, он мой поступок не одобрит.

— Это ты, Пукси? — спросил Удалов. — Неловко как-то.

— Да скорей же, скорей, — поморщилась девочка.

— И тут же обратно, — сказал Удалов.

— Ну конечно, попробую и тут же обратно.

Удалов принял шарик, сжал в пальцах. Шарик был тяжелым и прохладным. Девочка вынула из кармашка платя такой же шарик и, протянув руку, коснулась им шарика Удалова. У Корнелия на мгновение помутнело в глазах, он зажмурился, а когда открыл глаза, оказалось, что он стоит не лицом к двери, как только что, а спиной, а перед ним знакомый полный мужчина средних лет, с пшеничными редкими, вьющимися на висках волосами и круглым невыразительным лицом. «Господи, — понял Удалов, замирая от ужаса и восторга, — это же я! Какой прогресс!»

Руку охлаждал шарик.

— Спрячьте, а то потеряете, — сказала ему тело Удалова, в котором скрывался сынишка Попси-кона.

Удалов взглянул на свою ладонь и удивился, увидев, насколько она узка и бледна. Типичная ладошка девочки-подростка. Удалов спрятал шарик в кармашек на юбке — пальцы нашли его привычно. И тут же рука поднялась к виску и обнаружила там густые девичьи кудри.

— Вот это достижение! — восхитился Удалов. Голос его оказался тонким и нежным.

А Пукси заметил голосом Удалова:

— Это самое интересное развлечение на свете. Хотел бы я завтра пойти в школу в таком виде. Может, вам нравится девчонкой быть? Я как из школы вернусь...

— И не мечтай! — воспротивился Удалов тонким девичьим голоском. — Я папе скажу.

В коридоре слышались тяжелые шаги.

— Ой, он идет! — сказал Удалов-Пукси.

Он бросился к раскрытому окну, перемахнул через подоконник и исчез. Удалов-девочка метнулся за ним и только увидел, как его родное тело пробирается сквозь кусты.

— Стой! — закричал он. — Отдай тело!

— Ты кто, девочка? — спросила женщина-экскурсовод.

Удалов обернулся. Горло его свела судорога. Страшно захотелось заплакать. Наверное, обладательница тела была плаксой. Он попытался вспомнить, где у него лежит носовой платок, но рука его коснулась девичьего бедра и в ужасе отдернулась.

— Неужели это ты, Корнелий? — спросил Попси-кон.

— Может быть, — сказал Удалов. — Я не знаю.

— Ты с кем поменялся?

Слезы хлынули из девичьих глаз Корнелия. Он произнес:

— Это твой сын... Он сказал: на минуточку...

— Ну, успокойся. — Толстая женщина обняла девушку за узкие плечики и прижала к себе. — Мы его поймаем, мерзавца!

— А если не пойма-а-а-аем...

Слезы буквально душили Удалова, хлестали из глаз.

— Ты сам виноват, — сказал Попси, — я тебя предупреждал!

— Но я на минутку... Он обеща-а-а-ал...

К этому времени все домочадцы Попси-кона сбежались в гостиную, проклиная неразумного мальчишку и глубоко сочувствуя несчастному гостю. Однако Удалов все никак не мог успокоиться, и тогда толстая обезьяна, в которой неизвестно кто в тот момент располагался, сказала так:

— Дорогой Корнелий Иванович, мы обещаем тебе, что найдем гадкого мальчишку и отнимем у него твое тело. Но я советую тебе использовать обстоятельства, в которых ты оказался.

— В каком смысле? — всхлипнул Удалов.

— Иди гулять, наслаждайся погодой и своей молодостью, нюхай цветы, ощути, насколько острее и тоньше стали твои чувства и органы обоняния. Гуляй, Удалов.

— Правильно, — сказал Попси-кон, — погуляй, друг. Мы виноваты не меньше тебя и не оставим тебя в беде...

— Никакая это не беда! — воскликнул попугай. — Считайте, что Удалов приобщился к нашим играм.

Удалов встал со стула, поправил юбочку и, звонко стуча каблучками, пошел к выходу. «В самом деле, — думал он, — все обойдется — ведь не на помойку мое тело выкинули, ну покажет товарищам и отдаст. А пока. Ну кто еще из моих земляков гулял в девичьем теле?»

В саду Удалов остановился перед цветущим кустом роз и вдруг, глядя на шелковые лепестки, на упругие бутоны, впервые в жизни ощутил нежность аромата и изысканное совершенство цветов. «Господи, — подумал он, — какая красота! Что же делал я все мои сорок лет? Почему этот немислимый рисунок жилок на зеленом листе, почему эта

уверенная завершенность траектории полета пчелы раньше проходили мимо моего внимания? Почему я раньше не понимал прелести живой природы? Вот идет юноша, черные волосы шевелит ветерок, глаза синие, глубокие, с вниманием и интересом замерли на мне, он замедлил шаги, вглядываясь в мое лицо. Я краснею?..»

Удалов резко отвернулся от юноши. Это черт знает до чего можно дойти!

В окно высунулась рыжая голова Попси-кона.

— Удалов! — позвал он. — Мы обзваниваем его друзей. Далеко он уйти не мог. У одного он уже побывал, но отказался поменяться телом. Что? — Попси-кон повернулся к кому-то внутри комнаты и исчез.

Удалов непроизвольно кинул взгляд на черноволосого юношу. Юноша не уходил. Бабочка, элегантно покачиваясь в струях душистого воздуха, опустилась на цветок, и Удалов залюбовался ею.

Толстая обезьяна вспрыгнула на подоконник.

— Беда! — крикнула она. — Только что звонили! Этот негодяй поменялся твоим телом с подругой. Погоня продолжается!

Удалов не ответил.

А не все ли равно, подумал он, в какой оболочке находиться? Жизнь многообразна, и нужно познать ее тайны, пока не стал стариком и не потерял интереса к преобразованиям.

Удалов поправил юбку и медленно, расцветая девичьим стыдливым румянцем, направился к юноше.

— Здравствуй, — сказал он. — Ты здесь живешь?

— Да, — ответил юноша ломким баском.

— Может, в кино пойдём? — спросил Удалов.

— Нет, — ответил юноша. — У меня к тебе другая просьба.

— А как тебя зовут? — спросил Удалов дрогнувшим голосом.

— Погоди. — Юноша увлек Удалова за кусты, чтобы его не увидели из окон.

Удалов послушно пошел за юношей, заранее трепеща от тех слов, которые суждено услышать. И этот внутренний трепет был, как ни странно, приятен.

— Слушай, — начал юноша, вынимая из кармана шарик-генератор, — ты в моем теле. А оно мне страшно по-

надобилось. Мой друг, враг обменов, сказал, что не будет со мной водиться, если я каждый раз черт знает в каком виде буду ему показываться. Я третий день себя ищу.

— Ты девушка? — спросил Удалов. — А я понял.

— Сделай одолжение, отдай мне тело, — сказал голубоглазый юноша. — Тебе все равно, оно ведь не твое. Хочешь, я приплачу?

— Как не стыдно! — возмутился Удалов. — Я здесь приезжий, второй день живу, сам свое тело разыскиваю. Как не понять!

Удалов извлек шарик, коснулся шарика юноши, и они поменялись телами, хотя, надо признать, Удалов чувствовал некоторую горечь оттого, что юноша оказался девушкой.

В новом теле было жить приятно — тело кипело энергией, хотело прыгать, бегать и совершать поступки. На прощание Удалов пожал девушке руку, ощутив тонкость и хрупкость пальчиков, столь недавно принадлежавших ему, и пожелал ей успехов в личной жизни.

Что теперь? Вернуться домой и ждать у телефона?

Он подошел к окну, заглянул внутрь и спросил обезьяну:

— Новости есть?

Обезьяна удивилась:

— Ты кто такой?

— Удалов.

— Опять поменялся? Ну, ты шустрый!

— Меня очень попросили, — объяснил Удалов.

В комнату вошел Попси-кон в облике экскурсоводши.

Удалов ему представился. Попси-кон был подавлен.

— Твое тело передали дальше. Мой сын скрывается в неизвестном виде и в неизвестном месте. Сейчас объявим о пропаже по радио и телевидению. Только не волнуйся!

— Я не волнуюсь, — сказал Удалов.

Но на самом деле он волновался. Новизна ощущения прошла. И в его сердце начала забираться тревога. Тревога усилилась к вечеру, когда обнаружилось, что на телевизионный призыв никто в городе не откликнулся, а вернувшийся домой в образе слоненка и жестоко выпоротый отпрыск Попси-кона сообщил, что ничем помочь не может.

Новое тело Удалова все время требовало пищи и желало прыгать и бегать. Удалов этого тела стеснялся. До середины следующего дня он скрывался в доме, удерживая тело от попыток вырваться на простор. Попси-кон утешал друга как мог, но разве поможешь утешениями, если у друга хорошо развито воображение и он представляет, что скажет жена Ксения, если он появится в Великом Гусяре в молодежном виде? А что скажут на службе? А если его тело уже утонуло? Или упало с горы? Положение становилось критическим.

После обеда, когда в доме все спали, Удалов вышел на улицу. Его влекло собственное беспокойство и нетерпение молодого тела, которому хотелось размяться. Удалов сдерживал шаги, чтобы не пуститься рысью, и нервно оглядывался по сторонам, потому что не терял надежды случайно встретиться со своим телом.

Он вглядывался в лица и думал: всё на свете только фасад, только маски. Так и на Земле бывает: под лицом негодяя скрывается добрейшей души человек, за маской красавицы таится кобра, и как их всех разгадаешь, если не по поступкам?

«А вот и я!» Удалов бросился вслед за округлым мужчиной в черных очках.

— Стой! — закричал он, расталкивая прохожих. — Стой!

Он поймал человека за полу плаща и потянул к себе. Лицо в черных очках воззрилось на него удивленно, и Удалов, сорвав очки, понял, что жестоко ошибся. На зубах незнакомца были золотые коронки, чего себе Удалов никогда не позволял.

— Простите, — сказал печально Удалов, возвращая на место темные очки. — Я вас за себя принял.

— Потеряли тело? — спросил сочувственно прохожий. — Эта проблема встает в нашей жизни все чаще и острее. Собственное тело оказывается нужным при поездках за рубеж, на суде или на экзаменах, при прохождении военной службы или при совершении свадебной церемонии. А некоторые легкомысленные особы позволяют своему телу потеряться. Нет, пора принимать меры!

— Совершенно согласен! — воскликнул Удалов. — Вот мне сорок лет, и притом я здесь приезжий.

— Соблазнились! — вздохнул прохожий. — Вот и я тоже. И видите, чем это кончилось?

— Чем?

— Хромаю. Ногу где-то повредили, даже не знаю, при каких обстоятельствах. Поглядите: и рука обожжена, и глаз подбит, приходится в темных очках ходить.

— А мое тело тоже мальчишки взяли, — посетовал Удалов.

— Ну, может, обойдется, — успокоил прохожий.

— Мне бы мое... — сказал Удалов. — Пускай с гастритом и зубной болью, но знаете... привык за сорок лет. Если не найду своего тела, уж лучше такое, как ваше, возьму. Хоть не стыдно перед женой и детьми.

И Удалов пошел дальше по улице, ощущая противоречие между бурлящей энергией своего юного тела и горьким настроением сердца.

— Пойдите! — догнал его крик прохожего. — Я не могу смотреть без горести на ваше положение. Я согласен помочь вам. Берите!

— Чего брать?

— Тело мое берите. Не первой свежести, но все же. Если вам это поможет.

— Спасибо, — искренне поблагодарил Удалов. — Большое спасибо. Вы настоящий Человек с большой буквы.

Через две минуты Удалов продолжал путь в пожилом, страдающем болями в печени и одышкой теле прохожего.

Через темные очки было трудно различать краски, нога не слушалась и все время старалась подогнуться. Чувство благодарности к прохожему постепенно начало уступать место подозрительности. Уж очень тело было никудышным. Даже передвигалось еле-еле. А вдруг его никто не захочет взять? Что же тогда — уходить на пенсию и проводить остаток жизни по санаториям и больницам? Эх, до чего неладно получилось! Знал бы, никогда бы не полетел на Палистрату. Говорила же Ксения — сиди дома, не доведут тебя до добра твои космические приключения!

Путаясь в печальных мыслях и раскаянии, Удалов добрался до реки, что текла на окраине города. У реки сидели несколько рыболовов, кто-то купался, кто-то загорал на травке у берега.

Удалов грустно глядел на эту картину, размышляя, вернуться ли домой или утопиться в этой реке.

И вдруг его взгляд случайно упал на тот берег.

И он не поверил глазам.

Его собственное тело, почти обнаженное, в знакомых синих трусах, загорало на берегу, смежив веки и обратив столь знакомое и в общем приятное лицо к солнцу.

— Корнелий! — закричал он сам себе и тут же замолчал: обладатель его тела и не подозревает, что он и есть Корнелий Удалов.

Проклиная свою немощную оболочку, Удалов сбежал к воде.

— Гражданин! — позвал он.

Но, видно, обладатель его тела спал и не слышал.

Как перебраться через реку?

— Мальчик! — крикнул Удалов ребенку, который резвился в воде. — Ты не хочешь побыть немножко взрослым дядей? Я тебе свое тело дам.

— Такое? — спросил мальчик презрительно. — А что я с ним делать буду? Оно же ничего не умеет.

— Но мне на минутку. Мне очень надо!

— И не надейся, — ответил мальчишка и нырнул.

Ну кого позвать на помощь?

В отчаянии Удалов принялся раздеваться, чтобы попробовать переплыть речку самому, хотя все инстинкты и предчувствия подсказывали, что его новое тело плавать никогда не умело.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Удалова не пожалел рыболов и не перевез на тот берег в лодке.

Его тело мирно дремало под солнцем. Удалов наклонился над телом, искренне любуясь линией своего лба, курчавостью волос на висках, маленькой родинкой на щеке. Мог ли он когда-нибудь предположить, что будет любоваться сам собой.

Обладатель тела почувствовал на себе пристальный взгляд Удалова и открыл глаза.

— Вы кто такой? — спросил он.

— Я Удалов, — представился Корнелий. — Я за своим телом пришел.

— Не меняюсь, — сказал обладатель тела и повернулся на бок.

— Это еще почему? — удивился Удалов. — Мне домой улетать. Как же я в чужой оболочке, а?

Обладатель смежил глаза и игнорировал просьбы Удалова.

Вокруг стали собираться люди. Рыболов, который привез Удалова с того берега, пришел на помощь.

— Это же гость, понимаете? — объяснил он. — Ваш долг — вернуть тело.

— Нет, — сказал обладатель, — ни за что! Второго такого тела мне не отыскать.

— Да почему же? — воскликнул Удалов.

— Да потому, что я — Кююкси-кон.

При этих словах обладатель тела раскрыл глаза, сел и обвел удаловским взором толпу любопытных. По толпе прокатился почтительный шепот.

— Кто такой Кююкси-кон? — спросил Удалов.

— Это величайший из писателей нашего времени!

— Ну и что? — удивился Удалов. — Если величайший, значит, тело отдавать не надо?

— Поймите, — сказал Кююкси-кон Удалову. — Я талантливо вживаюсь в чужие образы и фиксирую в убедительных словах новые ощущения и чувства. Для моего нового гениального романа нужен настоящий пришелец. Сегодня утром мне удалось раздобыть ваше тело. Вы теперь — герой будущего шедевра. Понимаете?

— Не хочу, — отрезал Удалов. — Вы мне тело верните. Я заплачу.

— Не нужны мне деньги, — сказал писатель. — Мне нужна слава.

— Ну как же так! — возмутился Удалов, обращаясь к толпе. — Помогите мне, товарищи, войдите в мое положение!

Но никто не сочувствовал Удалову. Все восторженно смотрели на своего знаменитого земляка и стремились пожать ему руку, удаловскую руку. И Удалову хотелось крикнуть: «Поосторожнее! Вы мне пальцы отдавите!»

В этот момент сверху донеслось жужжание. С неба спустился вертолет. Из него выскочил взволнованный Попси-кон.

— Нашли! — закричал Попси-кон, бросаясь к удаловскому телу.

...Переговоры с великим писателем о возврате тела продолжались до полуночи. Сначала на пляже, потом в доме у Попси-кона, наконец, на вилле писателя, за бутылками вина. В конце концов договорились, что писатель вернет Удалову

тело за день до отъезда, а пока попользуется им, чтобы войти в образ. К ночи писатель с Удаловым так сблизились, что, обнявшись, долго гуляли по тихим улицам, пели песни, как русские, так и палистратовские, и Удалову было странно, но приятно держать самого себя под руку, обнимать за плечи и заглядывать самому себе в пьяные глаза.

Писатель честно вернул Удалову его оболочку в назначенный срок, а две недели до того Удалов, успокоившись, провел в развлечениях. Достаточно сказать, что он посетил восемь музеев, три раза был в театре, дважды в ресторане, пять раз на морских купаниях и, что самое интересное, поменял, теперь уже без боязни, восемь тел, в том числе побыл полчаса тигром, полетал над морем в образе альбатроса и шутки ради обещал руку и сердце одному провинциалу, когда проживал в теле прекрасной манекенщицы.

Провожать Удалова пришли не только Попси-кон с семейством, но и новые друзья, в частности обладатели тел, в которых Удалов пожил. Мальчик, сын Попси, попросил прощения, и Удалов расцеловал его на прощание, что сделать было нетрудно, потому что именно этот сорванец унаследовал тело манекенщицы...

Ксения встретила Удалова ласково — ясно почему, ведь Удалов привез целый чемодан подарков. Поставив обед, Ксения начала разбирать чемодан, а Удалов сел просматривать газеты за последний месяц, так как он сильно отстал в вопросах политики и спорта.

— А это кому? — услышал Удалов голос жены. — Фрукты, что ли?

Ксения держала в руке два шарика. Теперь трудно сказать, забыл ли Удалов вернуть генераторы или сунул в чемодан, надеясь, что вернется когда-нибудь на Палистрату и воспользуется ими снова.

— Положи на место, — сказал Удалов. — Это чуждая техника.

— Техника, говоришь? — усомнилась Ксения, которая отличалась подозрительностью. — Если чуждая, зачем привез? Сознаться!

— Ну как тебе объяснить. Есть такая невинная игра. — Удалов отложил газету «Советский спорт» и вкратце поведал жене о странных обычаях на планете Палистрата. Ксения, разумеется, не поверила. Она удаловским расска-

зам не верила. Зато сразу взревновала мужа к тамошней манекенщице и возмутилась преступными, на ее взгляд, отношениями Удалова и пятнадцатилетней девчушки, тело которой ее муж якобы носил в саду.

Когда Удалову надоело слушать, он поднялся с кресла, протянул жене один шарик и предложил:

— Дотронься до моего шарика, увидишь, что не вру.

— А током не ударит? — спросила Ксения.

— Током не ударит, — сказал Удалов. — На минутку перейдешь в мое тело, а потом обратно. И чтобы больше до шариков не дотрагиваться. Ясно?

Ксения подчинилась. Встала по стойке «смирно», протянула вперед руку с зажатым шариком, зажмурилась, и Удалов, улыбаясь воспоминаниям о Палистрате, легко и привычно коснулся генератором генератора жены. И стал собственной женой.

— Открой глаза, — приказал он.

Ксения в облике Удалова открыла глаза, увидела перед собой Корнелия в образе Ксении и пошатнулась.

— Ох, — произнесла она удаловским голосом. — С ума можно сойти.

И бросилась к зеркалу.

— Придумают тоже, — проворчала Ксения, ощупывая мужнино лицо. — Делать людям нечего.

— Ну ладно, — сказал Удалов, протягивая шарик, — поигрались, и хватит. Давай спрячу генераторы.

— Прячь, — согласилась Ксения.

Она обернулась к Удалову, поглядела на его полную женскую фигуру, на встрепанные волосы, на руки, огрубевшие от стирки, и задумалась.

— Ну, — подгонял Удалов. — Сколько я ждать буду? Мне к Грубину сходить надо, сувениры я ему привез.

— Ага, — отозвалась Ксения голосом Удалова. — Сувениры. Козла забивать сядете. Знаю.

— Что за муха тебя укусила? Что случилось?

— А ничего, — проговорила вдруг Ксения. — Ничего особенного. Я раздумала.

— Кончай шутить.

— А я не шучу. Гляжу я сейчас на тебя, Удалов, и думаю. Сравни ты наши жизни. Я весь день с двумя детьми и с тобой вожусь, стираю, готовлю, по магазинам бегаю.

Ни минуты мне покоя и никакого просвета в жизни. А ты как живешь? Пришел с работы — к телевизору, от телевизора оторвался — побежал в домино играть, в домино отыграл — с приятелями ля-ля, потом на рыбалку. Наша жизнь несравнима.

— Да ты что? — возмутился Удалов. — Я же конторой руковожу!

— А вот теперь поймешь, что такое мои заботы по сравнению с твоими, — жестко ответила Ксения. — Конторой твоей я руководить смогу — дело нехитрое. А вот ты...

— Нет! — испугался тут Удалов. — Я готовить не умею...

— Научишься, на первых порах помогу.

— Ксения, брось эти шутки. Отдай генератор!

— И не подумаю, мой любезный.

Широко размахнувшись, Ксения выкинула генератор в открытое окно. Он сверкнул в солнечных лучах и скрылся в пыльном мареве.

— Ты психопатка! — завопил Удалов и, путаясь в полах халата, метнулся к двери.

Бежать было трудно, тело на этот раз ему досталось рыхлое, тяжелое, натруженное. Ноги сопротивлялись резким движениям, норовили притормозить... Вслед ему несся знакомый смех. Кто смеет смеяться над ним? Да это его же собственный смех.

Соседи как раз усаживались за стол на дворе, они собрались играть в домино.

— Ксения! — крикнул Саша Грубин, увидев соседку. — От Корнелия вестей нету?

— Вернулся! — ответила со злостью Ксения. — Лучше бы не возвращался.

— Что с женщиной случилось? — удивился Ложкин. — В жизни не видел, чтобы она с такой скоростью передвигалась.

Соседи посмеялись словам Ложкина и стали перемешивать кости.

Удалов в растерянности остановился посреди пыльной улицы. Шарика нигде не видно. Он поднял голову. Курчавая лысеющая голова Удалова торчала в окне. Голова ухмылялась джокондовской улыбкой.

— Ксюша, — простер к ней руки Удалов, — ты не заметила, куда генератор упал? Может, заметила, а?

Ксения покачала удаловской головой и, не снимая с лица джокондовской улыбки, затворила раму.

Полная, грузная женщина в домашнем халате опустилась на колени и медленно поползла по дороге, разгребая ладонями пыль.

— Пока не найду, не уйду, — тихо твердил Удалов. — Пока не найду, не уйду... А то прощай, рыбалка, прощай, свобода! Не доросли мы еще до инопланетных игр.

А со двора донесся голос Корнелия Удалова:

— Подвиньтесь, друзья. Я вернулся со звезд!

Веселый шум голосов был ему ответом.

— Садись! — кричали соседи. — Забьем козла!

Толстая женщина в домашнем халате плакала на улице.

СОДЕРЖАНИЕ

Любимый ученик факира. <i>Рассказ</i>	7
Когда Чапаев не утонул. <i>Рассказ</i>	27
По примеру Бомбара. <i>Рассказ</i>	37
Космический десант. <i>Рассказ</i>	49
Ретрогенетика. <i>Рассказ</i>	56
Сильнее зубра и слона. <i>Рассказ</i>	66
Жильцы. <i>Рассказ</i>	78
О любви к бессловесным тварям. <i>Рассказ</i>	93
Ленечка-Леонардо. <i>Рассказ</i>	102
Марсианское зелье. <i>Повесть</i>	110
Паровоз для царя. <i>Рассказ</i>	261
Градусник чувств. <i>Рассказ</i>	272
Берегись колдуна! <i>Рассказ</i>	280
Сны Максима Удалова. <i>Рассказ</i>	287
Обида. <i>Рассказ</i>	297
Упрямый Марсий. <i>Рассказ</i>	307
Прощай, рыбалка! <i>Рассказ</i>	329

ISBN 978-5-227-05475-3



Литературно-художественное издание

Для возрастной категории 16+

Булычев Кир

МАРСИАНСКОЕ ЗЕЛЬЕ

Повесть, рассказы

Ответственный за выпуск *Е.Л. Шведова*

Художественный редактор *Е.Ю. Шурлапова*

Технический редактор *Н.В. Травкина*

Корректор *О.Б. Бубликова*

Подписано в печать 19.06.2014.

Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская. Гарнитура «Ньютон».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 18,4.

Тираж 3 000 экз. Заказ № 4339

ЗАО «Издательство Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@CNPOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

• ————— ➤ ✦ ✧ ◀ ————— •

**«Издательство Центрполиграф»
представляет цикл произведений
признанного мастера современной фантастики
Кира Булычева**

«ВЕЛИКИЙ ГУСЛЯР»

- **Нужна свободная планета**
- **Марсианское зелье**
- **Глубокоуважаемый микроб**
- **Перпендикулярный мир**
- **Жизнь за трицератопса**
- **Туфли из кожи игуанодона**

События произведений «Великий Гусляр» происходят в старинном русском северном городе, который так и называется — Великий Гусляр. Город стоит на «земной выпуклости, совершенно незаметной для окружающих, но очевидной при взгляде на Землю с других звезд». Оттого, видно, так часто наведываются в него инопланетяне. Живут в Гусляре обычные люди, хотя среди них немало интересных чудаков. А вот события в нем происходят совершенно невероятные. Здесь и гуманоиды гостят, и вулканы внезапно образуются, и чудеса происходят. Из одной гуслярской истории в другую, смеясь, печальясь и удивляясь, переходят герои — жители Великого Гусляра, решая обычные житейские и абсолютно фантастические проблемы.



Фирменные магазины «Издательства Центрполиграф»



Ростов-на-Дону — Привокзальная пл., д. 1/2 (мелкооптовый отдел), тел.: (8632) 38-38-02; пн—пт — 9.00—18.00.



Официальный дистрибьютор издательства ООО «АТОН»



